

Г. Я. Ривкин

ТАК БЫЛО

Иерусалим 2014

РИВКИН Гиш (Григорий) Яковлевич родился 29 ноября 1904 года в местечке Хиславичи Смоленской губернии в семье портного, девятым ребенком из десяти детей. В 1928 году окончил отделение еврейской филологии Малого Московского университета. После этого работал директором еврейской школы в Смоленске. В 1936 году был арестован и осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность (КРТД) на 5 лет лишения свободы. В заключении находился в Воркутинском отделении Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря (часть сталинского ГУЛАГа). Освобожден в 1946 году без права выезда из Воркуты. Жил и работал в Воркуте до 1966 года. Скончался 25 декабря 1992 года в Калуге.



Ривкин Гирш (Григорий) Яковлевич

29.11.1904 - 25.12.1992

Воркута (Адзъва-вом), 1937 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Вместо предисловия	6
Глава 1. Так было	7
Глава 2. Началось	11
Глава 3. «Халоймес» (Сны-мечты)	15
Глава 4. Наша библиотека	27
Глава 5. ХВПО (Хиславичское вольно-пожарное общество)	32
Глава 6. Переживём	40
Глава 7. Не всё ладно	48
Глава 8. М. Д.	54
Глава 9. Тоже про М. Д.	64
Глава 10. Двадцатые годы	82
Глава 11. Не ко времени	89
Глава 12. В соприкосновении	94
Глава 13. В поисках	105
Глава 14. Гиршл Черняк	112
Глава 15. По дорогам произвола	120
<i>Приложение №1. Письмо Гирша Ривкина своей младшей сестре Маше, воспоминания о праздновании Пури-ма в местечке Хиславичи и о семье</i>	<i>183</i>
<i>Приложение №2. Акт, составленный через пять дней после освобождения Хиславичей частями Красной Армии, и другие свидетельства</i>	<i>195</i>
<i>Фотографии</i>	<i>197</i>
<i>Приложение №3. Имена упомянутых в тексте людей в алфавитном порядке, соответствующие главы и кон-текст</i>	<i>213</i>

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Фрагмент письма Гирша Яковлевича Ривкина
из архива общества «Мемориал»:

«Воркута, Воркута, 29 лет я пробыл в этом злосчастном месте. Для младших моих детей она стала местом их родины. Трудясь и заботясь о благополучии семьи, я не забывал мои родимые места на Смоленщине, которые подвергались насилию и сплошному уничтожению жителей в период немецкой оккупации.

Свою боль я выразил в записях на родном своём языке. В сутолоке лет они были потеряны. Домочадцы мои языка не знали. Когда светлее стало, я стал восстанавливать в памяти всё, что знал о моём местечке, и на языке нашем общем записал всё накопленное от начала революционных дней до их сползания в муть».

Воспоминания Г. Я. Ривкина написаны в 1970-е годы. Рукопись не была закончена, так как его неоднократно вызывали в «органы» и требовали прекратить писать и уничтожить уже написанное, под угрозой увольнения с работы его дочерей и их мужей.

Глава 1. ТАК БЫЛО

Холодная зима. Мороз всё крепчает. Дров мало. Окна с улицы покрыты сплошным морозным узором. На стёклах внутренних рам выпуклая сплошная изморозь.

С утра отец принёс весть из синагоги, что умер Мендель Прудкин. Старый Мендель с широкой белой бородой лежит сейчас на полу, покрытый через голову чёрным покрывалом. Две восковые свечи у его изголовья мигают и потрескивают. Скучно и неудобно. Тоска и холод сжимают сердце. Отец собирается на похороны. День короткий и надо засветло предать земле тело покойного. У дома Прудкиных собрался народ. Около крыльца стоит пожелтевшая от времени Мйтэ – длинный ящик-носилки на высоких ножках. Мйтэ и чёрная подушка в ней вызывают страх и отвращение. Стою в стороне. Отец увидит и прогонит, а мне хочется видеть, как вынесут мёртвое тело в белом. Тело тяжело отвисает и его с трудом кладут в мйтэ. Похоронное шествие движется торопливо под печальный, монотонный, молитвенный речитатив, повторяющийся нудно и однообразно: «Цéдек лэфо́нов ега́лэйх» («Да шествуют впереди благодеяния твои».)

Я остаюсь на улице один и вглядываюсь в свежезастывшие лужи. Это вода, выплеснутая из кадушек соседних домов покойного, в которой посланник смерти (Малэхгамбвэс) омывал меч, умертвивший Мэнделя. Вглядываюсь в застывшие лужи и хочу увидеть хоть одну каплю крови, но, слава Богу, я крови не вижу, и это хорошо: увидел бы – и не миновать мне смерти в этом году. Так я, боясь, нехотя и самозабвенно испытываю судьбу. Поджидаю отца, возвращающегося с похорон. Выношу на улицу кружку воды и поливаю ему руки. Руки он вытирает о бревенчатый забор, прижимая к нему попеременно ладони и тыльную часть. Так он очищается от кладбищенской скверны.

Продрогший и посиневший, я вхожу в дом и знаю, что образ Мэнделя в белом долго будет меня пугать и преследовать. Так хочется куда-либо побежать, порезвиться, но скоро должен прийти учитель. Он ходит ко мне через день, после полудня. Учусь грамматике, арифметике и разговорному русскому язы-

ку. Русского языка я совсем не знаю. По-русски мы говорили: «Пошёл вон», когда гоняли собак, «Стой, дура» – корове и «Брысь отсюда» – кошке.

Учитель Яков Попок, сын Аврóm-Сймхе, мясника, приходит, как всегда, к четырём часам дня в чёрных брюках, чёрной тужурке и в матерчатой шапке-ушанке. Он снимает с посиневшего носа очки, долго протирает их концами тужурки. Я стою против него, разглядываю его тощую фигуру, прижмуренные глаза и быстрое движение руки в помощь простуженному носу. Сейчас он наденет очки, поздоровается со всеми и спросит меня: «Уроки приготовил?». Я пропускаю его вперёд в соседнюю комнату и плотно закрываю за собою дверь. За дверью шепчутся и фыркают, предвкушая удовольствие от моих упражнений в разговорной русской речи. Сначала всё идёт тихо: сложение, вычитание и даже падежи. Затем переходим к устному изложению. Каждое моё слово вызывает смех в соседней комнате. Можно подумать, что те, которые там смеются, лучше меня изъясняются на неродном нам языке. Я молчу. Всё чаще слышу гнусавый окрик учителя: «Что, язык примёрз?» Это выражение я слышу впервые из уст Якова. По-еврейски так не говорят, когда хотят выразить недоумение по поводу уклонения от ответа. Время, наконец, истекает, и Яков Попок спешит к возчику (балэгблэ) Гиршу Игудину, его сын Муля, мой ровесник, также учится у «нашего» учителя.

На этот раз отец не задерживает Якова. Но часто у них возникают беседы о войне, хлебе и министрах. Отец во всём винит министров, которые обводят царя вокруг пальца. Не знаю, что говорил Яков Попок, но помню, что говорил подолгу, заикаясь и подбирая слова. Его разговоры не вызывали во мне интереса. Другое дело Мбнес горбатенький. Мбнес приходил к нам часто, говорил он резким, звенящим голосом. Высмеивал богачей, ругал пристава Яновского. Маленький и свирепый, он размахивал тонкими руками, говорил, что Николаю скоро голову свернут.

Отец не выносил разговоров о царе и становился перед Мбнесом, как Голиаф перед Давидом. «Мбнэс, – укорял отец, – не говори в моём доме запрещённые слова. Ты ведь знаешь, что и стены могут подслушивать». Но Мбнес не унимался. Его голова с гладко причёсанными волосами глубже тонула в при-

поднятых костях плеч. Он смотрел на отца узкими чёрными глазами и, расставив ноги, как два костылика, произносил: «Янкев-Йтче, (так звали отца) довольно бояться, хуже смерти не будет».

Я любил Мёнэса за его острые словечки и смешные истории про богачей-дураков и хитрых «ámхо» – трудяг. Но больше всего я любил его песни. Они были запрещённые. Песню «Слушай» Мёнэс пел на еврейском языке:

ווי שווארצע מאכשאוועס קאם מאטער אין זינען
איז פינסטער די הארבסט שטילע נאכט
נאך שווארצער פון זיי איז די טפיסע דער בניין
וואס שטייט ווי א דימיען פארטראכט. וו.א.א.
«Как дело измены, как совесть тирана,
осенняя ночка темна,
темнее той ночи встаёт из тумана
видением мрачным тюрьма». и т.д.

К Мёнэсу в нашем доме относились благосклонно. Сёстры с удовольствием разучивали напеваемые им песни, а он, тоже портной, показывал сёстрам-мастерицам как искусно и быстро он обмётывает петли в борту дамского пальто. Отец говорил, что у Мёнэса золотые руки, но язык его до добра не доведёт. Песни Мёнэса не были по вкусу отца, поэтому их пели тайком. Особой любовью пользовалась песня «Клятва»:

ברידער און שוועסטער פון ארבעט און נויט
אלע וואס זיינען צעזייט און צעשפרייט
«Братья и сёстры нужды и труда,
Зжатые гнётом насилия и зла» и т.д.

Говорили, что Мёнэс демократ, что был он связан с Ха́имом Липкиным, сыном рославльского кантора. Ха́има выслали из Рославля за участие в социал-демократическом кружке. Прибыл он в Хиславичи со своей сестрой Хánэ-Лé. Через некоторое время и здесь организовал кружок демократов и стачку мастеровых в 1903-м году. Здесь же в Хиславичах он был вторично арестован и сослан в ссылку в Красноярский край, в деревню Елавинку.

Мёнэс и Яков Попок часто встречались в нашем доме, но особого интереса друг к другу не проявляли. В последний раз я

видел Мёнэса-горба на выборах в учредительное собрание в 1917-м году.

В большой синагоге на Школьной улице агитаторы разных мастей призывали граждан свободной России голосовать за тот или другой список. Мёнэс проявлял жгучую энергию, агитируя в толпе за список № 6 (бундовцев). Вскоре он выехал из Хиславичей, и как сложилась его жизнь – неизвестно.

С именем Якова Попка́ связано много событий революционного 1917-го года в Хиславичах. Подробно о них я расскажу в последующих главах. Однако, поскольку Яков Попок выехал из Хиславичей осенью 1917-го года и дальнейшая его деятельность не была связана с родным местечком, хочу отклониться от намеченной линии повествования и рассказать немного о судьбе Якова, о высоком его взлёте и трагическом падении.

В 1967-м году, к пятидесятилетию советской власти, в газете «Заря коммунизма» Хиславичского райкома КПСС от 14 мая была напечатана статья под заголовком «Он был членом ВЦИК». Статью подписал М. Попок – младший брат Якова. В предисловии к этой статье редакция писала:

«50 лет советской власти. Столько ярких событий произошло за это время в Хиславичском районе! Постепенно вырисовывается история борьбы хиславичских коммунистов за восстановление и укрепление советской власти на местах».

Ещё рассказала редакция, что ей удалось найти брата Якова Попка, Моисея Абрамовича, проживающего в Москве, который охотно выполнил просьбу редакции и прислал материал, который публикуется ниже.

Материалы статьи повествуют о том, что Яков Попок приехал зимой 1916 года в Хиславичи и до февральской революции 1917 года добывал себе средства к существованию тем, что давал уроки детям местных богачей. Затем следуют сведения о деятельности Якова в Хиславичах в период февральской революции. И в этой части статьи столько же общего с действительностью, сколько в богатстве его учеников, от обучения которых Яков добывал себе средства к существованию. Так, например, в статье говорится, что Яков Попок организовал в Хиславичах курсы для рабочей молодёжи. На самом деле, рабо-

чие курсы были организованы после Октябрьского переворота, когда Якова уже не было в Хиславичах.

Несомненно и то, что деятельность Якова после его отъезда из родных мест описана его братом по анкетным данным. Так мы узнаём, что Яков работал зав. топливным отделом Моссовета и был избран членом ВЦИК, что он был начальником политотдела 2-й конной армии и членом Реввоенсовета, что в 1923 году он был начальником политуправления Западного фронта, что с 1930 года Яков Абрамович работал секретарём центрального комитета компартии Туркмении и был награждён орденом Ленина. На 17-м партсъезде был избран членом центральной ревизионной комиссии ВКП(б).

Заканчивается статья трафаретной концовкой, так часто повторявшейся в печати тех лет: «Был репрессирован и погиб». С Яковым это свершилось в апреле 1938-го года.

«Он был членом ВЦИК», – сам этот заголовок – воплощение подбострастия и чиновничества мещанина современного образца. Вряд ли представляет себе автор статьи и заголовка или, скорее всего, тот, кто уполномочен был подсказать как и что писать, что Яков Попок, член ВЦИКа 1918-го года, был человеком скромным, общительным, общедоступным, и что ничего особенного не было в том, что он стал членом центрального органа власти. Это, конечно, никак не вяжется с представлениями низовых работников этих лет о чиновниках власти имущих.

Глава 2. НАЧАЛОСЬ

Для меня революция началась с того, что мой учитель Яков Попок перестал ходить ко мне на уроки. Отец сказал, что Якову некогда, что он делает революцию. Царя уже сбросили – это я слышал, но петь громко запрещённые песни дома ещё нельзя было. «Обождите, – говорил отец, – казаки ещё засвистят нагайками и покажут вам «свободу». Однако дни проходили, казаков не слышать было.

Однажды после обеда, услышав доносившийся с улицы шум, я выглянул в талое окошко и обомлел: по улице шли люди и громко, во весь голос, кричали и пели.

Я выскочил на улицу. Под ногами хлюпал талый снег. Воздух, нагретый до полудня ранним, весенним солнцем, был прозрачный и тёплый. Первый, кого я увидел, был мой учитель Яков Попок. Он и сын Герца Лейтеса, молодой парень в форменной студенческой фуражке, держали на двух палках красное полотнище, на котором было написано: «Да здравствует свобода и братство народов!» Людей вокруг знамени было немного, они пели какие-то незнакомые песни. Шествие двигалось мимо нашего дома по заводской улице на базарную площадь. Потом, потом дня не хватало, чтоб видеть, запоминать и выпить себя всё, что так быстро свершалось и менялось. День промелькал, как мотылёк, а ночь тянулась уныло и долго.

Главным событием было исчезновение пристава Яновского, который вот уж сколько времени не появлялся в обход богатых лавок и магазинов для сбора взяток, не появился он и в церкви на пасху.

Не менее важным событием было и то, что сапожник Вася Рябинков, большой грузный мужчина, добродушный и старый холостяк, изрядно подвыпивший, ходил по улицам местечка и во весь голос пел:

«Эх, ты, сукин сын Романов Николай,
Что ты сделал для России, отвечай!
Ты построил в России кабачки,
Чтобы пили наши дурни мужички».

Рябинков работал то у одного, то у другого хозяина в порядке найма. По слабости к горилке, долго на одном месте не засиживался. С парнями-демократами не якшался. Он говорил своим товарищам мастеровым: «Ваше дело – революция, моё – горилка». Он не буянил и не нарушал порядка. Такая его реакция на происходящие события порождала у многих уверенность, что власть царя не на шутку сброшена. Однако, главное, почему отец нагнул голову к одному плечу и почесал за ухом у другого, приподнятого плеча (что означало: «Если не делается, как хочется, пусть хочется, как делается»), было поведение афикейменов. Местечковые парни воевать не хотели. Чтобы царю не служить, молодые люди покидали родные местечки и уезжали в далёкую Америку. Но это возможно было более за-

житочным и в мирное время, а как только началась первая мировая война, появились умельцы, которые применяли разные способы, чтобы довести призывника до состояния непригодности к службе. Таким умельцем был Борэх – сын Михла Израителя, бедного сапожника, жившего около кузниц на большой Смоленской дороге к выезду.

Борэх умел делать раны на ногах, что давало освобождение на 6 месяцев, умел закладывать под веки «шпанские мушки». Комиссующие врачи брезгливо отмахивались от красных опухших век, закрывающих глаза призывника. Из присутствия (так назывался кабинет комиссовки) с таким браком выскакивали с освобождением на три месяца. Самым верным средством освобождения от воинской повинности был брак, соответствующий статье «66». Кто имел грыжу, тот освобождался с белым билетом по статье «66». Борэх умел делать «66», это стоило дороже. Не всегда Борэх попадал в то место тела, где расположено паховое кольцо, чтоб его прободать. Подвергающийся такой самовольной пытке иногда впадал в глубокий обморок от двухдневной голодовки, обязательно предшествующей моменту операции, и неудачного нажима в неположенное место. Иные прибегали к самоистощению. Кушали мало, пили крепкий чай (как говорят сейчас – чефирили) и ночами напролёт не спали. В результате такого самоистязания, потеряв самоконтроль, погиб Эфроим Погост, а был он мужчина крепкий и сильный.

Воевать люди не хотели. Незачем и не для кого было воевать. Все помнили недавний процесс Бейлиса и не матушку, а мачеху Русь.

Часть молодёжи скрывалась, дезертировала.

Афикеймены – так звали дезертиров, которые скрывались от призыва в армию и на войну. В нашем местечке их было немало. Достаточно сказать, что в самой маленькой синагоге «Иохнэс» на нашей заводской улице их было семь человек, а синагог в местечке было девять. Парни-афикеймены были из соседних местечек: Монастырщины, Шумячи, Татарска, Кричева и других. Наши хиславичские парни, наоборот, уезжали скрываться туда, откуда прибывали дезертиры к нам.

Это должно было производить впечатление, будто призванные отправились, и их местопребывание неизвестно.

Однако все, включая и старшего полицейского Миринского, знали, кто находится в армии и кто скрывается. Миринскому было больше пользы от афикейменов, чем от вояк. От каждого афикеймена Миринский получал по два целковых в месяц. Существовали правила поведения афикейменов: не шататься по улицам, находиться в синагоге. В случае облавы Миринский предупреждал, и парни исчезали, как мыши.

Мы, мальчишки с нашей Заводской улицы, жили дружно, душа в душу с афикейменами. Нас, ребят-одногодок, на Заводской было немало: Яков Стиллер, Яков Эрман, Иосиф Печерский, Симен Иоффе, Алтэр Кунцман, Иосиф Израитель, Авром Кругляков, Яков Кругляков, Исроэл Лаповок, Лейб Шофман Меер и Мейше Бозес, Хаим Левитин, Иосиф Новиков и много других.

После утренней молитвы в синагоге, когда все выглядели степенно и чинно, старики и прихожане отправлялись по своим делам, а мы по тому или другому поводу оставались в синагоге.

Как только дверь закрывалась за последним, кто мог нам помешать, синагога становилась другой. Тихие стены оживали, в прорезе бельэтажного помещения, где обыкновенно молятся женщины, летали мыльные пузыри, шапки, измазанные сажей, падали в лица. Чумазые и довольные мы бегали друг за другом вокруг стола, увильвая от жгута из скрученного полотенца, которым афикеймены нахлёстывали мчащихся в вихре ребят.

Иной раз, забившись в угол, рассказывали о призраках, шапотающихся после полуночи в пустынных и нежилых местах, про чертей, водящих человека несколько часов подряд вокруг одного куста или дерева, про покойника, что лежит на полу, но не может двигаться, потому что он окружён испепеляющим огнём, с одной стороны, и бурлящим океаном, с другой. Каждое движение может его сжечь или потопить. Стонет и плачет покойник, но мы этого не видим и не слышим.

Стоит только приложить к порогу опрокинутый горшок с просверленным доньшком и, став на колени, прислониться к отверстию, как всё это можно видеть и слышать. Один отважился так делать, но от страха умер. Печальными испуганными глазами, затаив дыхание, слушали мы истории кудрявого и бородатого афикеймена Мейше Козлова из Шумячи. Понизив голос до шёпота, он долго-долго ведёт свой рассказ и вдруг

неожиданно вскрикнет: «Вот он!» Дыхание перехватывает, волосы от страха поднимаются, но Мейше Козлов уже на ногах, хватая самого маленького Йоше Израителя и начинает его крутить волчком через голову. Йошке еле успевает нагибаться и протягивать ручки между расставленными ножками.

Вскоре всё потопает в облаке пыли от вертящихся волчков. Но больше всего я любил песни, что Мейше распевал вполголоса. Песни про любовь, царскую службу и другие. Печальные, беспросветные еврейские песни. В них теплилась одна только надежда, – надежда на Бога. Я любил этого рассказчика и певца, стараясь подражать ему во всём.

Большого шума мы никогда не подымали, чтоб не привлечь внимания не только Миринского, но и стариков, неистово следивших за пристойным поведением в синагоге. При каждом стуке в дверь мы чинно рассаживались за столы и делали вид, будто читаем псалмы Давида.

Так вот, в один из таких весенних дней все афикеймены вдруг вышли на улицу и направились прямо к Веле-Якову в парикмахерскую. Оттуда они вышли худенькими парнишками с тонкими и длинными шеями.

Растаяли как во сне бородатые и добрые дядьки, и кончились наши увлекательные забавы.

В течение дня все они разъехались по домам. В этот же день приехал из Шумячи Авром-Хаим Лейтес с длинной чёрной бородой. Все знали, что он афикеймен, но теперь гуляет по улице и поблескивает сквозь очки своими плутоватыми глазами. Это обстоятельство больше других породило уверенность в том, что царя и царских порядков больше уже не существует.

Что-то новое началось.

Глава 3. «ХАЛОЙМЕС» (СНЫ-МЕЧТЫ)

Слова «свобода» и «братство» стояли всегда рядом и были как бы неотделимы друг от друга. Для нас, мальчишек, слово «братство» имело больше жизненного значения, чем «свобода». Мы хотели больше братства, чтобы жить в дружбе с другими, не еврейскими, мальчишками, братства, чтобы не драз-

нили нас «жид пархатый, нос горбатый», братства, чтобы мы могли ходить к реке купаться и не подвергаться нападению русских мальчишек.

Что толку в этой свободе, когда нет братства. Но пока кричат «Свобода», «Свобода», – пока притаились и на улице не показываются Залесские – эти потомки Гамана, которые в дни процесса Бейлиса ждали сигнала «начинать», – пока все кричат: «Свобода», – мы, как шолом-алейхемские герои Мотл и телёнок Мени из повести «Мальчик Мотл», почуяв весну, подпрыгивали и радовались первым её лучам.

Когда спала большая вода, и Сож пошёл по своему руслу, зазеленела и заискрилась на солнце Богачёнова лучка – островок в двух излучинах реки. А напротив деревни Воробьёвки, что на том берегу, раскинулась обрамлённая высокими холмами равнина Яленичи. Почему это место так называли – не знаю, но Яленичи стали излюбленным местом наших игр.

Наши игры уже тоже были другими, не похожими на прежние «жмурки» и «каче-калэ» – нет, эти игры начинались совсем по-другому. Мы, мальчишки с нашей Заводской улицы и примыкающих к ней других улиц, выстраивались по три человека и подолгу маршировали, соблюдая строй, ногу и равнение в рядах.

При этом мы пели новые, революционные песни на русском языке: «Марсельезу», «Варшавянку», «Смело товарищи в ногу», «Вихри враждебные» и другие. Голоса наши были звонкие, песни жгучие и, хотя многих слов мы не понимали, например, «кумир», «вампир», «реет», «прах», «чертоги», но дело было не в словах. Мы искренне предавались наплыву чувств добра, свободы, братства и до изнеможения отдавались этому занятию. А потом, потом усаживались где-нибудь у бугра, и Иоэл Израитель, младший сын Веле-Янкева – парикмахера, парень несколько старше остальных, начинал свою речь. Говорил он долго. Чем больше он говорил, тем больше мы восторгались его умением так долго и без запинки произносить речи. Мало кто понимал, о чём он толкует, да и сам Иоэл вряд ли знал, но слова его о свободе, братстве, царе и погромщиках доходили до наших сердец.

Когда зачарованные слушатели начинали смахивать с лица брызги слюны говоруна, и в углах посиневшего рта Иоэла появлялась пена, речь заканчивалась добрыми словами в память

борцов за революцию. Все вставали и пели «Вы жертвою пали». Счастливые и окрылённые добрыми чувствами брели мы усталые домой и не боялись даже ходить в одиночку. Одно нас удручало, что нашу радость не разделяют «мещанские» мальчишки. Мещанами мы называли наших русских соседей, которых было много на улицах гончарных и Заводской. Хотя все мы, жители местечка, – и русские, и евреи – относились к мещанскому сословию, почему-то русских соседей мы называли мещанами, а сами числились под этим сословием только в казённых бумагах. Мещанские, то бишь русские мальчишки от нас отворачивались, никакого интереса к нашим играм не проявляли и хотя нас не задевали, как прежде, но не обнаруживали никакой склонности к сближению с нами. Между тем, в местечке творились дела. Открывались клубы, появились говоруны или, как их называли, ораторы. Точно так же, как в наших играх, ораторы говорили, кричали до хрипоты, сменяли друг друга, не давали толпе очухаться, извергали потоки слов и возгласов. Один из таких клубов был в доме Итче-жестянщика на углу Смоленской и Заводской улиц. Дом Итче-жестянщика был старый, чёрный, бревенчатый. На подоконниках стояли цветы в глиняных горшках. На коньке высокого крыльца красовалась большая вывеска с нарисованными на ней чайником, ведром, лейкой, семисвечником, и две пастушьи трубы крест-накрест делили вывеску на четыре части по диагонали. Итче часто выходил на крыльцо в очках и рабочем фартуке опробовать готовые к употреблению трубы. Он ловко извлекал из этой длинной жестяной трубки то низкие, то высокие звуки и очень мелодично выводил немудрёную пастушью призывную. Эта мелодия до сих пор звучит в моих ушах, напоминая старое родное местечко, его тихие улицы в тусклой синеве короткой летней ночи, когда мы, утомлённые и счастливые, возвращались из сада и парка домой. Откуда-то издалека доносились приглушенные звуки пастушьего рожка... Итче играл лучше всякого пастуха.

Ещё он запомнился мне маленьким ростом, худошавостью и быстрыми нервными движениями. К революции он никакого отношения не имел и был трудягой, как и все другие местечковые ремесленники, но были у жестянщика три дочери. Старшие Сорке и Бейле были уже на выданье. Почему не раз-

решить молодёжи собираться в его доме, может быть, и женихи найдутся? В этом доме собирались чулочницы, швеи, сапожники и другие мастера.

Монэс-горб, Яков Попок, Итче Лейтес и Евсей Хесин – эти везде попевали, но больше всего они вертелись здесь, в доме Итче, где собирались мастерские-демократы. Здесь, в этом же доме, за Яковым утвердилось прозвище «Янкл Попок и его рваные штаны». Всё шло хорошо, пока в какой-то тёплый праздничный день собравшиеся не вместились в доме и вышли на улицу. У крыльца собралась большая толпа, и начались выступления.

Сын Герца-галантерейщика Итче Лейтес, красивый и подвижный юноша, говорил хорошо, вдохновенно. Он, по-видимому, за это и был выслан из Киева, где учился в гимназии.

Его сменяли Попок и Лёва Израитель. Ораторы размахивали руками, кипятились, к чему-то призывали, а толпа вокруг росла. Никто, однако, не заметил, как Итче-жестящик вдруг появился в глубине крыльца и быстрыми движениями стал выталкивать молодёжь к ступенькам, где менялись ораторы. Очистив заднюю, продолговатую часть крыльца, он с силой захлопнул за собою дверь. На этом и закончились сборища в его доме.

Отдельно собирались молодые люди, окончившие высшее начальное или городское училище, но ещё не определившиеся: Авром Дубровкин, Лэйзер Миркин, Гершн Пескин, Лэйзер Самолобов, Шая Гинодман, Лёва Сосин, Березин, сын аптекаря Яша Глезер и другие.

Все они ходили в форменных фуражках и чёрных мундирчиках поверх белых батистовых рубашек.

Утром, возвращаясь с гулянья, они громко и слаженно пели:

«Мы горячей любовью пылаем
К тебе, родина, матушка-Русь.
Умереть за тебя мы желаем,
Кто не с нами, тот против нас.
Ребята, идите смело,
Зовёт нас родина и дело».

Пристава Яновского давно уже не стало. Никто не видел, как он с семьёй оставил местечко. Из уезда, из города Мстиславля, приехал новый пристав, – не такой, как Яновский, а высокий,

стройный, худощавый, но в такой же шинели с блестящими погонами. Потом полиция стала называться милицией, а все остальные люди – гражданами. Граждан призывали записываться в милицию, граждан призывали защищать родину, а граждане шныряли по местечку в поисках пуда муки или ржи, за который приходилось платить по двадцать рублей.

В начале войны отец ходил по дому сердитый и озабоченный. «Запомни, Липке, – говорил он матери, – мука подскочит в цене и будет стоить три рубля пуд, как мы будем жить?» – «Что ты расстраиваешься, – отвечала мать, – что будет с людьми, будет с нами. Есть Бог, и он нас не оставит».

Теперь, сверх всех ожиданий, пуд муки стоит уж двадцать рублей.

Каждые две недели мы с матерью ходили к выезду на Смоленскую дорогу, где жил Фридман. Там нам отвечивали на больших деревянных площадках, подвешенных верёвками к железному коромыслу, драгоценную муку.

Часто бывало, что муки у Фридмана не было, и приходилось покупать у него рожь. Разделённую в два мешочка, мы носили эту рожь на мельницу и часами сидели, ожидая, пока дойдёт очередь высыпать зерно в большой деревянный ковш наверху, в чердачном помещении мельницы, потом стремглав бросались вниз, где высыпалась тёплая мука из деревянной трубы в большой ящик. Держа наготове мешочек, мы, трепеща, ждали звонка – дребезжания гвоздя о жестяную банку. Это означало, что поступает мука следующего по очереди.

Каждому казалось, что предыдущий задерживает свой мешок на трубе, и потому, что это только казалось, спора не затевали, но нервы были натянуты до предела. И так каждую неделю.

Работы становилось всё меньше и меньше, а хлеб доставать всё трудней и трудней. Лето со щавелем, зелёным луком, свекловичной ботвой, огурцами и свежей картошкой не давало остро ощущать недостающий хлеб, а мы, мальчишки, наедались ещё репой, морковью, маком и всякой огородной зеленью.

Жизнь была ключом, и я, свободный от домашних хлопот, бегал по местечку, везде поспевая и нигде не задерживаясь. В это счастливое лето мне впервые в жизни довелось познакомиться с тем, что называется театром.

О театре я давно уже слышал. Моя старшая сестра Рива приезжала домой на осенние праздники один раз в год. Она жила в Смоленске в богатом доме. Самой старшей в нашей большой семье, ей некогда было учиться ремеслу, ей надо было зарабатывать. Каждый её приезд вносил в дом оживление и радость. Грудным мягким голосом рассказывала она про железную дорогу, многоэтажные дома и лампочки, которые горят без керосина и светят без фитилей. Всё это было нам в диковинку, ничего подобного мы не видели.

В сумерки, когда работать нельзя уж было, а лампы не зажигались из-за экономии керосина, в углу комнаты, где стояла жёсткая канапа, около Ривы собирались в кучу сёстры, что помоложе: Хая, Соня, Лиза, Голдэ и даже маленькая Маше. Начинались разговоры про театр. Рива смотрела в театре «Колдунью» Гольдфадена. Рассказывая содержание пьесы, она воспроизводила песни сиротки, колдуньи и других героев этой постановки. Голос её был нежный, мелодичный, слова горькие и понятные. Всё это быстро и легко запоминалось. На следующий день все в доме распевали неказистые песенки Гоцмаха и жалостливые арии сиротки, а я себе представить не мог, как это можно в помещении перед публикой изобразить целые события из жизни людей.

И вот объявление известило, что в пожарном сарае будет поставлена драма Якова Гордина «Бог, человек и дьявол», День выдался на редкость хороший. С лугов по улицам тянулись лохматые, туго нагруженные возы с сеном. Пряный запах свежевысушенной травы щекотал ноздри. После полудня я направился к пожарному сараю. Главные ворота этого длинного строения были открыты. Большие бочки зелёного цвета, прикованные к двуколкам, стояли длинным рядом на противоположной стороне улицы, упираясь оглоблями в стену синагоги, именуемой «Большой». Тут же, во втором ряду, блестели на солнце красной медью пожарные насосы на высоких колёсах, окрашенных в ярко красный цвет. В сарае шли горячие работы по оборудованию скамеек для публики, сцены для актёров и галёрки для зрителей с дешёвыми билетами, как во всех театрах. Меня попросили убираться и не мешать. Я ни на минуту не сомневался, что сегодня увижу театр, хотя надежды на

приобретение билетов не было никакой. С другой стороны сарая, отгороженные глухой стеной, стояли лошади, сытые и чистые. На чердачном помещении конюшни складывалось сено. Исроэл Магидов – большой сердитый еврей с короткими и щетинистыми усами – был постоянным сторожем этого хозяйства. С раннего утра до позднего вечера он находился в сарае – чистил, убирал. Мало кто пробовал соваться сюда без дела. Ныне хозяйничал он только на конюшне.

Я подошёл и смотрел, как он набирает на вилы кучами сено и относит его в конюшню на сеновал. «Иди, топчи сено, – прохрипел Исроэл, – чего глаза пялишь?» Я взобрался на сеновал и стал убирать и укладывать сено. Было пыльно и душно. Солёный пот заливал глаза, рубашка прилипла к телу.

Когда Исроэл поднялся на чердак и увидел, что всё наброшенное им сено оттащено в угол, он сказал: «Иди домой, помойся, а вечером приходи в театр, пропущу». Мигом прошла вся усталость. Я бежал домой, не чуя под собой земли.

Вечером у закрытых ворот сарая толпился народ. Я встретил Юдке Магидова, сына сторожа Исроэла, парня с большим лицом, толстыми стёклами очков и кривыми ногами. Он сделал мне знак следовать за ним. Пройдя мимо Исроэла, мы зашли в конюшню и на сеновал, где я недавно убирал сено. Следуя за Юдкой, я добрался до самого конька крыши, там я увидел щель достаточной величины для того, чтобы проникнуть в сарай, где сегодня будет театр.

В сарае был полный порядок. Далеко впереди видны были сооружённые подмости, отгороженные несколькими простынями, сшитыми вместе. На укреплённых брусках лежали длинные доски, образуя ряды скамеек. Ближе к стене, где мы стояли, была галёрка – доски, прикреплённые к поперечинам пожарных лестниц. В большом металлическом фонаре, что висел над серединой помещения, горела двенадцати линейная лампа. Стекло лампы было чистое, горелка не чадила.

Калитка в воротах, наконец, открылась. Люди с билетами влетали как пробки. Шум и крики на той стороне калитки были невообразимы. Мы перебрались на галёрку и смотрели, как сарай набивается людьми. Я с нетерпением ждал начала. Трижды прозвенел колокольчик, и кто-то, встав на скамейку, от-

крыл фонарь и прикрутил фитиль в лампе. Стало темно. Вдруг за занавесом слажено запели:

«Суд божий верен и правдив.
Не говори, что Бог несправедлив.
Бог знает, что творит,
Зря не будет он судить.
Суд божий верен и правдив».

גאט און זיין מישפעט
איז גערעכט,
מען טאר קיין מאף ניט
זאגן אז גאט איז
שלעכט

По словам торжественного песнопения к названию драмы «Бог, человек и дьявол» я уже понял, что Бог покарает отступника, но как, где? Кто-то оттянул занавес до второго края сцены. На сцене было светло. Горела лампа. На столе зажжённые свечи. Я отвлёкся от всего постороннего и стал как бы участником развивающихся событий драмы. Сердце ныло от тоски, почему этот богомольный еврей, праведный и честный, из Дубровны, – местечка-поставщика талэсов для всех молящихся евреев, – почему он поддался уговорам дьявола, не устоял, уступил страсти, соблазну, и вся его жизнь пошла прахом. «Мне отмщение, и аз воздам».

Страхом наполнилось моё сердце, и стал я вспоминать свои прегрешения и проступки: моления без усердия, непослушание, зависть – всё, всё, что называется соблазном. Соблазн представился мне в виде человека, как в театре. Это был высокий, худой, тонконогий Яша Глезер. В густых чёрных кудрях на маленькой головке и длинной шее торчали жёлтые крючкова-тые рожки. Одетый в длинную и чёрную пелерину, он взмахивал ею, как сатана чёрными крыльями. Несколько часов подряд я, как зачарованный, смотрел на сцену. В долгие перерывы – антракты – свет не зажигался, и если пробовали открывать калитку, толпа снаружи яростно кидалась в щель, сопровождая атаку криками, визгом и бранью. Тусклый свет лампы на сцене за белым простынным занавесом слабо обозначал притихшую в духоте толпу зрителей.

Только к третьему акту, когда, отчаявшись в попытках попасть в театр, толпа безбилетников расходилась, ворота сарая раскрывались, и предрассветная свежая синь вливалась в изнемогавший зрительный зал.

Домой шли притихшие, взволнованные. В ушах звучало: «Бог прав, и суд его правдив». Где-то в предрассветной мгле слышны были еле уловимые звуки пастушьей свирели. Снова начинался день.

Из армии и с фронтов на родную сторонку стали собираться солдаты. Вернулись Итче Новиков, Идл Израитель, Иосиф-Эле Ривкин, Веле Фрумкин, Мейше-Мэндл Кругляков, Шлейме-Дон Израитель, Борех Гендлин, Идл Локшин и другие. Выцветшие солдатские гимнастёрки и серо-зелёные фуражки можно было видеть на каждой улице. Возились фронтовики около домов, на огородах, – присматривались, принимались и всё не верили, что совсем недавно они побрякивали котелками в нескончаемых походах, кормили вшей в окопных ямах. Верно ли, что всё кончено, верно ли?

И в тихие летние дни, когда купол Екатерининской церкви заслонял косые лучи заходящего солнца, собирались они в саду, где местечковая молодёжь искала ответы на волнующие её вопросы. Клубов ещё не было, и здесь в саду или на массовках в лесу Яков Попок объяснял, разъяснял и просвещал. Якову верили, Яков был из той же среды, что хлеб добывала в поте лица. Однажды в воскресный день на зелёной лужайке в саду собрались крестьяне, съехавшиеся в местечко на базар. «Будет митинг», – говорили друг другу и группами вливались в бурлящую толпу. Организаторы митинга – инспектор городского училища Павел Иванович Михалевич, учитель этого училища Красовский и крестьянин из Буды-Печерска Солоненко – рассчитывали провести митинг без участия местечковых демократов. Откуда-то принесли стол. Первым выступил подтянутый и надменный Павел Иванович. Говорил он тихо и внятно, слова чеканил.

Толпа с затаённым дыханием слушала его. Не успел он закончить речь, как на стол неожиданно и смело вскочил Яков Попок. Говорил он не так чётко, но в толпе часто вспыхивало волнение и слышались одобряющие выкрики. Других ораторов выслушивали тоже внимательно и с интересом. Всё это

было ново, и люди думали, что от них в самом деле что-нибудь зависит.

Новым ветром подуло от проповедей Евзерова. Евзеров занимал какое-то особое положение в местечке. Он не был ни раввином, ни шейхетом, ни даже кантором, но почётом пользовался не меньше, чем раввин. Обыкновенными делами он тоже не занимался. Он не был ни торговцем, ни ремесленником. Он читал проповеди. К его послеобеденным субботним проповедям в большой старой синагоге относились так же привычно, как к утренней молитве. Высокий, спокойный, с клинообразной бородой и в очках – Евзерова не видели празднично шагающим. В чёрной шляпе из мягкого фетра и длинном сюртуке он напоминал фигуру Иудея из пасхальной агады (сказание об Исходе).

В день Девятого Ава, установленный для поста и траура в память падения Иерусалима и разрушения Второго храма (а этот день совпал с днём первой мобилизации на мировую войну 1914-го года), Евзеров задумал отслужить поминальную панихиду в память воинов-евреев местечка, погибших на войне.

Вечером в новой синагоге на Школьной площади было торжественно и тихо. Зажжённых свечей было больше, чем в Судный день при молитве «Кол ныдрей». У позолоченного резного амвона в один ряд стояли старшие члены семей погибших. Их было четырнадцать человек. В нарушение обычаев вместе с мужчинами стояли матери и жёны погибших. Все они держали большие жёлтые свечи. Большой Фалэ Новиков высоко держал свечу в память погибшего сына Киве, рядом с ним кудлатый Мотэ Лейтес, отец погибшего Гесла Лейтеса. Лейб Товбин с широкой окладистой бородой и в атласном сюртуке поминутно снимал огарину свечи. Его убитого сына звали Нохем. Матери павших воинов Шифрина Итче-Янкеля, Гуткина Давида и Липкина Шмерла-Михела стояли, покрытые чёрными платками, концами которых вытирали заплаканные глаза. Жена Рувима Новикова Хая – первая, кто получила повестку, что муж её пал смертью храбрых на поле брани, – стояла спокойная. Она своё горе выплакала в течение трёх лет после того, как Рувима забрали, а она осталась беременная, без средств к существованию. Теперь её трёхлетний Янкелэ жмётся к ней и хочет

добраться до свечи, язычок пламени которой вьётся из стороны в сторону, как мятущаяся, беспокойная душа человека.

На амвон поднялся Евзеров. Золотые скрижали с Десятью заповедями висели над толпой под широким взмахом позолоченных крыльев странной неведомой птицы. Он взмахнул рукой, и талэс на его прямых плечах раскрылся белым опахалом. Говорил он прерывистым, волнующим голосом. Вся многовековая история многострадального еврейского народа была им изложена в доходчивых и понятных словах на языке родного идыш.

Падение Второго храма и рассеяние наших братьев по всему миру, сжигание евреев на кострах инквизиции в Испании, убийство сотен тысяч евреев гайдамаками Богдана Хмельницкого, бесчинства наполеоновских войск, дело Дрейфуса во Франции в конце 19-го века, погромы в России в 1905-м году и процесс Бейлиса в Киеве в 1912-м году. Как это не помнить, когда обо всех этих событиях передавались сказания, легенды из поколения в поколение.

Старцы ходили из местечка в местечко и тоскливо распевали былины о зверствах и погромах.

«В подвалах мы тихо сидели,
Детишки на наших руках,
Как вдруг палачи налетели,
И кровь полилась на стенах.
О Боже, единый, великий,
Услышь наши крики и стон.
Нельзя нам на улицу выйти.
Погром в Кишенёве, погром».

אין די קעלערס זיינען מיר געזעסן
די קינדער אף אונדזערע הענט
די גאזלאנים זיינען געקומען
און בלוט האט זיך געשפריצט אף די ווענט

א גוטער גאט אין הימל
פארנעם זשע אונדזער געוויין
מיר קען אפן גאס ניט א טראט צו טאן
אין קישעניעוו איז א פאגראם

Дрожь по телу прошла, когда Евзеров говорил о страданиях, выпавших на долю солдат-сынов нашего местечка. Их пресле-

довали в казармах, били перед строем, унтеры неотступно следили за ними в окопах, их первыми поднимали в атаку.

И мне представился Киве, сын Фалэ Новикова. Высокий сильный парень, он только в прошлом году был призван в армию. Шесть недель учили его солдатскому делу. Перед отправкой в маршевую роту он прислал домой фотографию. Вместе с ним были засняты его одноклассники Итче Мусящиков и Абэ Перлин. В коротких мундирчиках и круглых бескозырках они выглядели по-детски смешно. На лице Итче Мусящикова так и застыла щемящая, горькая тоска. Только Киве выглядел бодро. И вижу я, будто Киве первый бросается в атаку и всей силой вонзает штык в тело вражеского солдата, который успел только произнести: «Шма Исроэл» (Слушай, Израиль). Киве цепенеет: он убил брата-еврея. Окаменелый, с судорожным трепетом на губах: «Шма Исроэл» падает сам, сражённый пулей, может быть, своего же брата еврея.

«За что проливается кровь наших сынов? – спрашивает Евзеров. – За то, что нас презирают, за то, что нас ненавидят? Не нам ли, разрозненным и обиженным, подумать пора о своей родине, о стране наших праотцов?»

В толпе кто-то всхлипывал, кто-то громко вздыхал, а Евзеров продолжал нагнетать, накаливать. Тихие рыдания колыхали головы людей. Поминальной молитвой «Изкор», в которой поименно перечислялись убиенные, Евзеров закончил свою проповедь провозглашением традиционным «Лэшоно габо берушолаим» (В будущем году – в Ерусалиме.)

Вдруг где-то в стороне от амвона раздалось пение. Пели «Гатыкво». Это было ново. Я продырявил толпу и мигом оказался около поющих. Моше-Итче Рысин, огненно-рыжий учитель древнееврейского языка Брич, два сына Бореха Шапира, один из братьев Якова Попка Нысн, сын Лейбе Товбина и молодые ребята Грейнем Цейтлин, Яков Шапира, Лейкин Итче и другие. Все они стояли друг возле друга и всеми словами заученно пели «Гатыкво». Меня поразил Итче Лейкин. Сосредоточенный, серьёзный, со стальным блеском больших серых глаз он, казалось, готов был идти на всё, к чему бы Евзеров его ни призвал.

Домой я шёл рядом с отцом. Мы оба молчали. Недалеко от дома отец, как бы невзначай, сказал: «Халоймес». «Что халой-

мес?» – спросил я. «С нашими деньгами не только до Палестины, до станции Починок не добраться», – ответил отец.

«Зачем нам Палестина? – сказал я. – Теперь пойдёт другая жизнь, на свободу и братство».

Отец остановился. До дома было совсем близко.

«Свобода, говоришь? Скажи мне, – спросил он вдруг, будто не со мною он до сих пор разговаривал, и замедлил, совсем замедлил шаг. – Скажи мне, ты везде бываешь и всё видишь, почему ни один из них – наших русских соседей-мещан – не ходит ни к Якову, ни к группе Глезера-Пескина и ни к инспектору Михалевичу, ни к кому, кто варится в каше революции, скажи!»

Я пытался назвать хоть одного из русских соседей, кого бы хоть раз видел среди взбудораженных революцией, «Что, – спросил отец, – никого? То-то же! Всё это – халоймес. Русский народ к холопству приучен, его надо учить свободу любить».

Мне было грустно.

Примечания:

1. В главе не названы солдаты, погибшие на войне 1914-го года: Сонин Итче, Хаим-Довид – сын Нохема-курореза, сын Абрама тележника и ещё четверо, имена и фамилии которых не установлены.
2. Починок – ж/д станция в 30 км от Хиславичей.

Глава 4. НАША БИБЛИОТЕКА

Было в нашем местечке много людей, которые делали другим доброе, хорошее. И делали они это без рисовки, без корысти, не из каких-либо партийных или организационных побуждений, а просто по вдохновению, по призванию сеять доброе, разумное.

Моисей Маркович Рабинович, или, как его называли у нас, Митя Рабинович, был одним из таких сеятелей. Его мать – вдова Цыге Дышес – имела большую семью и мануфактурную лавку.

Видная, степенная, серьёзная женщина, она каждое утро открывала магазин в углу торговых рядов четырёх кирпичных строений, расположенных квадратом в центре местечка. Митя, её старший сын, мало помогал ей в продаже «красного товара».

Он часто уезжал из дома, бывал в больших городах и закупал товары для торговли. Но привозил он из больших городов не только кипы мануфактуры. В его багаже находилось большое количество книг. Кроме того, он систематически выписывал периодические издания книг, журналов и популярных библиотек. Всю массу приобретенной им литературы он уж не мог вместить в доме, где проживала семья, – для этого надо было бы удалить из дома всю домашнюю утварь.

Сняв в аренду дом, он открывает библиотеку. Кто в Хиславичах не знал библиотеку Мити Рабиновича? Вывески на ней не было, но от мала до велика все знали, что на Подоле, на повороте, примыкающем к саду, в большом, хорошем доме помещается библиотека, что библиотека открыта четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам от 4 часов дня до 9 вечера, а по пятницам – от часа дня до 5 часов.

При записи абонент вносил двадцать копеек залога и получал голубовато-серенькую абонентную карточку. На ней типографским шрифтом обозначалось: «Хиславичская частная библиотека», фамилия, имя, отчество абонента, его адрес. В карточке записывалась дата выдачи книги, наименование книги и срок её возвращения.

Мизерную абонентную плату за пользование библиотекой платили состоятельные читатели, бедные от платы освобождались.

В помещении библиотеки вдоль стен и в середине расположены были ровными рядами стеллажи. Всё было отполировано и окрашено в блестящий чёрный цвет: и полки-стеллажи, и переносные ступенчатые скамейки, и фигурный барьер, отделяющий прихожую читателей от книгохранилища и стола, где оформлялся обмен. Стены в прихожей между окнами были увешаны титульными обложками книг. Здесь же на столиках лежали толстые тетради в переплётах – каталоги.

Помещение поражало обилием книг, плотно стоящих на всех стеллажах от пола до потолка не только в большом помещении, видимом читателями, но и в соседней комнате, отделённой от основной широкой аркой, производящей впечатление массивности и грандиозности.

Все книги в библиотеке были в твёрдых обложках хорошего переплёта, даже детские книжонки-сказки были одеты в плотные картонные обложки.

Каждый, кто входил в библиотеку, снимал шапку. Громко разговаривать нельзя было. Всё это достигалось не страхом, не окриками, а каким-то возвышенным состоянием, охватывающим каждого, кто входил в этот величавый и чудодейственный очаг знаний. Обслуживал абонентов сам Митя, помогала ему и другая интеллигентная молодёжь. Было честью оказаться в помощниках Мити по обмену и оформлению выдачи книг.

Митя Рабинович был невысок ростом. Большие пушистые усы скрадывали морщинистость его лица. Говорил он тихо, немного картавил. Слыл старым холостяком. Каждого читателя он знал по имени, фамилии, круг его интересов и уровень знаний.

Посетители библиотеки видели иногда, в каком неловком положении оказывался какой-либо паренёк, который проявлял в беседе с Митей полную неосведомлённость о прочитанном. Митя разъяснял, рассказывал вкратце содержание книги и, предложив в обмен другую, просил читать внимательно.

Всё это проделывалось вежливо, тихо, не ущемляя самолюбия человека, и редко кто приносил в библиотеку в обмен плохо прочитанную книгу.

Рассказывали, что однажды Моисей Маркович обратил внимание на девушку, которая очень часто меняла объёмистые книги. Зная невысокий уровень развития девушки, улучив момент, Митя опередил помощницу, к которой девушка хотела обратиться за обменом.

«Что бы вы хотели читать?» – спросил он тихо. – «Хочу взять какой-нибудь душещипательный роман», – ответила она. – «Хорошо, – сказал Митя, – сейчас я вам дам интересный роман, называется «Грамматика» Кирпичникова».

Через несколько дней незадачливую читательницу спросили, понравился ли ей роман. «Роман как роман, – невозмутимо ответила девушка, – Кирпичников застрелился, а Грамматика повесилась».

Может быть, такого случая и не было, но бесспорно, что каждый молодой человек гордился своей приверженностью библиотеке, посещением её.

Моисей Маркович прививал к книгам уважение, внимание и любовь. Все мы любили библиотеку и в тёмные осенние вечера, облачась в старые кафтаны, подпоясавшись верёвочками, с деревянными фонарями в руках отправлялись в библиотеку – чистую, освещённую висячими лампами с круглыми горелками.

Девушки в тёмных платьях и белых воротничках, гладко причёсанные, принимали наши книги, бегло их просматривали и предлагали взамен другие. А́лтэчка Левитина – дочь Шаика́цева (мясника) – черноглазая смуглая девушка, одна из постоянных и более активных помощниц Мити, получив заказ, отправлялась к какой-либо полке, безошибочно доставала нужную книгу. А́лтэчке окончила курс гимназии экстерном. В то время для дочки малосостоятельных еврейских родителей это было подвигом. Запомнились другие помощники Мити: Менаше Самолубов, Авром-Хаим Лейтес, Лэйзер Миркин, Бейле Синичкина, Маша Берман. Все они много читали и знали хорошо литературу.

Я любил смотреть на совершающийся процесс обмена книг. Люди у читательского парапета менялись, называли книги еврейских, древнееврейских, русских и других авторов.

Из библиотеки не хотелось уходить. Здесь было торжественно и величаво: и новые художественные обложки на стенах, и толстые каталоги, и книги, книги. Нет, всех этих книг вовек не перечитать.

В духовной жизни людей нашего местечка первостепенное значение имело, конечно, религиозное воспитание. С пятилетнего возраста мальчуганов отдавали в хедэр, которых не перечить было в местечке.

С раннего утра до позднего вечера мальчишки томились в душных и тесных помещениях. В их сознание постоянно и настойчиво внедряли любовь и уважение к «Творцу вселенной». Тору и проповеди пророков учили наизусть. Одновременно с этим действовала синагога. Три раза в день молиться в синагоге – так делали старшие, за ними неотступно следовали младшие и малые. Святая обязанность выполнять ежедневно «Тарья́г ми́цвэс» (613 благодеяний) поглощала день каждого благочестивого еврея с момента, когда он просыпается – до отхода ко сну. Сила религиозного воспитания была велика. Тем не менее, доступная и привлекательная библиотека Мити Ра-

биновича стала источником другой, светской формации подрастающей молодёжи.

В нашей семье было много девочек, все они были по тому времени грамотны, хотя хедэра для девочек не было. Для их обучения нанимались на короткое время грамотные люди.

Во дворе дома Черняка Алтэра Гедалес стояла избушка Фейге-Матле Литвин. В той избушке сын Фейги-Матле учил девочек писать, читать, ставил их голыми коленями на горох, соль и в три месяца заканчивал обучение. Рангом выше был учитель Песин Эле. Он ходил на массовки, читал запрещённую литературу. Его метод обучения исключал горох и соль, но стоило это дороже. Однако и Песин, и Литвин в контингенте учениц не нуждались.

Среди евреев неграмотных не было. Общение с грозным Богом требовало знание многочисленных молитв, Библии, пророков. Самая бедная, самая отсталая женщина должна была уметь читать «Цеэну Урэну», молитвенную книгу на языке идыш, но обучение девочек заканчивалось, как только обозначалось умение кое-как читать и писать.

Вот тут-то подспудно вступала в действие библиотека. Сначала приносились книги тонкие с крупным шрифтом и многими иллюстрациями. Со временем толщина книг увеличивалась, а картинок в них становилось меньше. Однажды я спросил у старшей сестры Сони, как ей не надоедает читать такие толстые книги с таким мелким шрифтом и без единой картинки. «Погоди, – ответила она мне, – подрастёшь, станешь читать Толстого, Тургенева и так же забудешь про всё на свете».

Первую книжонку, которую я получил в библиотеке из рук Мити Рабиновича, я тут же раскрыл и растянуто прочитал: «Колобок». «Что такое «Колобок?» – спросил я неожиданно, ни к кому не обращаясь. Митя подошёл ко мне и, скорчив лицо в добрую улыбку, сказал по-еврейски: «А булкелэ, а кайлэдыке булкэле» (круглая булочка).

Я покраснел, накинул на голову треух и побежал домой. В следующее посещение я сказал Мите, что эти сказки мне ни к чему. «Мне хочется читать такое, – сказал я, – что есть на самом деле». И Митя терпеливо подбирал мне книжонки, отвечающие моим интересам и вкусам.

Такой богатой библиотеки, как у нас в Хиславичах, не было ни в одном местечке Могилевской губернии: энциклопедии Брокгауза и Эфрона, истории издательства «Мир», классики мировой литературы. Не было такой отрасли науки и литературы, которая бы не отражалась в книгах библиотеки, которую собрал, организовал и выпестовал Моисей Маркович Рабинович.

Читателями нашей библиотеки могли быть все без исключения жители местечка и окружающих деревень. И, как было сказано выше, среди евреев не было дома, не связанного с библиотекой. Напротив, среди русского мещанского населения читателей можно было посчитать по пальцам: несколько более зажиточных семей Качера, Рощина и Зимницкого, семей священников Барцевича, Кащица, разночинцев братьев Михалевич Павла Ивановича и Ивана Ивановича, Красовского, Галковского, Ластовских и Залесских.

Из окружающих деревень читателей вовсе не было. Только в годы революции, когда волны просвещения захлёстывали и подмывали каждый дом, число читателей всех слоёв населения стало увеличиваться с каждым днём. Библиотека была национализирована, но Матвей Маркович остался её заведующим. Его роль сеятеля и распространителя культуры ещё больше возросла, так как он стал признанным и официальным работником органов просвещения.

Последние годы жизни Матвей Маркович работал в Москве, в книжном магазине. Все знавшие его испытывали огромное удовлетворение, что в годы штурма и натиска его любимое дело было источником его существования. Единственный сын Матвея Марковича – Марк Матвеевич живёт в Москве и занимается научной работой. Он унаследовал от отца его внутреннюю неподдельную культуру, высокую эрудицию, простоту и благородство. Его небольшая дружная и крепкая семья составляет основу его личного счастья.

Глава 5. Х.В.П.О. (ХИСЛАВИЧСКОЕ ВОЛЬНО-ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО)

К моменту описываемых эпизодов, к 30-м годам 20-го столетия, о местечке Хиславичи известно было более 160 лет.

Впервые о нём упоминается, что в 1766-м году, в эпоху Речи Посполитой, в Хиславичах, местечке Мстиславского воеводства, насчитывалось 237 евреев. Через 81 год, в 1847-м году, Хиславичи – уже местечко Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Количество еврейского населения в нём 2205 человек. По переписи 1897-го года жителей в Хиславичах было 5066 человек, в том числе 3901 еврей (Еврейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона). В 30-х годах 20-го столетия Хиславичи – районный центр Смоленской области и насчитывает до семи тысяч еврейского населения. За 160 лет население местечка увеличилось на 6,5 тысяч человек.

Домики строились друг около друга близко, и хотя основные улицы местечка были сравнительно широкие, соединяющие их переулки и закоулки были узки и заболочены. В осенние дождливые дни улицы становились непроходимыми.

В таких условиях малейшее загорание становилось страшным бедствием для населения местечка. Огонь распространялся с огромной быстротой. Средств тушения не было. Вода извлекалась из глубоких колодцев ведрами, и её недостаточно было для подавления силы огня. Люди сбивались в кучу, махали вениками и метёлками, направляя огонь в желаемую сторону. Разбушевавшееся пламя вызывало приток холодного воздуха. Суеверный страх перед порывами ветра, возникающими при сильных пожарах, повергал людей в полную растерянность.

Начиналась паника, и люди бежали к спасательному рубежу – реке Сож. Огонь уничтожал целые улицы, дома, имущество. Бывали человеческие жертвы. О таких опустошительных пожарах старики вспоминали с ужасом. При этом рассказывали о разных нечестивцах, которые страховали свои малостоящие домики на солидную сумму в страховом обществе «Саламандра» и сами поджигали их. На полученную страховку строили новые дома и богатели.

Но редко когда подожжённые халупы сгорали в одиночку. Как правило, огонь перебрасывался на соседние дома. О таких пожарах говорили как о явлениях божьей кары, и всякие суеверные слухи возникали в результате этих бедствий.

Так, например, рассказывали про Меру-высокую, что она, будучи девушкой, была на пожаре, когда однажды ночью за-

пылал кирпичный завод. В ответе пламени она увидела золотое колечко, которое она подняла и надела на указательный палец левой руки. Придя домой, она легла спать с намерением поутру рассказать матери о своей дорогой находке.

Ночью ей приснился нечистый дух, который сказал ей, что этим кольцом он её пленил и что отныне она будет его женой. Охваченная ужасом и дьявольским наваждением, она пролежала до утра, а утром, проснувшись, увидела, что кольца на ней нет.

Мера рассказала матери про всё, что с ней случилось. Старуха-мать не стала выпускать Мери на улицу и в течение девяти месяцев заставляла её молиться с утра до позднего вечера, читать псалмы Давида и заклинания на избавление от лукавого. Наступило время, когда Мера во сне разродилась головешкой, которую мать-старуха похоронила в ложбинке между кладбищем и обрывистым долом.

Наутро Мера отмыла скверну и бледная, похудевшая, вытянувшаяся отбыла с матерью в соседнее местечко, откуда привезла жениха – парня тихого, покорного и не по росту ей.

Мери-высокую, бабушку моего ровесника и товарища Иосифа Печерского, я знал хорошо. Не раз моя мать водила меня к ней, чтобы она вылизала соринку из моего глаза, заговорила болезнь. Мера была высокая, прямая и тихая старуха с небольшой головой и очень ясными и добрыми глазами.

Однажды я спросил у матери, почему она такая, Мери-высокая. И мать мне ответила: «Ей дано знать такое, чего многие не знают».

Пожары. С ними надо было бороться, и люди собирали деньги у домохозяев, приобретали бочки для подвоза воды, покупали лошадь, сколачивались в пожарную дружину, ввели в обязанность держать во дворе кадуюшку с водой, предотвращали самоподжоги. Случаи пожаров уменьшились. Сумма от ежегодных взносов увеличивалась. Приобрели пожарный насос. На помощь пришло волостное правление. Был выстроен большой пожарный сарай с высокой каланчой посередине. На каланче по очереди дежурили люди и колокольным звоном возвещали о случаях загорания. Очаги пожаров тушились в начале их возникновения.

В предреволюционных и двадцатых годах Хиславичское вольно-пожарное общество было хорошо организованной и

полезно-результативной командой по борьбе с пожарами. Начальником этой команды со времени моего раннего детства до тридцатых годов был Шепа Славин.

Шепа Славин превратил Хиславичское вольно-пожарное общество не только в организацию тушения, но и в массовое единение людей, предупреждающих возникновение пожаров. Так называемая профилактика впервые применялась им в полной мере. С ранней весны группы пожарников по три человека в форменных фуражках и нарукавниках совершали обход домов. Заставляли убирать хлам с чердаков, исправлять дымоходные лежаки. В наказание за нерасторопность по выполнению указаний пожарников лежаки-дымоходы окончательно разрушались, а хозяева подвергались штрафу.

В помещении ВПО, так называемом пожарном сарае, стояли новые блестящие пожарные насосы. Количество их достигло семи штук. Приобретенный в последние годы двухшланговый насос способен был силой струи моментально сбивать разыгравшееся пламя. Большие полные воды бочки на высоких колёсах стояли против сарая, выстроенные в ряд, как солдаты. Сытые, крепкие лошади, начищенные по-военному до блеска, стояли всегда наготове.

Во многих местах в местечке на высоких деревянных срубках стояли большие железные, окрашенные в зелёный цвет чаны, наполненные доверху водой.

Всему пожарному обществу Шепа Славин придал празднично-привлекательный вид. Вся дружина пожарников делилась на три колонны: лазальщиков или топорников, качальщиков, обслуживающих машин и насосы, и охранников. Последние – люди пожилого возраста, которые петушатся и не желают выйти из строя участников боевой дружины. Они выполняли роль охраны эвакуированного имущества во время пожаров, следили за порядком и выполняли ряд других поручений.

Каждая колонна имела свою форму. Белая фуражка с красным околышем, белая гимнастёрка с красной окантовкой и красными нарукавниками, с топориком на поясе, белые с красными кантами брюки – это была форма топорников. Форма качальщиков отличалась синей окантовкой, синим нарукавником и синим околышем на фуражке. Охранники рядились в ко-

стюмы более спокойных, тёмных тонов. Каждый одетый в костюм пожарный выглядел красиво, молодежато и старался красоваться в нём как можно дольше.

В пожарных костюмах являлись только на репетиции, которые проводились в летние погожие дни. В такой день с утра по улицам местечка ходил Пине-барабанщик в пожарной фуражке охранника и тщательно выбивал монотонный барабанный такт, а на перекрестках заканчивал продолжительной звонкой дробью, называемой тревогой. Лучше старого Пине Мусящикова – бандуриста местной музыкальной капеллы – никто не умел так долго исторгать мелкую и непрерывную дробь из старого потемневшего барабана.

Местечко готовилось к репетиции. К ней готовились все: молодые пожарные, чтоб показать своё молодчество, девушки, чтоб принарядиться и полюбоваться своими поклонниками, пожилые – тряхнуть стариной, пошуметь и поучить молодых, а дети, особенно мальчишки – насладиться прекрасным зрелищем с маршами, командами, музыкой, грохотом машин, настоящими боевыми действиями.

В такие дни мастеровые заканчивали свою работу пораньше, а лавки закрывались задолго до положенного времени. Из улиц и переулков, разодетые в нарядные формы, появлялись пожарные группами и в одиночку, направляясь к месту сбора – пожарному сараю.

Пожарный сарай раскрывал свои широкие ворота. Оттуда доносились звонкие, возбуждающие марши.

Музыкальная команда пожарных, руководимая Симен-Эле Сандлером, выглядела особенно нарядно. На плечах музыкантов, одетых в форму топорников, красовались эполеты, нависая красными крылышками на рукава гимнастёрки, они делали плечи шире, мощнее.

Появляется начальник колонны Хаим Эрман, красивый статный человек с умным, энергичным лицом. Ярко-голубая форма с красными кантами красиво облегает его крупную фигуру. Красный нарукавник с белыми буквами К.Т. говорит о том, что он командует топорниками. Про Хаима Эрмана рассказывают, что он самый смелый и находчивый. На пожарах проявляет чудеса храбрости. Его колонна топорников повинует

ему беспрекословно, и даже такой буян и драчун как Абе Перлин утихает, когда приближается Хаим Эрман.

Мотэ Славин, начальник колонны качальщиков – невысокого роста широкоплечий крепыш с короткими усами и чёрными, как смола, глазами – одет в синюю суконную форму с белой окантовкой. На его красном нарукавнике белые буквы К.К. Мотэ – старый холостяк, любит выпить, но пьяным его никогда нигде не видели. Тихий, степенный он крепко держит дисциплину своей колонны. Прикосновение его руки подобно сжатию железных тисков. Буяны не смеют позволить себе лишнего, когда вблизи находится Мотэ.

Начальник колонны охранников Итче-Веле Левин, пожилой человек с большим животом, за что получил прозвище Пуп, тоже одет по форме, но, признаться, форма ему не идёт. Однако властный и справедливый, он неоднократно доказывал, что в решении дел общественного порядка играет не последнюю роль.

Сын Итче-Веле Левина Савелий был знаменит на всё местечко своим неистовством и неистощимостью в озорстве, чем причинял немало неприятностей в первую очередь своему отцу.

Становой пристав Яновский, гроза местечка, когда после февральской революции покидал местечко, сказал Левину, с которым жил по соседству, что сынок его Савелий омрачал его, пристава, существование, и что он рад, наконец, избавиться от проделок такого неумного озорника. Кстати, существенно будет отметить, что Савелий после революции поселился в Москве, сын его – гвардии старший лейтенант Левин Борис Савельевич – в годы Отечественной войны заслужил звание Героя Советского союза (Указ Верховного Совета от 26.10.1944 г.).

Однако в ожидании начала репетиции люди заполнили всю Школьную площадь, прилегающую к пожарному сараю. Из-за поворота улицы показывается начальник дружины Шепа Славин. Раздаётся команда: «Становись!». Впереди становятся музыканты. Один к одному, высокие, плечистые, с блестящими медными трубами: Симен-Эле Сандлер, Хаим-Лейб Сандлер, Лейб Драгилев, Хаче Дымент, Залмен Горчаников, Зелик Сорин, Мотэ Самолюбов, Шмуэл-Итче Тиохин и другие. По ранжиру выстраиваются топорники в красном, синие качальщики и бородастые охранники. Колонна занимает по длине всю улицу.

«Смирно!» – командует Эрман, и Шепа Славин в красном суконном костюме с золотыми пуговицами мелкой переваливающейся походкой обходит строй пожарников и здоровается с ними. В нестройный ответный гул врывается мощный оркестровый туш.

После расчёта топорников на десятки Хаим Эрман громко произносит: «Загорелся дом Аснина. Первый десяток – тушить. Второму десятку тушить дом Фарберова, третьему, четвёртому тушить хасидскую синагогу».

Подымается страшная суматоха. Пожарные стремглав бросаются к объектам, расположенным в кругу школьной площади, и через минуту-другую появляются на крышах, ловко карабкаясь и поднимаясь вверх.

С крыш раздаются неистовые крики: «Воды! Воды!».

Мотэ Славин успел уже развернуть водообеспечивающую технику. С грохотом и шумом разворачиваются машины, бочки с водой подаются беспрерывно. Качальщики взмахивают рычагами насосов вверх, вниз.

Вода, наполняя длинные брезентовые шланги, с резким потрескиванием выбрасывается из брандспойтов. Сильная высокая струя воды достигает крыш домов и вот-вот обрушится на белые фигуры топорников, прячущихся от воды на противоположной стороне крыши. С криком и шумом проносятся мальчишки мимо брандспойтов Алтэра Кивеса и Велвела Стесина.

«Воды! Воды!» – кричат они, и Алтэр Кивес, направляя струю воды в сторону убегающей детворы, обливает их с ног до головы. С прилипшими к худеньким костлявым тельцам штанишками носятся счастливые, радостные мальчишки подалее от Алтэра Кивеса с его глупыми шутками.

Пронзительный свисток Эрмана означает, что деловая часть репетиции закончилась. Опережая друг друга, лазальщики спускаются с крыш различными способами. Внимательные глаза девушек настойчиво следят за поведением своих избранников или поклонников.

Меер Аснин, подложив под себя кусок фанеры, скользит с крыши, как со снежной горки, и прыгает в траву. Отряхиваясь и брэнча пожарными доспехами, он первый становится в

строй. За ним следуют один за другим остальные. Замешкавшиеся провожаются язвительными усмешками.

Уже вечерет. Построенная колонна с факелами в руках направляется по улицам торжественным шествием. Оркестр играет военные марши, со звоном и грохотом проносятся пожарные машины и бочки. В косых лучах заходящего солнца потемневшие улицы местечка празднуют необычный день – репетицию пожарных.

В центре сада колонна выстраивается в каре.

Шепа Славин произносит краткую речь, благодарит дружину за их отличную работу на репетиции, выражает надежду, что в этом году, так же как и в прошедшем, пожаров не будет, провозглашает здравицу в честь пожарных. Раздаётся громкое «Ура!», и в воздух, подхваченные крепкими руками, взлетают Шепа Славин, Хаим Эрман и другие.

Оркестр поднимается на трибуну, специально для него построенную. Марши и вальсы оглашают сад и его дальние аллеи. Будки-ларьки бойко торгуют лимонадом, сладостями и водкой. В будке Итче Новикова Вайнштейн что-то доказывает Мотику Славину. Последний с ним не соглашается. Не находя доводов для своей точки зрения, Мейшке, любитель зелья, наливает полный стакан Мотику и, сам опрокидывая не меньшую толику, продолжает убеждать приятеля в чём-то самому себе непонятном.

В аллеях сада темно. То здесь, то там мелькают белые фигуры, плотно прижатые к тёмным силуэтам своих подруг. Гулянье продолжается.

Отличительной чертой этой общественной организации в Хиславичах было участие в ней русской части населения. Сначала русские, именуемые мещанами, стояли в стороне от всех противопожарных мероприятий. Бедность, многосемейность и сплошная безграмотность держала их в тисках тяжёлого труда и безропотного существования. Основным источником их материальных благ были небольшие наделы земли. Каждый хозяин имел в поле своё гумно, куда свозил снопы для сушки и обмолота. Примитивный способ сушки зерна на овинах с так называемым чёрным дымоходом часто заканчивался загора-

нием гумна и полным уничтожением результатов тяжёлого труда всей семьи.

Гумно, крытое соломой, как лучина сгорало в течение короткого времени.

Пожары в поле не угрожали домам в местечке. Но пожарные со всеми своими средствами на рысях выезжали в поле и вступали в борьбу с яростным огнём. Баграми растаскивали охваченные пламенем брёвна гумен, спасали собранный урожай. Безучастная чёрствость русских соседей понемногу таяла, и в последнее время хозяева-мещане активно участвовали во всех мероприятиях Хиславичского вольно-пожарного общества, добросовестно выполняли все установленные правила.

Шепа и Мотэ Славины, Хаим Эрман, Итче-Веле Левин имели свои обыкновенные местечковые торговые дела, но когда вспоминаешь этих людей, их труд, заботу и личные средства, которые они вкладывали в общее дело защиты местечковой бедноты от стихийных бедствий, каково бы ни было наше отношение сейчас к этим бывшим так называемым лавочникам – они останутся в памяти людей как верные и добрые сыны народа.

Недавно я беседовал со старым человеком Абрамом Моисеевичем, моим земляком. Он прожил долгую и нелёгкую жизнь. От своего портновского ремесла он получил к старости тридцать пять рублей пенсии и негнущиеся узловатые пальцы. Я спросил его, помнит ли он братьев Славиных и Хаима Эрмана. «Как их не помнить? – ответил он. – Это были настоящие общественные работники». Знал, конечно, Абрам Моисеевич о горькой участи, постигшей этих добрых и великодушных людей. Ещё до прихода немецких фашистов они вынуждены были покинуть свои родные насиженные места, искать место в жизни, приспособиться к непривычным работам и закончить свой путь вдали от родных и знакомых.

Глава 6. ПЕРЕЖИВЁМ

Однажды в какой-то день начавшегося лета, когда отец и Лия сидели на столе и сосредоточено работали, а мать перебирала щавель, который мы, младшие из семьи – Голдэ, я и Маша,

только что собрали на лугу в Яленичах, открылась дверь, и в дом вошёл Иоше-Калмен Кругляков.

Мы все насторожились. Иоше-Калмен был обыкновенным евреем, но к нам никогда не приходил и по ряду своих занятий никакого отношения к нам не имел.

Был он высок, широкоплеч и худощав в поношенном пиджаке из чёртовой кожи, таких же потёртых брюках, заправленных в большие юфтевые сапоги. Чёрная борода и ниспадающие рыжеватые усы удлинляли его крупное лицо, которое всё время лукаво улыбалось. Глаза его весело и хитровато поблескивали. Поздоровавшись, он сел на табуретку, скрестил ноги и оперся на палку – обычную длинную палку, даже не обструганную.

Поговорив о том, о сём, Иоше-Калмен осторожно и как бы нехотя дал понять отцу, что он-де купил дом, в котором мы живём, но он нас не гонит, нет, не дай Бог, он только пришёл сказать, что отныне он будет хозяином дома, чтобы мы не вздумали платить квартплату бывшей хозяйке Эйдле, и что он тоже не будет брать у нас платы за квартиру.

Живите в этом доме сколько хотите, сказал Иоше-Калмен, но если найдёте другую квартиру, пусть не сегодня, не завтра и даже не через месяц, но если вы найдёте другую квартиру, то он полагает, что к осени он успеет отремонтировать дом, а пока он будет завозить лес и будет обновлять сарай во дворе. «Вы же понимаете», – сказал Иоше-Калмен, – мне сарай нужен, как вам утюг или ножная машина. Моё дело лошади, а для лошадей нужен сарай».

Он ушёл. Отцу уж не до работы было. Мне жалко стало нашей большой квартиры. Вряд ли мы найдём сейчас квартиру из четырёх комнат, кухни, чулана, сарая и большого зелёного двора.

Я любил каждый уголок нашего дома и окно в углу залы, из которого я часами смотрел на далёкое окно библиотеки Рабиновича. В долгие осенние вечера свет лампы библиотеки манил, как волшебный огонёк. Я любил эти большие и пустые комнаты, в которых я бегал, резвился, рос и мечтал.

Через месяц мы были уже на другой квартире на этой же заводской улице среди наших соседей, но в каком доме – Боже мой! Новый наш хозяин Григорий Тимофеевич Подмастерьев по прозвищу Курочкин имел пятистенный дом под одной

крышей. Его многочисленной семье понадобился бы весь дом, но жил Курочкин бедно.

Его лошадь была самая тощая на нашей улице, телега немазаная, а бесцветная корова его со впалыми и шершавыми от прилипшего навоза боками выделялась из всего стада. Двор Гришечки был покрыт сплошным болотом из навозной жижи.

Одну половину своего дома к улице Курочкин сдал нам в аренду. Попали мы из рая в ад. Общие сени мы разделили на две части перегородкой, и жилища наши оказались разделёнными. Мы произвели очистку заарендованной половины, настелили мостики на дворе вдоль стены к дверям наших сеней и расставили наш домашний скарб. В летние сумерки после вечерней молитвы, когда все собрались за ужином, отец сказал: «Теперь здесь, в этой квартире, душа нашей Хаи больше нас тревожить не будет».

Хае-Малке, наша старшая сестра, умерла в прошлую зиму, и все мы в старом доме, где прожили много лет, не могли отделаться от чувства тревоги, преследовавшей нас. В каждом углу, на печи, за перегородками нам мерещилась душа нашей Хаи в образе туманной маски, плачущего ветерка и белого шелеста.

«Здесь этого больше не будет», – сказал отец, и нам не так тяжело стало здесь, в этой неудобной тесноте в окружении грязного двора, хрюкающих свиней, ищущих лиловых глаз голодных животных.

Как-то осенью, когда работы на заказ немного прибавилось и продуктов стало больше, сели мы всей семьёй ужинать. Каждый получил свой стакан кипятка, заваренного сушёной морковью и подслащенного патокой, кусок подсушенной лепёшки. Оделив всех, чем Бог послал, мать села за стол, посмотрела на всех, весело жующих, сказала: «Растим, пестуем детей, а на старости зятя и невестки на порог дома не пустят нас». – «Если моя жена обидит тебя чем-либо, – сказал я, – я её вот так проучу!» И показав, как стану наказывать жену, взмахнул рукой и ударил сестрёнку Машеньку по уху. Удар, конечно, был не сильный, щека у Машеньки даже не порозовела, но Машенька, самая младшая из десяти наших братьев и сестёр, была любимицей отца, и никто не смел её обижать нисколько. Отец только было поднялся наказать меня за озорство, как я

вскрикнул: Машенька уколола меня в плечо булавкой. Обнажив моё плечо, мать быстро стёрла капельку крови, шлёпнула меня пониже спины, а затем и Машеньку.

Ночь прошла спокойно. Назавтра плечо разболелось, а к ночи у меня поднялась температура. Вся рука от кисти до шеи налилась бурым цветом. Я метался в жару, бредил, то я носился по гладкой полированной поверхности. Конца и края не было этой нескончаемой равнине. Падать нельзя – можно разбиться как стеклянный стакан, но держаться на ногах уж нет сил. Я кричу: «Мама!». Чувствую прикосновение прохладных пальцев. Я крепче прижимаюсь к маминой руке. То вдруг откуда-то появляются копны сена. Могучие, круглые как шары, они катятся и всей своей массой наваливаются на меня. Я задыхаюсь, но огромный шар проносится дальше, и я легко выдыхаю. Ещё шар накатывается, опять задыхаюсь, снова проносится сено. Устаю бороться с этими как бы живыми шарами. Их много, очень много, и снова кричу: «Мама!». Слышу мамин дрожащий голос. Она кричит отцу: «Встань, отец, сделай что-нибудь, ведь мальчик погибает».

Я открываю глаза. Все собрались около меня. Я пью морковный чай и мне веселей, что все около меня, что Машенька, припав к моим ногам, тихонько плачет.

«Пусть Маша пойдёт спать, она же маленькая», – говорю я, и Маша уходит в свой угол. Сейчас все меня слушают, все исполняют мои желания, а я великодушен, всем всё прощаю. Мне от этого становится легко.

Утром отец ушёл за доктором. В доме быстро убрали, подмели, сняли со стола утюг, колоду, ножницы. Швейную машину покрыли полотном, стол скатертью, а на скатерть положили тетрадь и ручку с пером, приподняв кончик пера к очищенному краю чернильницы. Так всегда делали, когда вызывали в дом доктора.

Меня вынесли из маленькой спальни в большую комнату и положили на канапу. Когда врач Рабинович пришёл, отец принял из его рук пальто и шляпу и повесил на одиноко торчащий гвоздь, специально для этого случая вколоченный отцом в стену.

Доктор Рабинович, невысокий худощавый человек в чёрном костюме с жилетом, в золотом пенсне, с белыми, снежно-

белыми волосами, стоящими ёжиком, и белой бородкой клинышком, был величав и обаятелен. Серьёзный и молчаливый. Казалось, что одним только приходом в дом он приносит исцеление. Звали его, конечно, в исключительных случаях. Каждое посещение оплачивалось без определённой таксы. Мы никогда не скупились на оплату за визит.

Рабинович подошёл ко мне, осмотрел опухшее плечо и руку, достал чёрную трубочку и начал меня выслушивать. Я дышал и не дышал, кашлял и молчал, а Рабинович всё слушал, хмурил седые брови и высокий морщинистый лоб. Потом подошёл к столу, хотел было взяться за ручку с пером, но медленно повернулся к отцу и сказал: «Надо мальчика везти в Смоленск».

Мать мгновенно скрестила пальцы, напряжённо и больно давила и гнула их. Лиза крепко прижимала руки к вискам. У Голды заблестели слёзы в глазах, а Маша заплакала. Отец стоял растерянный напротив доктора, и руки его, натруженные руки, безвольно опустились. Везти в Смоленск значило, что больной в опасности и что здесь у доктора Рабиновича нет средств для спасения.

Мне стало весело от того, что я не чувствовал никакой опасности, что я смогу успокоить обезумевшую мать, что я, быть может, скоро, совсем скоро помчусь в санях до самого Смоленска, хотя я знал, что это только мечта. Вряд ли повезут меня в Смоленск, для этого деньги нужны. Когда доктор ушёл, я прыгнул с канапы, подбежал к маме и сказал: «Мама, не надо, мне хорошо, не надо в Смоленск, я и так выздоровею».

Подняв на руки, мать уложила меня в постель, и слёзы надежды и горечи потоками лились из её глаз.

Прибежала тётя Рохл, мамина сестра. Худенькая, маленькая, очень подвижная она высмеяла доктора и сказала, что никуда не надо меня возить. Она сама за меня возьмётся и поставит на ноги. Тёте Рохл мы все верили, она на ветер слова не бросает. Больных своей большой семьёй она сама выхаживала. По бедности доктора почти не вызывала.

И принялась моя добрая тётя Рохл за работу. Где-то достала свежие заячьи шкурки и мокрой жирной стороной обложила плечо и руку, обвязала полотном и длинным холщовым полотенцем. В плечевой опухоли больно клевало и сосало. В руке

жгло и ныло. Я метался в беспамятстве. Ночью, когда мать и тётя Рохл немного вздремнули, я соскочил с опротивевшей кровати, подбежал к столу и выпил целый стакан воды. Вода была солёная и отдавала лекарственным запахом.

Когда тётя Рохл вдруг проснулась и увидела в моей дрожащей руке порожний стакан, испуганно вскрикнула: «Ты же выпил стакан борной кислоты, тебе нехорошо, правда? Срыгни этот негодный напиток, тебе плохо будет от него».

Меня в самом деле стало тошнить, и не успела тётя Рохл поднести ведро, как фонтаном полилась из меня вода. Меня рвало долго, всё тело судорожно сжималось. В какой-то момент я почувствовал облегчение в руке.

Спал я долго, а когда проснулся, около меня хлопотали, обмывали рану в плече, убрали залитые гноем рубашку и простыню, переодели, накрыли рану заячьей шкуркой, и я снова уснул.

Выздоровливал я медленно. На дворе уже лежал снег. Сквозь чистые стёкла окон я видел, как плавно, кружась и снижаясь, ложатся снежинки на крыши домов, деревья и заборы. Я спал, просыпался и снова засыпал. Однажды утром по улице промчались всадники. Я посмотрел в окошко и прилип к стёклам.

Солдаты с карабинами, шашками и шпорами на сапогах ходили от дома к дому и на калитках или заборах ставили цифры. Уже несколько раз я пробовал выходить на улицу, но голова кружилась, и долго гулять мать не позволяла. Теперь я горел от нетерпения узнать, кто они, эти солдаты-кавалеристы, и что они пишат на воротах дворов.

Пришёл отец и сказал, что проходит польское войско. В каждом доме будет на постое столько человек, сколько записано на калитке. У нас будет стоять семь человек. «Где мы разместим семь человек?» – спросила мать.

Отец дал строгий наказ не вступать в разговоры с солдатами, не отвечать на вопросы. «Не понимаю», – такой должен быть ответ на все вопросы. Вскоре улицы огласились звуками тяжёлой поступи войсковых частей, цоканьем копыт, лязганьем артиллерийских батарей и походных кухонь. Местечко наполнилось войском. Ворота нашего двора раскрылись, и несколько подвод с грузом въехали во двор. Вошли солдаты. Похозяйски поставили в угол кухни винтовки, сняли шинели и попросили кипятка. Мать поставила и разожгла самовар.

Солдаты заварили настоящий чай, ели хлеб с консервированным мясом и запивали чаем с сахаром вприкуску. Мы старались не смотреть в их сторону. Запах консервного мяса приятно щекотал нос.

Солдаты увидели машину и попросили отца сострочить в один широкий шарф две узкие вязаные обмотки, которыми они обёртывали ноги. За работу отец получил банку консервов. Через некоторое время в доме стало тесно от желающих сшивать обмотки. Платили консервами, рисом и даже сахаром. Говорили солдаты, что идут они в Варшаву, на родину, что путь далёкий, а морозы крепчают.

Ночь провели кое-как. Солдаты спали на печи и в кухне. Дверь не закрывалась. Всё время входили и выходили дежурные, часовые.

На второй день постоя я вышел на улицу. Везде были солдаты. На большой школьной площади дымились солдатские кухни. Обозные сани, покрытые брезентом, стояли с подтянутыми вверх оглоблями.

Строились и маршировали целые квадраты колонн. Офицеры в золотых погонах носились по улице, покачиваясь в седлах. Никогда я не видел в местечке столько войска. Мы о войне слышали, мы войну чувствовали недоеданием, холодом, слезами осиротевших семей. Ныне война приблизилась к нам близко, совсем близко.

Вечером уже собрались было устроиться на ночь, как вдруг солдаты засуетились, забегали. В короткое время запрягли лошадей, приказали Гришечке Курочкину запрягать свою «худоу», погрузили весь свой скарб и выехали со двора. Мы подмели в доме, убрали мусор, стало тихо и свободно.

Отец подсчитал заработанное. У нас оказалось немало по тому времени консервов, риса, кусочков сахара. В сенях обнаружился забытый впопыхах поляками ящик с рыбными консервами. Мы были очень довольны проходящим войском.

Утром я вышел на улицу. Со стороны Смоленской дороги вслед за уходящим войском проскочил конный отряд в 150-200 человек. Шёл отряд на рысях. Одеты были всадники разношёрстно: кто в кожанке, кто в шинели, кто в полушубке. У всех на шапках были красные ленточки. Это красный отряд

догонял и клевал поляков, которые воспользовались суматохой и смутой, подняли свои полки и дивизии, расположенные в районе города Ельни Смоленской губернии, и направились на родину в Польшу.

Рухнула и рассыпалась великая Российская империя, а верные ей и покорные сыны бежали от неё, от её благодеяний. Красные отряды, преследуя польские легионы, не имели в виду ввязаться в бой с ними. Они должны были наседать на поляков, дабы те не задерживались, не грабили население и не мешали укреплению на местах вновь организованным советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Через день вернулся со своей клячонкой наш хозяин Гриша Курочкин, которого поляки отпустили, потому что его кляча отставала от обоза. Он рассказал, что отряд красных нагнал поляков и навязал им бой. Он слышал перестрелку, которая всё больше учащалась и усиливалась.

Позже вернулись другие обозники. Один из них, Мендл Клинец, – сын балэгула (возчика) Нохема Клинца, широкоплечий крепыш с приплюснутым носом – был ранен в ногу в перестрелке, когда красные хотели отбить обоз. Однако поляки легко отражали атаки небольшого отряда красных и настойчиво продвигались вперёд, к себе на родину.

Другой прискорбный случай в связи с продвижением польских войск был с председателем волостного совета, которого поляки схватили и бросили в прорубь реки около деревни Корзово. Я не знал, что это за совет и кто его председатель. Может быть и поляки этого не знали. Им некогда было выяснять, но человек сидел, замаскировавшись, наблюдал за движением войска и делал пометки на бумаге. Его заметили и бросили в прорубь. Из проруби председатель выбрался, но отморозил ноги и остался инвалидом.

За время моей болезни, а прошло около двух месяцев, что-то в местечке изменилось. Стало тише. Керосина вовсе не стало. Зажигали ватные фитильки, которые торчали из пузырьков на жестяных кружочках, а в пузырьках чуть-чуть желтело машинное масло. Не стало ниток, пуговиц. Нужда отчаянно свистела во всех углах. Но уныния не было. Что-то новое произошло.

Глава 7. НЕ ВСЁ ЛАДНО

Мы записали Машеньку в образцовый хедер, – так прозвали новую школу для еврейских детей. В первый же день Машенька принесла из школы несколько учебников на языке идыш, тетради, карандаши и ручку с пером. Она рассказала, что школа совсем не похожа на хедер, что ученики размещены в трех классах и сидят за партами. В каждом классе стоит большая доска. Учителя новые, хорошие, говорят и учат по-еврейски.

Это было что-то новое. До сих пор только мальчики ходили в хедер. В местечке на каждой почти улице был хедер. К старому богомольному еврею, которого называли «ребэ», собирались человек пятнадцать мальчиков, садились за один стол и обучались печатным и письменным буквам, молитвам. Повторяли и заучивали наизусть непонятные слова молитв на древнееврейском языке. Таким же образом заучивали священную книгу «Хумеш» (Пятикнижье), «Пророков», сказания об Исходе, Эсфири и др. Более способные мальчики приступали даже к изучению абзацев Геморы (Талмуда).

К тринадцати годам, когда отрок становится совершеннолетним и ответственным перед Богом за свои деяния, учёба в хедэре для большинства учеников заканчивалась, и мальчики уходили в кустарные мастерские учиться специальности или готовились для другой какой-либо деятельности.

Я, например, проучился в хедэре семь лет, продвигался от нижестоящих по категории ребэ, которые имели прозвища Герце-циг (козёл) и Хачке-насер (лакомка), и закончил учение у более солидного ребэ без прозвища – Йоше по жене Хае-Ришес, в отличие от Йоше по жене Дышес.

То, что мы все называли хедэр, не было совсем похоже на заведение, о котором рассказывала Машенька, поэтому название «Образцовый хедэр» вышло скоро из употребления и заменилось словом школа, например, Маша пошла в школу, Маша пришла из школы.

Еврейскую хрестоматию под названием «Дос Идыше Ворт» (Еврейское слово) я перечитывал несколько раз от начала до конца. Здесь были рассказы, стихотворения, басни не только еврейских писателей, но и переводные.

Вскоре я увидел заведующего этой новой школой, звали его Аркадий Борисович Петкун. Был он пожилой, похожий на писателя Шолом-Алейхема, но в мундире чиновника ведомства народного образования. Из-под форменной его фуражки висели пряди седых волос. Выглядел он барином и одним видом придавал вес своему заведению. Его дочь Софья Аркадьевна – немолодая особа – преподавала географию и ботанику. Она играла на пианино, имела длинный с горбинкой нос и владела французским языком.

Жена Аркадия Борисовича – красивая женщина с весёлыми светящимися глазами и седыми снежно-белыми волосами, стянутыми сзади в тугий узел – преподавала русский язык. Говорили, что Аркадий Борисович из Виленского института еврейских учителей приехал с семьёй в Хиславичи от Джойнта (Еврейского благотворительного общества), поэтому преподавание и учебники были бесплатными для всех, а самые бедные ученики получали периодически сгущённое молоко и манную крупу тоже бесплатно.

«Видишь, – говорила мать отцу, – всё это благодаря революции». – «Посмотрим, что ещё будет, – отвечал отец. – Говорят, что главного, Керенского уже не стало, что все бумажные керенки выеденного яйца не стоят». – «Что николаевские, что керенские – одного поля ягоды, – продолжала мать. – За них ничего не купишь. Надо брать за работу муку или картошку. И соль уже на исходе. Как жить будем?»

Из городов в местечко потянулись люди, которых мы здесь никогда не видели. Приехал сын доктора Рабиновича Григорий Львович с женой. Григорий Львович – красивый молодой мужчина в форме офицера – изредка показывался в местечке. Его жена Фаина Сидоровна, коротко стриженная с золотистыми волосами, резко отличалась от местечковых женщин. Таких можно было видеть только в иллюстрациях книг и журналов. Приехал брат Фаины Сидоровны Евсей Сидорович Шварц с женой Бертой Альбертовной.

На нашей Заводской улице тоже появились новые люди. Приехали дочери Вели Лаповка. Старшая Женя – черноглазая статная красавица с двумя девочками Гиндой и Розой из Смоленска и Лиза – девушка, о которой мать говорила, что такая

долго в девках не засидится. Знать, плохо в городе, если люди бегут к нам, в нашу тьму и нужду.

Аркадий Борисович Петкун устроил впервые в местечке массовый детский праздник в честь праздника Ханука. В большой синагоге на школьной улице к зажиганию первой ханукальной свечи собрались мальчики и девочки со всего местечка. На амвон около священного ковчега подняли семи-свечник. Прозвучали три удара шамоса (служки) ладонью об амвон, и на подмостках появились – глазам не поверить – Иошке Израитель с нашей улицы и Хайкеле Пескина, оба маленькие, чистенькие, подтянутые и очень серьёзные. Высоким, звонким, взволнованным голосом зачитал Иошке наизусть молитву о провозглашении праздника Ханука и о зажигании первой свечи. Хаелэ поднесла спички, и Иошке зажёл на семи-свечнике первую свечу. Потом Хаелэ прочитала молитву о сотворении чуда, и все дети вторили её звонким и чеканным словам, а последним словом «аминь» долго и протяжно оглашалась большая синагога.

Самым интересным было исполнение ими песен на древне-еврейском и языке идыш.

Низким голосом Иошке спрашивал:
«Сапри ахува, сапри хавива,
ма таасе шом, шом беэрец исраэл?»
«Скажи дорогая, скажи любимая,
Что ты будешь делать там, в стране святой?»

А Хаелэ отвечала напевно и звонко:
«Буду глину там месить,
И полы там буду мыть,
Лишь только там, в стране святой».

После каждой исполненной песни их награждали аплодисментами и криками «Браво»!

Это была первая детская самодеятельность, организованная школой в Хиславичах, и хотя участвовали в ней только двое, Иошке и Хаелэ, она на всю жизнь врезалась в память.

Сбежал графский управляющий – высокий с длинными усами и фамилией, похожей на скороговорку, Оперпутупелинц. Графского Оперпутупелинца редко кто в Хиславичах видел,

хороший он или плохой судить некому было, но черкеса, объезжающего усадьбу графа, знали все. Его тонкую талию, переянутую ремешком, и свирепых псов старались избегать.

Кирпичная стена отделяла главную Мстиславскую улицу местечка от графского дома и строений.

Заросший большой парк, как лес, казался издали пустынным и таинственным. С противоположной стороны от реки Сож к усадьбе примыкал большой фруктовый сад. Всё это видели издали, но ни один не осмеливался приблизиться к предполагаемой запретной черте. Весть о бегстве управляющего и лишении прав его хозяев мать восприняла словами: «Так им и надо, хватит, пожил». На что отец ответил: «Побойся Бога, не было бы хуже». Нам он приказал держаться подальше от графского двора.

Избегал появляться на людях инспектор городского училища надменный и гордый Павел Иванович Михалевич. С недавних пор ученики его училища перестали его приветствовать, как требовалось по правилу: становиться во фронт смирно, брать под козырёк и провожать глазами удаляющего наставника. Такое отдавание чести учителям охотно выполнялось учениками, одетыми в чёрные шинели с блестящими пуговицами, подпоясанными по-солдатски, и в форменных фуражках. Но в такое время, когда срывались погоны с плеч приставов и урядников, а солдаты перестали отдавать честь офицерам, продолжение установленного правила в городском училище считалось старомодным.

В местечке не было и не чувствовалось никакой власти. Казённый раввин Рисин по-прежнему записывал браки, рождения, смерти. Гражданские тяжбы разрешались духовным раввином или третейскими судами, а уголовных преступлений вообще не было, если не считать событие из ряда вон выходящее.

Было это четыре года тому назад, когда два молодых парня – Симен-Эле Сандлер и Зелик Сорин – постучали ночью в дверь к вдове Дыше Рабинович, которая жила на Подоле во дворе дома своей дочери Цыве. Когда Дыше открыла дверь, два парня в масках, пригрозив, приказали ей отдать 400 рублей денег, приготовленных ею в дорогу за товаром. Точную сумму денег незадачливые грабители узнали от сестры одного из них, Бейли Сориной, которая работала в магазине Рабинович приказчицей.

Ограбив старуху, хлопцы ушли, а утром первого же дня были арестованы приставом Яновским. Некоторое время грабители сидели в кутузке в Хиславичах. Когда настало время отправки их на суд в Могилёв, они попросили разрешения сыграть прощальное родному краю. Симен-Эле и Зелик были ведущими музыкантами в духовом оркестре пожарной команды и не раз играли туш в честь пристава Яновского на пожарных обедах. В сопровождении двух вооружённых конвоиров арестанты сидели на телеге, и пока отец Симен-Эле Шмуэл-Иошесапожник собирался к отъезду, чтоб сопровождать сына, круглолицый Симен-Эле и поджарый Зелик приложились к своим медным трубам. Первый к трубе, а второй к тромбону, и полилась мелодия на слова популярной еврейской песни «А бривелэ дэр мамен» (письмо матери). Сердобольные старухи ломали руки, качали головами и плакали. Кони били копытами и разбрызгивали вокруг куски грязи.

Когда Шмуэл-Иоше вернулся из Могилёва, по местечку разнеслись слухи, что парней полагали судить полевым судом по закону военного времени, но Шмуэл-Иоше кого-то подкупил, а кто-то заступился, и суд приговорил их к каторжным работам.

Это был единственный случай уголовного преступления в памяти тех, кто свой век доживал и кто вступил в жизнь следующего поколения.

Однако такое благополучие продолжалось недолго. Однажды утром после отпыхавшей ночной летней грозы по местечку разнеслась страшная весть.

В старом чёрном доме по Лысковской улице убили старуху Яхнэ Попок и её племянницу. Мужчин в доме не было. Два сына вдовей старухи были в отъезде. Бандиты проникли в дом через окно. Призраки старух, порубленных топорами, повисли грозным предупреждением и начавшейся смуте.

Через небольшой промежуток времени, в такую же ночь, когда небо низвергало иссиня-огненные сполохи, а раскаты грома не прекращались, был убит Гирш Попок, сын старухи Яхны. Его 12-летнему сыну были нанесены тяжёлые ножевые раны. Гирш Попок жил на той же Лысковской улице на выезде.

Забеспокоились братья Попки, которые жили на окраинах местечка, выгодно оседлая дороги, ведущие из окружающих

деревень в Хиславичи. Они вели оживлённую торговлю с крестьянами, опережая других скупщиков и выгодно скупая у них лён, пеньку, скот, – всё, что крестьяне возили на базар. Так, на Лысковской улице жили Пейсах Попок и Гирш Попок, на Подоле – Нысн Попок и Ханэ Попок. Шахнэ и Лэбэ-Итче жили в доме отца на Лысковской улице недалеко от выезда.

Все Попки были рослые, красивые. В семьях было много мужчин, и жили все без исключения зажиточно. Такая лютая расправа с членами разветвленной семьи Попков толковалась разными людьми по-разному. Одни говорили, что Попки бесовестно грабили крестьян, исправляли долговые обязательства, занимались обманом, обвешиванием и т.д. Другие объясняли ночные бандитские налёты на Попков тем, что они жили на окраинах, не в пример другим богаче, и тем привлекали любителей лёгкой наживы.

Вскоре, однако, появились другие случаи убийства. В одной деревне убили мужа Леи Бунэс и закопали его во дворе одной нежилой халупы.

На Починковской дороге убили Лоева, сына Иосифа из деревни Балтутина. На Монастырщенской дороге убили Гершена Виткина и Хаима Кривого. На опушке леса около деревни Воробьёвки однажды утром обнаружили труп мельника Индина, в деревне Карки убили семью из пяти человек.

Хозяин семьи смолокур Зельдин занимался нелёгким трудом. Он выжигал или, как говорили, гнал смолу и дёготь. Богачом он не был. Его даже не подозревали в богатстве, однако из этой злосчастной семьи чудом уцелел один только мальчик, который упал, потеряв сознание от ножевого удара. Бандиты считали его мёртвым.

В это смутное время в разных местах местечка и около него было убито не менее пятнадцати евреев. Отец говорил: «Мы живём среди врагов, нас ненавидят». Мать была другого мнения: «Меня и тебя не убьют, – говорила она, – и Симху Куцмана тоже не убьют, у нас братя нечего».

«Иван Качер богаче всех тех, кого убили, вместе взятых, однако его не бьют, не грабят», – горячился отец. – «Свой своего не бьёт,» – отвечала мать. – «Да что с тобой говорить, – замечал отец, чувствуя шаткость доводов матери, – баба остаётся бабой».

Было тревожно. Но как бы ни была черна ночь, присмотреться надо, и будто из тьмы выступают серые просветы. Их, просветов, в самом деле нет, но жизнь невозможна в безнадежной могильной тьме, поэтому воображение порождает их.

Таким просветом в воображении людей той голодной и тревожной поры был Дыськин Моисей. Ему я посвящаю две последующие главы.

Глава 8. М. Д.

Дом Айзика Аснина выходил к Школьной улице невысоким крыльцом, низким окном и аккуратнo отделанным палисадником. От шелеста кустов в палисаднике гардины на окнах иногда волновались и обнажали лакированный край пианино, красные цветочки домашних растений и кисти кружевных скатертей.

Со стороны двора дом заканчивался спальней, столовой и кухней. Даша Аснина – мать Айзика, дородная властная старуха – правила домом. Благополучие семьи относили на счёт её, Даши, деловых качеств, ума и энергии.

Достаток Асниных начинался недалеко от Хиславичей около деревни Мартиновки. Здесь возле низких и длинных построек в двух больших деревянных чанах, врытых в землю, мокли и набухали в известковом растворе шкуры крупного скота. Ко времени шкуры извлекались из чанов длинными клещами и крюками, очищались от шерсти и мясистых веществ у мездры. Вонь около ям и в кожевнях стояла невыносимая.

После длительного процесса дубления и сушки готовая кожа поступала в посадочную мастерскую Асниных. Здесь кожа пропитывалась очищенным дёгтем, строгалась, гладилась и сушилась.

Если из неё готовились вытяжки для сапог, она натягивалась на плоские деревянные крюки, похожие на букву «Г». Работа в кожевнях и посадочных мастерских была грязной и тяжелой, но оплачивалась она лучше, чем другие кустарные работы.

Во дворе у Асниных кроме посадочной мастерской была и заготовочная. Здесь переда втачивались в голенища, произво-

дились заготовки для ботинок с резинками, мужских и женских, с пистонами или крючками.

Во всех мастерских Асниной Даши работала молодёжь по найму. Моисей Дыськин работал в заготовочной мастерской и, хотя состоял в родстве с Дашей, особыми привилегиями не пользовался.

Все приходили на работу к назначенному часу и в положенное время уходили. Особых конфликтов между хозяйкой и рабочими не было. Каждый мастеровой парень, обучившись ремеслу, мечтал скорей разделаться с военной службой, жениться и стать самостоятельным хозяином. Не стану утверждать, но полагаю, что мечты Моисея Дыськина дальше этого идеала не распространялись. Он ничем не выделялся. Голубей он не гонял и на массовки не ходил. О нём заговорили только тогда, когда понятие о слове «контрибуция» получило, благодаря ему, реальное значение.

В эти дни в местечке было очень много собраний. Слова «Мир без аннексии и без контрибуции» дразнили своей новизной и протяжённостью. И вдруг стало известно, что Моисей собирает контрибуцию. Где-то кто-то решил, что такой-то гражданин должен внести в совет назначенную сумму денег. Список лиц кто не вносил попадал к Моисею. Моисей без всяких церемоний являлся к неплательщику и требовал уплаты назначенной суммы или подвергал имущество отказчика обыску. Мануфактура, кожа, шерсть, нитки – всё, что попадало в руки, складывалось в мешки и уносилось.

«Это и есть контрибуция», – говорили в местечке.

Но не так о контрибуции болели, как возмущались наглостью и нахальством этого босяка Дыськина.

Не Моисей (по имени), а Дыськин (по фамилии) всё чаще и чаще склонялся в местечке: «Дыськин приходил, Дыськин отобрал, будто бритвой отрезал». И стали присматриваться к Дыськину, к его широкому затылку, к жёсткому ёжику коротких волос, к линиям глаз от переносицы вкосу вверх, к сверлящим черным глазам, оттопыренным ушам и выступающему вперёд подбородку, как у Наполеона на портрете, к его быстро семенящей походке. Всё в нём прельщало и отталкивало.

Одни говорили, что Дыськин молодец, что он мало говорит, зато много делает, что он крутой, но справедливый, что он за рабочих и бедноту. Другие, наоборот, говорили, что хладнокровье, бесцеремонность и безжалостность, допускаемые им при выкачке денег, сами говорят о изменности его характера, его злобе и нахальстве.

Когда отец приходит из синагоги и рассказывал с негодованием о проделках Дыськина, мать говорила: «Ничего, ничего, пусть и буржуи узнают почём фунт лиха, хватит с них». Отец сердито умолкал и недоуменно казал головой. «Конечно, – продолжала мать, сглаживая резкость своих слов примирительным тоном, – Не только одних буржуев обкладывают контрибуцией, рассказывают, что к Алтэру Шофману тоже приходил Дыськин. Алтэра дома не было, а Рохе, его жена, наотрез отказалась платить деньги». «Ничего я не знаю и нечего я тебе не дам», – сказала она.

Тогда Дыськин потянул у сопровождающего его солдата винтовку и внушительно промолвил: «Видишь эту винтовку?»

«На тебе деньги, абы не пли!» – крикнула Рохе и отдала контрибуцию. Дома громко смеялись, а мать добавила: «Подумаешь, Алтэр Шофман, тоже мне буржуй».

В графском доме Салтыкова разместился совет. Туда люди приходили и уходили. Из открытого окна на втором этаже видна была круглая, коротко стриженная голова Дыськина. Слышен был его чёткий металлический голос. Слова он произносил коротко и ясно. На траве у полукруглой стеклянной веранды графского дома сидели солдаты с винтовками, зажатые в коленях, и лениво пели:

«При лужке, лужке, лужке, при широком поле,
В незнакомом табуне конь гулял по воле».

Солдат было немного. Большая часть их отряда находилась в деревнях. Деревенские «комбеды» (комитеты бедноты) не могли справиться с выполнением продразвёрстки, и это делали солдаты. Они отбирали хлеб в деревнях. Крестьяне беднели, лавочки закрывались, а местечковые ремесленники сидели без работы и без хлеба. В лесах собирались крестьянские парни, уклоняясь от призыва и озоруя в отместку за реквизируемый хлеб.

Симен Липкин, сын Алтэра Кивеса, возвращался домой из местечка Монастырщина, где работал заготовщиком по найму. В 15 километрах от Хиславичей, где густой сосновый лес находился близко около просёлочной дороги, его окликнул парень с обрезом в руке, внезапно вынырнувший из зарослей. Симена ввели в лес. Там на поляне сидело несколько человек задержанных. Симена обыскали, отняли кошелек, сумку с харчами и приказали сесть. День склонялся к вечеру. Задержанные видели как там в лесу курят, совещаются, поглядывая всё время в их сторону. Они почуяли недоброе. В это время послышались гулкие звуки кованой телеги. Приблизился гружёный воз. Парни с обрезам бросились к дороге. Улучив момент, Симен и ещё один задержанный бросились бежать в сторону дороги. По ним было сделано два выстрела.

В Хиславичах Дыськин подробно расспросил Симена о случившемся, а ночью на окраинах местечка был выставлен дозор, и в графском доме бодрствовали вооружённые берданками рабочие парни.

Встревоженные в местечке люди пытались что-либо узнать у Дыськина, но он умело отсекал любые затруднения от толков, слухов и пересудов.

«Проваливай, – говорил он любопытным. – Без тебя дело обойдётся». И лишний раз с вопросом к нему не обращались.

Совсем неожиданно распространился слух о том, что Дыськин заметил Груню Азимову. Ещё более невероятной казалась возможность положительного исхода его намерений. Груня только что поступила в гимназию и красотой своей, напоминавшей недавно умершую мать, была зеницей ока отца Файвеля Азимова.

Скоропостижная смерть жены Файвеля Ханы ошеломила местечко. Кто ходить только мог, приходил на похороны. Две ночи подряд Файвелю снилось, что жена его просит отдать ей волосы, постриженные по совету врача за день до её смерти. Файвель обратился к раввину, и ребэ посоветовал ему исполнить волю покойной. Погребение волос по требованию мёртвой наводило ужас на суеверное местечко.

Груня своими густыми и чудными волосами напоминала красавицу-мать.

«Неизмеримо расстояние, отделяющее Груню от Дыськина, – говорили люди. – Груня молода, красива, дочь богатого Файвеля и внучка всеми уважаемого в местечке торговца Бине Пиранэра, а Моисей – малограмотный заготовщик, сын взбалмошного Самуила-бедняка, не имеющего ни профессии, ни специальности».

«Новые времена, – говорили другие. – Богатство в счёт не идёт, а бедность стала качеством, благодаря которому имя Дыськина не сходит с уст и стало притчей во языцех».

Отец Файвель и дедушка Бине не посмели вслух выразить свое мнение, а Моисей действовал настойчиво и смело. Самолюбию Груни льстило ухаживание красивого сильного парня, которого побаивались и который был ею очарован вопреки своим убеждениям обходить за километр и не якшаться с буржуями.

Брак состоялся без старых обрядов, которых не стали признавать, и без новых, которых ещё не было. Файвель отвёл молодожёнам маленький домик из новых бревен, построенный около своего дома и выходящий окнами на большую площадь, включающую часть Базарной и часть поляны, заросшей травой и примыкающей к изгороди Борисоглебской церкви.

Груня оказалась пленницей Дыськина, пленницей в буквальном смысле этого слова. Никто больше не видел Груню ни отдельно (нечего, мол, шататься по местечку), ни вместе с мужем, потому что Дыськину некогда было. Он был занят по горло делами Мертенса (председателя ЧК Мстиславского уезда) по Хиславичской волости. Мертенс-латыш наводил ужас на местных богачей и лавочников.

В Мстиславле с неплательщиками контрибуции проводились ежедневные инсценировки расстрела. Испытуемого ставили к стенке и спрашивали: «Платить будешь?»

«Денег больше нет», – отвечал арестованный, и Мертенс стрелял. Ставил лицом к стенке и стрелял по верх головы. Когда родственники приносили пищу арестованным, последние говорили им: «Обождите немного, после расстрела покушаем».

Совсем не в шутку, а для остротки было расстреляно в Мстиславле четырнадцать дезертиров гражданской войны – от каждой волости по одному человеку. Из Хиславичей в группе тех несчастных оказался Арэ Лейтес – тихий парень, только

что вернувшийся из деревни, куда ходил на заработки, и не знавший даже о мобилизации. Его случайно задержали, отправили в Мстиславль и через день расстреляли. Работу ЧК по Хиславчской волости, как уже было упомянуто, проводил Дыскин.

Мертенс приезжал иногда в местечко и вместе с Дыскиным – оба невысокие, широкоплечие, в кожаных тужурках, с револьверами на поясах – носились они по местечку, по волости. Скопления дезертиров в лесах, повторяющиеся в местечке убийства и, наконец, зверская расправа с семьёй трудяги смолокура Зельдина в деревне Лыски вынудили Дыскина заняться делами по выявлению и преследованию бандитов.

Смело уходил он в деревни пешком или верхом на пожарной лошади, проводил расследования, задерживал подозрительных, но, не имея опыта в этом деле, допускал ошибки. Из деревень приводились группы полураздетых в лаптях парней. Держали их в кутузке при милиции, и так как кормить их нечем было, их отпускали по домам.

Однако и такие весьма нерезультативные меры действовали успокаивающе, и вокруг Дыскина создавался ореол бесстрашия и доблести. Зелик Жак, молодой рабочий-заготовщик, рассказывал про Дыскина необыкновенные истории. Однажды Дыскин преследовал трёх бандитов, которые мчались во весь дух на разгоряченной лошади. Он вскинул карабин, прицелился и выстрелил в подпрыгивающую на ухабах дугу мчащейся упряжки. Дуга лопнула, и лошадь распряглась. Бандитам не удалось скрыться. Они были настигнуты по дороге не деревню Гололобовка.

В этой же деревне задержаны были братья Леоненковы, которые убили старуху Яхну Попок, её сына Гирша и племянницу. Зелика слушали с большим вниманием, хотя разговоры были, что братьев Леоненковых не Дыскин обезвредил.

В повседневные дела местечка и его руководителей Дыскин не вмешивался. Его не касалась нашумевшая возня по осушке улиц.

Руководители местечкового совета – Израитель Лев, Фрумкин Веле и Гендлин Борэх – привлекли людей к трудовой повинности. Из леса вывозили хворост и бросали на просохшие

дороги улиц. Хворост засыпали песком и грунтом. Улицы стали мягкими от хвороста и жёлтыми от песка.

Октябрьский праздник думали встретить убранством улиц и речью Шпеера – тщедушного мстиславского парня, заштатного оратора Мстиславского укома партии. В Хиславичах про Шпеера сложили песенку на еврейском языке такого игривого содержания:

«Товарищ Шпеер-комиссар
И не молод, и не стар.
Речь заводит не на час
Про всё на свете и про нас.
Про буржуев, бедноту,
Про Керзона и еду.
Всех зовёт он на аврал
Сбросить к черту капитал.
Шпеер, Шпеер, молодец,
Речи скоро ли конец?».

Но случилось, что за несколько дней до праздников помрачнело небо, и полил дождь – осенний, частый, нудный. Шпеер не приехал, а улицы превратились в глубокие, жидкие трясины.

Только с утра 7 ноября прояснилось небо, и подсохли дорожки в саду. На тротуарах появилась молодёжь. На груди у каждого алел красный бантик. На углах крыш отдельных домов трепыхались флаги.

Собирались в саду. Из узенького переулка через пролом в заборе на боковой аллее сада появился Дыськин. Он был в новом осеннем пальто ярко-синего цвета, в ботинках с галошами и в мягкой фетровой шляпе. Круглый, пушистый, красный бант, будто печать, подтвердил его необычный праздничный вид.

Люди смотрели на него и перешёптывались. Уж очень он выделялся в толпе плохо одетых единомышленников. Что касается шляпы, то она была единственным экземпляром на празднике и вызывала иронические улыбки. Развернули и подняли знамёна. Рядом с первым стал Моисей.

Зашевелились музыканты. Главные из них – Симен-Эле Сандлер и Зелик Сорин. Они чувствовали себя именинниками. Домой, на свободу они вернулись благодаря революции. «Мы, – говорили они, – анархисты и пострадали за экспроприацию

капитала у буржуйки Рабинович». Так они объясняли обыкновенное ограбление старухи, за которое были осуждены. Теперь они играли в местечковом духовом оркестре, веселились, балагурили и не испытывали угрызений совести.

Из-за непролазной грязи шествие с музыкой проходило по аллеям сада и закончилось митингом. Были приветственные выступления от рабочих, крестьян и батраков. Играли траурный мотив на слова «Вы жертвою пали» в честь борцов, павших за революцию. После, когда спросили молодого рыжеватого сапожника Иосифа Аграната по прозвищу «Царь»: «Что там было в саду?», он ответил: «Дыськин в шляпе и галошах».

Казалось, что единственный человек, который всем сердцем принял этот день как праздник, был Моисей Дыськин. Для всех других кроме развлечения со знамёнами и музыкой ничего праздничного не было ни в одежде, ни в пище.

О революции говорили много. Богатеев и буржуев ругали, а порядок наводили среди своих, голоштаных. Отнимали муку и соль у мешочников, гнали на трудовую повинность ремесленников. Никто не мог пробраться в местечко без обыска и конфискации. Одному Моисею Перлину удалось пронести немного соли и муки. Он предъявил солдату из продотряда бумажку вместо документа.

Развернув бумажку, солдат стал по слогам читать «А-нализ» и, подняв голову, спросил: «Фамилия Анализ?» – «Да!» – ответил Моисей. – «Зовут Моче?» – допрашивал солдат, не подымая глаз. – «Да, Мота», – ответил Моисей. – «Соль есть?» – продолжал солдат и, скомкав бумажку, сказал «Проходи» и вернул Моисею анализ мочи.

Расстрел дезертиров в Мстиславле возымел своё действие. Люди потянулись к призывным пунктам. Из города Дорогобужа посыпались письма о тяжёлом положении мобилизованных.

«Людей нагнали много, спать негде, одевают плохо, а кормят одной только похлёбкой, как вырваться из этой ловушки не знаю», – так писал Пейше Стиллер из Дорогобужа, а Рохе, мать Пейше, поведав соседям о письме, говорила: «Если Пейше не может выбраться из этой ямы, значит крепко их там засосало».

Были и такие, что шли в армию по призыву профсоюза, не задумываясь. Торжественно, со знамёнами и музыкой прово-

дили их до самой больницы, откуда начинается тракт на город Мстиславль. Лэйзер Фрумкин, Итче Мусящиков (посадчики), Лев Израитель (парикмахер), Гриша Рабинович (врач), Муне Жак (заготовщик), братья Хесины Давид и Евсей (студенты), Гершн Пескин, Меер Цукерман, Иосиф Писман (секретари и делопроизводители) – вот список первых хиславичских добровольцев, которым дали напутствие возвращаться домой только с победой.

А Итче Лейтес, сын Герца-галантерейщика, вездесущий гимназист и пламенный оратор давно уж воевал с белыми на фронтах гражданской войны. Был комиссаром в Красной Армии и в самом расцвете своей горячей революционной жизни заболел испанкой и умер в лазарете. Не вернулись домой после гражданской войны Евсей Хесин и Муне Жак.

Дыськина на войну не брали. Он нужен был Мертенсу в Хиславичах, в уезде. Никто так решительно и строго не выполнял задания Мертенса, как Дыськин. Ему доказывать было бесполезно. В спорной поединке он был краток, издевательски остроумен и неопровержимо прав. Его крутой нрав, не знавший соглашений и уступок, вынудил многих побросать свои старые посреднические дела и заняться трудом производительным.

В деревне Фролово, в трёх километрах от Хиславичи, на графской земле организовалась 1-я Хиславичская коммуна. В неё вошли: Алтэр Шофман, Итче-Бер Драгилев, Файвель Левитин, Хаим Аронович, Фиш и братья Бриськины, Хаим Падкин и другие.

Еврей-землепашцы, их быстрый поворот от возни перекупщика к труду землепашца вызывали восхищение. Спокойный и сильный Алтэр Шофман за плугом напоминал чем-то предков, возделывающих Святую землю.

Стала налаживаться торговля в кооперативе. Люди собирали последние копейки и поступали в потребительскую кооперацию. По паевым книжечкам можно было иногда получить пару селёдок, немного гороха, спички и даже муку. Каким-то чудом удалось закупить и привезти из города Ярославля сто десять пудов ржаной муки. Выдача пайщикам муки по сносной цене подняла авторитет кооперации. Заправилами её в первое время были наезжие, незнакомые люди.

Тяжело и медленно двигалось время в темноте, голоде и недостатках.

И вдруг что-то изменилось, зашевелилось. Перестали отбирать. Заменяли продрозвёрстку продрологом.

Всё реже стали видеть устремлённого в деле энергичного Дыськина. Однажды утром в старом добротном доме казённого раввина Рисина появился Дыськин. Рисин давно уж сдал книги и журналы регистрации актов гражданского состояния в волостной исполком. Зимой его редко кто видел, а летом он вечерами выходил на высокое крыльцо дома, пылливо смотрел в сумерки. Всегда тихий и сумрачный. Жил он со своей сестрой Хае-Этл – маленькой засидевшейся девушкой, очень тихой и сердечной, постоянно работавшей в местной аптеке. Рассмотрев расположение комнат, Дыськин распорядился освободить две комнаты, расположенные к улице двумя окнами и высоким крыльцом.

«Кто здесь будет жить?» – осмелился спросить Рисин. – «Не бойтесь, – ответил Дыськин, – Соседи не будут вас беспокоить».

В тот же день после обеда из большого дома, где помещалась аптека, стали выносить столы, шкафы со стеклянными дверцами, полированные полки, разделённые на клетки, тумбочки. Прикреплённые к ним белые эмалированные планшеты пестрели чёрными блестящими буквами. В освобождённых комнатах дома Рисина была расставлена утварь аптеки в таком же порядке, как на прежнем месте.

Затем началось перемещение бутылок, банок, склянок, пузырьков всех размеров, наполненных и пустых, чашечек, весов, бумажек и прочих аптекарских принадлежностей. Работа по переноске мелочей продолжалась до позднего вечера.

Вечером дома произошёл такой разговор: «Этот босяк совсем обнаглел», – говорил отец. – «Почему он босяк и в чём его наглость?» – спросила мать. – «В том, – ответил отец, – что он и его лоботрясы, безграмотные наглецы, осмелились перенести аптеку из одного помещения в другое. Разве это их дело? Они же там всё перепутали, смешали, и местечко осталось без лекарств, шутка ли?» – «Что он, глупее тебя, Дыськин?» – в тон отцу спрашивала мать.

Наутро следующего дня имя Дыськина не сходило с уст удивлённых людей.

Хае-Этл Рисина, которая в последнее время одна только работала в аптеке, сказала встревоженным людям: «И я думала,

что он натворит черт знает что, но утром, когда Дыськин привёл меня в аптеку, я глазам своим не поверила, я была поражена точностью расположения всех лекарств по шкафам и полочкам в таком же порядке, как они стояли. Даже бумажки на конторке лежали так, как я их оставила. Я приступила к работе, как будто не было никакого перемещения. Этот Дыськин – удивительный человек», – закончила Хае-Этл.

Слова Хае-Этл были лучшим успокоительным средством для взволнованного местечка и всё более способствовали возрастающей популярности Дыськина.

На высоком коньке синего крыльца дома бывшей аптеки появилось красное полотнище с белой плакатной надписью «В ЕДИНЕНИИ СИЛА», а на стене у входа висело объявление, что артель заготовщиков принимает заказы из материала заказчиков.

В новоиспеченную артель вошли: Дыськин Моисей, Савельев Хонэ, Гуревич Моисей, Жак Зелик, Зайдман Мотэ, Болотников Зелик, Болотников Абрам, Лаповок Гирш и другие.

Глава 9. ТОЖЕ ПРО М. Д.

Артель заготовщиков распалась также внезапно, как и появилась. Массовых заказов не было, а местные сапожники относили свои заказы заготовщикам-хозяевам – братьям Левиным, Галутину и Гуревичу.

Молодые участники столь незадачливой затеи подались в наём к старым хозяевам, а некоторые из них, у кого были свои машины, стали работать на дому самостоятельно. К ним относился Дыськин.

Никто не видел как он перенёс свою машину домой, но все узнали, что Дыськин работает на дому по милости тех, кого он раньше презирал как хозяев-эксплуататоров.

Это было второе его падение, а первое, о котором никто не подозревал, случилось незадолго до этого, когда в Мстиславском уезде он не поладил с товарищами, был груб в полемике и непримирим к новым веяниям в политике.

Мне довелось близко познакомиться с Моисеем и видеть повседневную его жизнь. Сложилось это в результате следующих обстоятельств. Большой дом с широким синим крыльцом на углу Школьной улицы и Базарной площади недолго пустовал после развала Моисеевой злополучной артели. В тот дом переместилась библиотека Мити Рабиновича. Справедливости ради надо сказать, что хотя библиотека и была национализирована, но заведующим оставили Рабиновича. Дом на Подоле, где раньше размещалась библиотека, приобрёл Лейб Ципин по прозвищу «Лядыэр». Настало время, когда можно было продать или купить.

Мы, в свою очередь, переселились из тесных и душных хатёнок Григория Подмастерьева и Мордхе-Иоше Иоффе в большой и просторный дом – бывшую квартиру Лейбы Лядыэра. Большие комнаты были свежи и просторны. Нам казалось, что солнце свободы засияло и в нашем доме.

Рядом с нами жила семья Рахмиэла Стиллера. Его старшие сыны Пейше и Яков часто приходили к нам. Никогда раньше не полагал я столько теплоты и добродушия у Пейши. Мы благоклонно относились к его балагурству. Отец не пропускал случая пожурить его, ставя ему в пример степенного Якова.

Но вот однажды явился к нам Исаак Кокотов – сапожник и демократ, а после женитьбы – кустарь-ремесленник – и показал нам купчую на дом. Недолго мы наслаждались свободной квартирой. Власти заставили уважать собственность, и мы арендовали квартиру в доме Файвеля Азимова. Так мы стали близкими соседями Моисея Дыськина.

Утром я выходил на большую просторную площадь, примыкающую к Подолу, вглядывался в низкое открытое окно, где виднелась крупная стриженная голова Моисея. Он мастерил заготовки. Я подходил к окну. Сперва разговоры не клеились, но потом он привык к моим утренним заходам, расспрашивал о комсомоле, занятиях и прочем.

«Марксизм – великое учение, – сказал он мне однажды, – и задача пролетариата – не давать эксплуататорам экономического и политического господства». При этом он цитировал Маркса и Энгельса.

Всё, что он прочитывал, фиксировалось в его памяти намертво. Идеи Маркса он воспринимал как неизбежно вос-

торжествующие, не наступившие перемены, порядки и послабления – порицал.

Перемена чувствовалась везде и всюду. На базаре появились глиняные горшки, самотканый холст, дуги и деревянные вёдра. Открывались двери лавок в кирпичных торговых рядах. На Базарной площади расположилось множество лотков с пуговицами, крючками, лентами и бусами.

На полях и перелесках между деревнями как грибы вырастали хутора. Одинокое домики быстро обрастали птицей, скотом и загорелой детворой.

Артель девушек-чулочниц стала непрерывно получать пряжу. Из открытых низких окон всё явственней нарастал гул трудовых хлопот кустарей и ремесленников. Был бы Дыськин искренен с самим собой, он смог бы понять, что участь его, активного деятеля революционного прибоа, была уже решена тогда, когда он вернулся из Мстиславля, отвергнутый товарищами, хотя из партии ещё не исключённый.

Повседневной связи с партийно-комсомольской организацией в Хиславичах он не имел. Затея с организацией артели была, как ему казалось, продолжением его революционной искренности и активности. Став кустарём, он продолжал проявлять инициативу в делах, по его мнению, самых актуальных.

Газеты и журналы того времени подбадривали крестьян, призывали к расширению посевов, поучали приёмам культурного ведения хозяйств.

Дыськин как бы самовольно обременился заботой по распространению газет и журналов среди крестьянского населения волости. Ходил по деревням, знакомился с жизнью крестьян и стал посылать в московский журнал «Крестьянин» заметки и корреспонденции об успехах или затруднениях в отдельных хозяйствах. Его активность селькора и распространителя сельской печати была вознаграждена. На титульной стороне журнала «Крестьянин» по всему его формату был помещён красочный портрет Дыськина.

В порядке примера и поучения Дыськин приобрёл породистую тёлку и стал выхаживать её по советам журнала «Сам себе агроном».

Через полтора года большая статная нетель, выращенная Дыськиным, заметно выделялась в стаде мелкорослых коров

местечка. На первой животноводческой выставке Хиславичской волости она получила первый приз.

Всё чаще стали появляться корреспонденции Дыськина на страницах московских газет и журналов. Тому немало содействовал хиславичанин – московский студент Яков Казановский, который выполнял ответственные работы в редакции крестьянских издательств в Москве. Подкреплённый поддержкой сверху, Дыськин расширил свою селькоровскую деятельность.

В 1925 году на чёрной дощатой стене старой бакалейной лавки Синичкина появилась большая стенная газета. Привычно было видеть на этой стене объявления о спектаклях, приказы о мобилизациях. Стена эта выходила к центральной площади, от которой начинались улицы Мстиславская, Смоленская, Школьная и Базарная. Большой белый лист бумаги, ярко разрисованный крупными буквами заголовка, привлекал всеобщее внимание. Статьи и заметки были написаны большим чётким почерком и разъясняли постановления партии и правительства о свободном землепользовании, подвергали резкой критике работников волисполкома за старорежимные повадки, грубость, пьянство и кумовство. Этот раздел особенно интересовал крестьян, и они подолгу толпились у стены около газеты.

Дела сугубо местечковые почти не освещались в газете. Местечковый совет возглавляли люди из еврейской бедноты, которые были тесно связаны с комсомольцами, рабочей, то бишь кустарной молодёжью, которая приняла свою пролетарскую революцию как чудо святое. И можно быть уверенным, что все эти комсомолки – Нихама Риськина, Хая Фельдман, Мера Липкина, Соня Кокотова, Мера Фрумсон и другие – не дадут, не позволят никому и ничем поносить, оговорить их революцию, их счастье и надежду. Дыськин это хорошо знал и газетой своей обходил дела местечковые.

В редколлегию газеты Дыськин вовлёк инициативного комсомольца Стиллера Якова, грамотного и начитанного Юдзена Иосифа, художника-самоучку Ривина Бориса и Ковалёву Марию – одну из первых деревенских комсомолок.

Эту редколлегию никто не утверждал. Всё было по тому времени просто. Собрались, написали, вывесили – и читай, кто хочет. Руководители волисполкома перестали на время хамить, и пресекались намерения председателя Хиславичского

волисполкома Мартыненко наделить, в корыстных целях, отдельные хозяйства лишней земелькой под видом контракта-ции под лён или гречку. Кстати, при разборе этого дела, возбуждённого газетой, наткнулись на ряд других незаконных проделок Мартыненко, который был впоследствии привлечён к уголовной ответственности и осуждён на десять лет.

Такая привольность с печатью продолжалась недолго. Стенгазету прибрали к рукам – к партруководству и волисполкому – и без участия Дыськина и Юдзена. Газета продолжала выходить, и вешали её на той же стене и даже в рамке и под стеклом, но читать её уже никто больше не хотел, и висела она от праздника до праздника без нужды.

Между тем, жизнь в местечке заметно улучшилась. Кроме традиционных воскресных базаров стали складываться и собираться базары по средам и продолжались они с раннего утра до после полудня.

Открылись круподёрки у Хесина, Лившица и Левитина, волночёрски у Писмана и Драгилевских, красильни у Левитина и Зильбермана. Заработали кожевни и посадочные мастерские у Асниных, Галутиных, Драгилёвых, Стесиных и братьев Лейтес.

В кирпичных торговых рядах открылись магазины. Бойко торговали мануфактурой Рабиновичи, скобяными товарами Славины, галантереей Вайнштейны и Михлины. Появилась работа у портных, сапожников, кузнецов, жестянщиков. Возобновили свои выезды в село мелкие перекупщики. Их было в местечке много, и назывались они тележниками (вэгл-фирер).

Каждый тележник имел незавидную лошадёнку, телегу с упряжью. В понедельник он выезжал в свой круг деревень, куда возил всё, что ему заранее было заказано: гвозди, мыло, стекло и разное другое. За пять дней он объезжал все «принадлежащие ему» деревни. Спал где попало и ел, что приходилось.

В пятницу он возвращался домой с крупой, картофелем, пенькой, льном, коноплёй, телячьей или конской шкурой, коровой или бычком, привязанными к задку телеги. В субботу этот трудяга отдыхал по Закону Божьему и молился. В воскресенье он продавал местечковым перекупщикам приобретенное на селе сырьё, закупал товары для следующего рейса по заказам селян и тем закруглял свой недельный жизненный оборот.

Рано утром в понедельник он начинал свой круг в дождь или снег, жару или мороз. Тележников было много в местечке. Одним жилось лучше, другим хуже. Одним везло, другим ничего впрок не шло. Но все они были тружениками и хлеб свой добывали по велению Бога в поте лица.

Привольно и весело жилось тогда в местечке молодёжи. Восьмичасовой рабочий день соблюдался безоговорочно строго. В комсомольском клубе каждый вечер было многолюдно. Проводились читки, репетиции, лекции. После клубных занятий выходили на улицу, вливались в аллеи сада и парка, заполненные гуляющей публикой. До поздней ночи не умолкали песни и весёлый шум. Но окна дома Дыськина ещё до наступления темноты закрывались не только створками рам, но и добротными ставнями.

На улице весело, шумно, тепло, а он закрывается ставнями. «Почему?» – спросил я однажды Дыськина. – «Много ещё негодяев, желающих свести со мной счёты», – ответил он. – «Но сколько раз прихожу домой поздно, даже очень поздно, и ни разу не видел ни одного не только подозрительного, но и чужого человека», – возразил я. – «Ты ещё мало каши ел, и жареный петух тебя ещё не клевал», – отрубил он.

Груня слышала наш разговор. При последних его словах она резко отвернулась и пошла.

Я смотрел на её старые стоптанные туфли, бесформенную кофту и затянутый на затылке вкосу сложенный ситцевый платок. «Где та красивая Груня? – думал я – И волосы её покрыты, чтоб не напоминали они о былой её красоте. Оба их мальчика – старший Хоня с миндалевидными, рода Азимовых, глазами и оттопыренными как у отца ушами и маленький круглоголовый, черноглазый и очень милый Володя – только они были привлекательными существами в этом запустелом и скучном домике.

Ещё в годы разрухи, когда лавки не торговали, а в домах мёрзли, в Хиславичах был открыт народный дом. Из торговых рядов, расположенных четырёхугольником в центре местечка, выделили один ряд лавок, разобрали перегородки, соорудили сцену и отделили её от остального помещения углублением, которое обшили досками. Это было для оркестра. В два ряда были поставлены новые, тяжёлые – из сырых досок – скамей-

ки. С ранней весны до поздней осени в нардоме проводились конференции, репетировались пьесы. На зиму он закрывался, потому что он не был отеплён и не имел печей.

Приближались еврейские осенние праздники. Комсомольская молодёжь усилила антирелигиозную деятельность. В комсомольском клубе на Советской улице уже несколько раз репетировали что-то новое, необычное. В первый же день репетиции – после того, как участники пролога были размещены в пирамиду и в третий раз пропели хором – за окном дружно и весело зааплодировали, а потом, потом приходилось менять помещения для репетиции, чтоб отгородиться от толпы, увлечённой столь притягательными народными напевами. Так велик был интерес к репетируемой постановке.

Ещё задолго до премьеры в аллеях сада и парка распевались арии и куплеты буффонады.

Но вот, наконец, появилось объявление о предстоящем спектакле. Билеты были распроданы в рекордно короткий срок. Успех постановки был поразительный.

Массовые сцены, разученные до малейшей детали в движениях каждого участника, хоровые песни, напевы мелодии, проникнутые соками народного музыкального фольклора, пёстрые разноцветные костюмы, – всё было пронизано одною нитью незамысловатого сюжета. «Туда и обратно» называлась эта буффонада.

Была она плодом коллективного труда группы студентов еврейского педагогического техникума города Гомеля. Талантливый юноша Соркин Юда был душою той группы студентов. Все участники спектакля знали буффонаду наизусть, поэтому срывов в постановке не было, как это часто бывает в любительских спектаклях. Однако постоянный суфлёр хиславичского драмкружка Гершн Липкин дотошно следил за текстом.

Иногда он привлекал внимание публики, когда предупреждал скрипача Моисея Тиохина приготовиться к очередному музыкальному сопровождению.

Об успехе постановки можно было судить хотя бы по тому, что впервые в местечке она повторилась три раза. Не было ни одного человека, ни старого, ни малого, который бы не видел её. Нет! Два таких человека были: Дыськин и Груня. Они не ви-

дели этой постановки. Крепкими ставнями были они отгорожены от весёлого и буйного кипения жизни местечка после трудового дня.

На этом можно было бы закончить главу о роли Дыськина на сцене хиславичских будней тридцатых годов нашего столетия.

Он покинул Хиславичи и до конца жизни больше туда не возвращался, но жизненный путь его за пределами местечка не единожды скрещивался с моим путём в большом мире. И чтобы дополнить его портрет, небезынтересно будет об этом поведать, ибо многое в последующем изложении будет иметь отношение к людям и событиям нашего городка.

В середине 20-х годов я учился в Москве и жил в общежитии на Мало-Пироговской улице. Меня часто навещали хиславичане: Борис Ривкин, Эстэр Стиллер, Иосиф Печерский, Фрида Фрейдлина и другие. Приехал в Москву Арон Стиллер и поселился временно у меня. Позже, в общежитии на улице Усачёва 64, находился у меня Галковский Михаил, окончивший срок военной службы. Приходили знакомые из Мартиновки – Мазурков, Игудин, Бейлин и другие.

Одни из них учились или работали в Москве, другие устраивались на работу. Духовная связь с местечком не прерывалась. Каждый писал и получал ответные письма. Мы знали обо всех подробностях жизни в нём: что учитель школы-семилетки Тимашков при исполнении роли какого-то вояки в спектакле местного драмкружка выстрелил боевым патроном и ранил зрителя в первом ряду – Бейлина из Мартиновки; что рыжего Иосифа по прозвищу «Царь» забраковали при комиссовке от призыва в армию, поэтому он захандрил и немного того-с... тронулся; что в застеклённой витрине фотографа Смоляницкого появилась фотография Афроима (горба) Галутина «верхом на велосипеде», чем изумила хиславичскую публику; что умер Давид Машин по прозвищу «малхамевес» (ангел смерти) – бедняк и неудачник, и что хоронили его с музыкой, но когда похоронная процессия приблизилась к кладбищенским воротам, Симен-Эле Сандлер – музыкант и балагур – взмахнул трубой и подмигнул. Грянула музыка игривая, весёлая – на мотив шуточной песенки «Червонцы». Тут же ребята, сопровождавшие шествие, пустились в пляс. И многое в таком роде.

Пришёл ко мне однажды и Моисей Дыськин. Был воскресный день. Поговорили мы с ним тогда тепло и проникновенно. Время было ещё опьянено радужными надеждами, навеянными революцией. Казалось, что всё зависит от нас, – людей, стремящихся к торжеству правды, справедливости, что правда есть одна, и что справедливость тоже не двулика.

Дискуссия в партии была не объективная и не справедливая. Оппозиционеров били «дубьём и рублём». Дискуссионные листки в газете «Правда» изобиловали злобными нападками и отнюдь не вразумительными аргументами. Наша с Моисеем солидарность была не в пользу хозяев дубинки.

В этот период Моисей часто приходил ко мне. Всеми своими помыслами, настойчивостью, необыкновенной силой логического мышления предавался он новому своему самоопределению.

Мне было небезынтересно выслушивать его доводы из коротких фраз, резких пронизывающих предложений. В каникулы 1929-го года я прибыл в Хиславичи с посылкой Моисея для Груни. Большая школьная площадь со старым колодцем в середине примыкала глухой стеной к забору кладбища, за которым уж не было больше домов. На этой стороне к забору в одном из домиков жили родители Моисея.

Сюда переселилась Груня с детьми после отъезда Моисея в Москву. В отцовском доме ей было бы вольготнее, но таково было желание Моисея.

Посылочку я вручил Груне, оцепенев от изумления. Передо мной стояла бесподобной красоты молодая женщина – смуглая, цветущая, чарующая.

«Как вы живёте?» – спросил я, глядя в её миндалевидные глаза, и вопрос мне казался пустым, никчёмным. «Разве плохо жить вольной птицей?» – улыбнулась она. И вспомнил я её вид при жизни в клетке с Моисеем незадолго до этого. Несколько раз в течение лета я встречал её в саду с малышами Хоней и Володей или видел её на крыльце дома, где она проживала.

Звонкое лето быстро промелькнуло. Половина тихой воды милой реки Сож унеслась на спинах купавшихся, плескавшихся и нырявших в ней людей местечка, полюбивших эту реку как жизнь свою.

В Москву я привёз привет Моисею от Груни и по простоте душевной сказал, как она хорошо выглядит. Особых восторгов

по этому поводу Моисей не высказал. Впоследствии, рассуждая по поводу драматического события, связанного с Груней, я пришёл к выводу, что мой привет подлил масла в огонь подзирительной натуры Дыськина.

Меер Аснин, младший сын Айзика и внук Даши, помогал отцу в его тяжёлой работе на кожевнях. Был он вхож в наш дом, так как проявлял интерес к моей младшей сестре Маше. Все в нашей семье знали это и относились к нему благосклонно.

Чем не жених? Высок, широк в плечах, грамотен, а голос, как у Шаляпина. Естественно, что он вскоре сблизился со мною и был вовлечён в драмкружок, а немного позже за ним установилась слава лучшего исполнителя ведущих ролей.

Однако роли главного героя в отношении к Маше он в жизни не сыграл. Она, как назло, предпочла небольшого, сутулого и нам не симпатичного Абрама Гуглина. Время стало резко меняться к худшему. Кустарей вынуждали к артельному объединению. Кожевников, посадчиков, красильщиков и лавочников причисляли к богачам и лишали права голоса.

В эту взбаламученную воду бросали, как приманку, «Биробиджан». К чести наших земляков, пескарей на этакую наживу не находилось, но четверо молодых и сильных парней в порядке любопытства и бесплатного выезда в свет изъявили желание поехать в Биробиджан. Меер Аснин, Лев Новиков, Яков Кругляков и Яков Коган за год наголодались, наморозились, «навоевались» с мошкаррой и гнусом и вернулись в родные палестины, где общая пришибленность в сфере коллективизации и раскулачивания породила разобщённость и замкнутость.

Реже собиралась молодёжь на реке в саду. Веселье уступило место унынию. Удивительно ли, что Меер иногда заходил к Груне? Он захаживал в их дом и при Моисее. Однако злоба, клевета, наговоры стали нормой поведения мелких людей того времени. Кто-то написал Моисею, что Меер слишком часто заглядывает к Груне и даже хвастается лёгкой победой над ней.

Если Моисей не верил в доступность Груни, то в хвастовство Меера он поверил, и в письмах к Груне требовал отомстить Мееру за оскорбительное хвастовство. Груня совершила преступление. В угоду мужу она выплеснула в лицо мнимого

обидчика стакан кислоты. Очки спасли Мееру зрение, но лицо его было обезображено.

В 1931-м году по пути в Ленинград на косметическую операцию Меер заехал ко мне в город Невель. Я ему верил, что он незаслуженно страдает, что не говорил он ни с кем о Груне, что встречи с ней были обыденными. Но был один человек низменный, фальшивый, который льстил Моисею, хотел его расположения, а с другой стороны не упускал случая навредить Меере – сопернику по силе. Он мне назвал человека, имя которого внушало отвращение.

Мчались годы, поколение революционных лет всё рельефнее раскалывалось на сукиных сынов, примазавшихся и молчаливых. В государстве рабочих и крестьян образовалось подневольное, изолированное государство, именуемое лагерным. О нём говорили: «Кто не был там – будет, а кто будет – не забудет».

Миллионы людей, загнанные за колючую проволоку, проходили мучительный этап овечьей покорности с общими работами, голодом и холодом, в состоянии депрессии и безысходности. Потом, после длительного процесса примирения и втяжки, наступала собачья стадия лагерной жизни. «Собакам» чаще перепало излишней баланды из лагерной кухни, их небезопасно бить, «собака» способна огрызаться.

Если лагерник не погиб на стадии овцы или собаки, есть перспектива стать «волком» и выжить. «Волк» – это третий этап жизни лагерника. «Волк» властен над вновь прибывшим из той, потусторонней жизни, заставляя их работать, прислушивать, а мог и наказывать.

Много разновидностей лагерных волков: нарядчики, коменданты, старосты, дневальные, повара, раздатчики, бригадиры, звеньевые, каптёры, кладовщики и другие блатники, учётки, нормировщики, счетоводы и прочие. В государстве ЗК некогда было думать.

День проходил в тяжёлом напряжении от подъёма до соприкосновения с клопами. Когда там думать о Дыськине, если бы не один случай.

Однажды в выходной день, который случается раз в полгода, в барак заскочили комендант, воспитатель и целая свора блатных. Криками и шумом стали они выгонять людей из барака.

Предстояла санобработка. Люди вытряхивались из барака вместе с барахлом. Эта мучительная и нудная процедура проводилась для проформы и показухи в ожидании осмотра или инспекции.

После длительной возни я лежал, прислонившись к стене в сыром, вонючем бараке на верхних нарах. Взбудораженные клопы, кружась и обгоняя друг друга, торопились к своим щелям.

Раздалась команда «Внимание». В сопровождении ватаги лагерных сук по узкому проходу между нарами медленно шагал Мартыненко – наш хиславчский председатель волостного исполкома, осуждённый на 10 лет в 1927-м году в результате разоблачений стенгазеты Дыськина.

Сомнений быть не могло. Его крупная голова на короткой шее, как бы вдавленная в широкие плечи, лёгкая пружинистая походка – точно как 12,13 лет тому назад. «Лагерный волк», – сказал мне тихо сосед по нарам Григорий Князев, учитель из Одессы. – «Со стажем», – ответил я.

И вспомнился мне Моисей, его непримиримость к человеческим слабостям.

«Каким бы был Дыськин в лагере?» – подумал я. Позже, в годы войны, я и на это получил ответ.

Однажды из УРЧ (учётно-распределительная часть) мне сообщили, что в ОЛП (отдельный лагерный пункт) поступил некий Дыськин, родом из Смоленской области, не мой ли земляк?

Вечером того же дня после работы я направился в ОЛП. Перед входом в землянку, где находилась швейная мастерская, я остановился. «Он ли здесь?» – думал я и, низко пригнувшись, переступил порог.

В большой и длинной ярко освещённой землянке было жарко натоплено. Пахло серной гарью, тряпьем и потом. Люди в нижнем белье сидели за машинами. Я пробежал глазами по рядам и увидел Моисея. Я подошёл к скелету, облачённому в серое застиранное бельё. Заострённый череп торчал стриженными серо-седящими волосами. Глубоко запавшие глаза настороженно смотрели на меня.

Я молча стоял перед ним в добротной военной шубе, меховой ушанке, с длинной чёрной бородой. «Здравствуй, Моисей», –

сказал я, и что-то смешанное из улыбки и удивления промелькнуло в его лице.

Он меня узнал.

Загребли его в знаменитом 1937-м году, обвинили в несусветных преступлениях, заставляли подписывать, что он итальянец и заслан в Советский Союз как шпион. Получил 10 лет и отбывал наказание в сельскохозяйственном ОЛПе южнее Воркуты. «По стуку» за длинный язык был снова арестован и приговорен к расстрелу. Сидел в «Тридцатке» (Воркутинской лагерной тюрьме). После замены расстрела десятью годами с поглощением отбытого срока по первому приговору его направили в лагпункт шахты капитальной.

Касаясь настоящего положения, Моисей жаловался на испытываемый им голод и холод. В бараке, как на улице, телогрейки у него нет, нет и одеяла. Связь с семьёй он потерял. Хотя на войне, писем от него не было. Володя живёт в Москве. С Груней он давно порвал.

Мы тогда договорились, что через пару дней его перечислят на объект хозяйства, где я тогда работал, что завтра же ему выдадут телогрейку, бушлат, одеяло и всё, что полагается.

Через два дня Дыськин в колонне работяг вышел на базу снабжения. Числился он на работе по ремонту порожней мешкотары, но делом не был обременён. Ему надо было подкрепиться и поправиться.

Одно на виду было упущено: что голодного человека надо постепенно вводить в нормальный режим питания. Произошло непредвиденное. Он объелся и попал в стационар. Положение его было тяжёлое. Однако наш товарищ Клавдия Кириллова – член семьи «врага народа», работавшая в стационаре сестрой, делала всё необходимое для его спасения. Помимо скудного лагерного рациона его питание было обогащено маслом, сахаром и белым хлебом. Мы всеми средствами добивались затяжки срока его пребывания в стационаре и успели за это время переоформить его на работу в сапожную мастерскую. С начальником мастерской Михаилом Петровичем Швальбе – москвичом, отбывшим срок заключения за к.р.т.д. (контрреволюционную троцкистскую деятельность), вопрос был согласован.

Сапожная мастерская находилась за зоной, и работающие в ней ходили по пропускам. С пропуском было сложнее. Осуждённым по бытовым делам пропуска выдавались без особых проволочек.

Моисей не был бытовиком, более того, как дважды осуждённый по политическим делам, он представлял политический рецидив. В конце концов, и это препятствие было преодолено, и после выхода из стационара Моисей пошёл работать в мастерскую за зону.

В мастерской было тепло, работа заготовщика привычна, и Моисей скоро поправился, однако внешний вид его был крайне неприглядный. Носил он длинный не по росту бушлат, подвязанный верёвкой, на голову нахлобучивал толстый ватный колпак с длинными ушами, на хорошие валенки натягивал резиновые чуни. При длинной седой бороде и толстой длинной палке он был похож на хиславичского трубочиста – придурковатого Илюху.

В 1943-м году я был ограниченно освобождён без права выезда, и осенью 1944-го года ко мне в Воркуту приехала семья. Моисей имел постоянный пропуск и каждое воскресенье приходил к нам.

Его политические взгляды того времени по меркам его соратника по ЧК Мертенса заслуживали самой строгой кары, однако марксистская теория была основой его мировоззрения, а действующая система – бесповоротным отклонением, уходом от линии Маркса-Ленина. Впоследствии все эти вопросы нашли отражение в труде Джиласа «3-й класс», но тогда в пекле не отстоялся ещё шлак человеческих невзгод, и не просвечивалась несостоятельность ленинской теории и пагубность последствий осуществления её на практике.

Моисей как винтик выпал из этой гнусной машины и стал таким же, как все его коллеги по мастерской: «Поменьше работать, побольше заработать». В сапожной мастерской была такая возможность, и начал Моисей приносить накопления за неделю. Две тысячи рублей он сколотил быстро.

Первая денежная реформа 1948 года ударила по кубышкам, и Моисеев клубок размотался и обесценился. Хотел он меня укорять за то, что не сдал его заначку в сберкассе. Я отверг его

притязания и говорил, что если бы он и попросил сдать деньги в сберкассу, я бы это не сделал. Навлекать на себя беду не намерен был. Надо было знать Моисея, чтоб понять, как при сохранении напускнуго равнодушия он затаил неприязнь.

Желание наверстать потерянное придало Моисею непозволительную смелость, и через небольшой промежуток времени он был изобличён в продаже заготовок из казённых товаров. Снова попал он в лагерную тюрьму и в третий раз был осуждён на 10 лет с погашением отбытого срока.

Крышка снова опустилась над ним. Общие работы, лагерное питание и голые нары – вот его удел ближайших лет.

Находился он в ОЛПе 2-го района Воркуты. Между нами установилась связь. Однажды я получил записку с просьбой предоставить временный приют его младшему сыну Володе, который вернулся из армии и хотел видеть отца. Сомнения быть не могло. Володя приехал в Воркуту. В шинели, военной фуражке, подпоясанный солдатским ремнём он ничем не отличался от многих других солдат в то военное время.

Организовать свидание должен был я. В назначенный день Дыськин в колонне работяг вышел на работу в мельницу. Вид у него был настоящего доходяги, поэтому его не допустили к агрегатам. Это дало ему возможность уйти незамеченным к месту свидания в зоне базы 2-го р-на, где находилась мельница. Мы с Володей прибыли во 2-й р-н и получили пропуск для входа в зону базы. Я пошёл по делам, а Володя к условленному месту свидания.

Случилось так, что старший вахтёр, просмотрев пропуск Володи, вспомнил, что в списке заключённых, приведенных на мельницу, числилась такая же фамилия, и, проявив бдительность, пошёл на мельницу разыскивать зека Дыськина.

Мне об этом тут же сообщили, и я передал «сигнал тревоги». Свидание было прервано. Володя благополучно вышел из зоны. Через несколько минут я к нему присоединился. Он был чрезвычайно угнетён видом отца и природы страны зеков.

Обо всём необходимом они успели поговорить, но легче от этого не стало ни ему, ни отцу. Побыл Володя на Воркуте пару дней, оставил для передачи отцу кое-какие продукты и уехал.

Передать Дыськину оставленные Володей продукты не представлялось возможным. Его забрали на этап и отправили в какой-то инвалидный ОЛП.

Ещё до последнего ареста Моисей принёс мне на хранение «нечто» упакованное в фанерный ящик, сколоченный лагерным плотником, и претенциозно именуемое чемоданом. Когда Володя уходил на свидание с отцом, я просил его выяснить, как поступить с чемоданом. Желание Моисея было хранить чемодан до поры, пока он, Моисей, не прибудет на постоянное место. О чём он даст знать.

Это были послевоенные годы, когда разгул произвола достиг высшей точки. Обездоленные массы с полей битв и немецких лагерных загонов поступали на гибель в сталинские лагеря, а старые лагерники, отбывшие сроки заключения, прикреплялись к местам поселения на 25 лет без права выезда. Это считалось везением. Не везло тем, кто снова загребался в тюрьму и следовал долгими этапами из Воркуты в Караганду, Сибирь, Якутию и другие глухие места.

Я был пока среди тех, кому везло, но не был уверен, что завтра не загребнут, и семья из пяти человек останется без кормильца и без средств к существованию. Обсудив положение на семейном совете, мы решили продать дом, в котором жили, а семью – без меня, конечно, – перебазировать южнее, где можно было бы приобрести жильё и огород.

Самой старшей дочери было тогда 15 лет, младшей 7 месяцев. В самое осеннее ненастье 1950-го года я проводил семью в Великий Устюг – город на Северной Двине – и остался один без семьи, без квартиры, с тяжёлым сердцем и в великом душевном томлении.

Самодельную мебель из фанеры и стоек и оставшееся барахло я отвёз в весовую мастерскую, которой завладел мой приятель М. Н. Лившиц.

Туда же и попал чемодан Моисея. Через некоторое время Лившица забрали, ему не повезло, и барахло в мастерской было раскурочено. Чтоб сохранить оставшееся в чемодане – ножи, выкройки заготовок и другое малоценное – один наш товарищ перенёс чемодан из весовой на чердак индивидуального домика нашего однокашника Семинаса.

Известие от Моисея из лагпункта, где он осел, пришло через много месяцев. Выполнить его просьбу о присылке чемодана с ножами и т. п. было небезопасно. Ножи в посылке заключённому могут стать вещественным доказательством готовящегося террористического акта. Несколько раз Моисей запрашивал, требовал присылки чемодана, обвинял лично меня в присвоении его. Можно было бы не писать об этом, но после смерти «любимого вождя», когда беспросветная жизнь озарилась немного хрущёвской амнистией, Дыськин, прибыв в Москву, не пытался выяснять положение, не писал, хотя знал, точно знал, что мы ещё Воркуте. Это было верным признаком его недоверчивости, подозрительности, назойливого навязывания своих желаний и выгод.

Позволю себе представить Дыськина в процессе его другого формирования. Допустим, что в первые годы революции он бы не повздорил с товарищами по Мстиславскому укому партии и остался бы на чекистской работе. Сколько бы на его счету было арестованных, раскулаченных, расстрелянных? С другой стороны, сколько чекистов, гэпэушников, энкаведистов – этих «верных стражей» ленинских вех стали в лагере ворами, грабителями, расхитителями социалистической собственности, шовинистами, антисемитами. Нет, нет ничего святого в этой системе, этой практике. Ненависть и смерть пришли на смену любви и жизни. Мне скажут, что такие рассуждения подобны приемам хитро-мудрой бабушки, которая «надвое сказала». Может быть, но сеющие смерть во имя будущих поколений остаются всё же убийцами.

В 1962-м году Дыськин приехал в Ленинград по просьбе Афроима Галутина, который безнадежно заболел и выразил желание повидать его перед смертью. Жена Галутина Рошке, урождённая Левитина, встретила Моисея – старого, надломленного, но всё же резкого и злоязычного. Когда Рошке придержала его перед сигналом семафора и сказала: «На красный свет переходить нельзя», он громко крикнул: «Плюю на красный свет».

В доме Афроима скис, сник, и без помощи не в состоянии был ориентироваться между комнатой и туалетом. Дружба его

с Галутиным символична. Никто раньше не замечал их дружбы или привязанности друг к другу. В самом деле, что общего могло быть между ними?

Да простит мне Роше Файвелевна Левитина, которую я знал с самого раннего детства, знал её родителей, бабушку Баше-Геню, брата Хаима, с которым учился в хедере. Да простит она мне за нелестные отзывы о её муже и отце её дочери – Афроиме Галутине.

Мы все в детстве баловались, в отрочестве озоровали, а в юности даже перехватывали через край. Афроим был не таковским. Афроим озоровал нахально, по-свински. Ему ничего не стоило человека оскорбить, ударить или унижить его достоинство. Его размашистая походка, слюнявая и оттопыренная нижняя губа не вызывали восхищения. Силой он обладал и ростом был высок. Его первая любовь Златэ – тихая, маленькая девушка – была полной противоположностью ему. Ни она, ни её родители не хотели Афроима. Хорошей славой он не пользовался, но Афроим добился своего. Златэ принесла ему двух сыновей и дочку. Потом ему приглянулась Рошке. Смуглая, статная девушка производила сильное впечатление. Афроим стал преследовать Рошке ухаживанием. Он перешёл на работу в артель «Стандарт». Мастерил ящики в упаковочном цехе. Он организовал и участвовал в краже продукции и пряжи в артели. Был судим и сидел в Смоленской тюрьме за кражу.

Всё это было не в норме поведения человека того времени.

Первая семья Афроима погибла в Хиславичах от рук фашистов.

Первая семья Моисея распалась.

Афроим был судим за воровство, Дыськина тоже за воровство судили.

Что сблизало их в конце жизни, столь не похожих и одновременно тождественных? Бунтарство? Неуживчивость? Злая воля?

Только не идейность.

И в родном нашем местечке отношение людей к Моисею и Афроиму было одинаковое.

Какое, по-вашему?

Верно. Негативное.

Глава 10. ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

В неистощимой тоске по моему местечку – родному, милому, исчезнувшему местечку – я пытаюсь мысленно вернуть его к жизни, воскресить в памяти всё, что благоволило или потрясло его.

Это не повесть об одном событии или происшествии. Здесь люди, взбаламученные коренными переменами, взмахивались вверх и падали вниз, рвались вперёд и оказывались позади, готовили почву под светлое будущее, а вырастили злое, омерзительно злое в настоящем. Надежды и разочарования, взлёты и падения чередовались, переплетались как нити в сетке канвы, на которой построена пусть не художественная, но сущая и правдивая повесть о Хиславичах.

В предыдущей главе о Дыськине уже рассказано было об общей ситуации в местечке, однако в той мере, насколько она касалась личности или действия Дыськина. Я же – живой свидетель или участник многих дел небольших или совсем маленьких – должен осветить всё, что я видел в канве на которой плетётся это повествование.

Осенью 1920 года я подал заявление на поступление в комсомол. Цива Фельдман, кудлатая девушка из чулочниц, приняла заявление и сказала: «Можешь приходить в наш клуб». Я стал ходить в клуб. Мне там нравилось. Соня Липкина – дочь Июды-коровника (мелкого перекупщика домашних животных), девушка из гимназисток – читала нам каждый вечер «Азбуку Коммунизма» Бухарина. Прочтёт страничку, перескажет словами и попросит кого-либо повторить. Мы повторяли, пересказывали. Так страницу за страницей мы накапливали политическую грамоту. Эта учёба давалась мне легко. Среди комсомольцев я был единственным из учащихся школы 2-й ступени. (В те годы средняя школа состояла из 8 классов. Последние четыре класса относились ко второй ступени.) В клубе также проходили спевки хора, чтение художественных произведений и репетиции пьес. Организатором и руководителем этих мероприятий был спокойный и вежливый Эле Агранат.

Эле не был ни комсомольцем, ни партийцем, но сугубо своим, всеми уважаемым человеком. Он был начитан, хорошо пел,

хорошо играл на сцене. Он был душою всей культурной жизни комсомольского клуба. Тонкий, худой, выбритый до синевы, аккуратно одетый, подтянутый, в начищенных до блеска сапогах и неизменным шарфом на шее, Эле был единственным человеком в местечке, которого не коснулась разруха. Эле красиво говорил, но никогда не выступал на собраниях. Он никогда не возмущался, не волновался. Когда Эле играл на сцене, зрители в зале замирали. Яков Гордин был его любимым драматургом. В драме Гордина «Ды нзвейле» («Пададь») Эле играл бедного молодого человека, которого избегали, потому что он распространял зловоние своего ремесла, связанного со снятием шкур с падали.

В тоске по дружбе и общению молодой человек злобно упрекает старого немощного отца в том, что он занимался таким вонючим ремеслом и его ничему другому не научил. Повторяя одни и те же упрёки, герой доводит себя до отчаяния, он вжимает растопыренные пальцы в разлохмаченные волосы, тяжело приближается к онемевшему старику и душит его.

Когда занавес опустился, помню, в помещении было жутко тихо, будто Эле перехватил дыхание у зрителей. Взволнованный, я вскочил на сцену и видел, как старшая сестра Эли, Шифра, очищала обессилевшие пальцы руки брата от его собственных волос. В экстазе игры он их вырывал из головы. Публика аплодировала, кричала, неистовствовала. Никогда больше я не видел такого воплощения артиста в жизнь изображаемого им героя.

Эле был не только организатором культурной жизни комсомольцев. Когда из уезда поступило распоряжение о создании отряда ЧОН (Части особого назначения), Эле был назначен командиром группы чоновцев.

Военные занятия с комсомольцами проводились регулярно. Парням раздали винтовки. Мотэ Зайдман получил американскую винтовку, Зелик Жак – японскую, я – двуствольную берданку. Обыкновенных русских трехлинейных винтовок было несколько. Больше всего было одноствольных берданок. Хотя Эле никогда в армии не служил, но учил нас военному делу отлично. В этом я мог убедиться позднее, когда приходилось отбывать воинскую повинность.

Чем же занимался Эле в обиходе, в жизни, вне общественных дел? Отец его был парикмахером. Эле помогал ему. У них

не было специального помещения с большими окнами или стеклянными дверьми, как у Израителя, у них даже вывески не было, но у них в доме можно было постричься и побриться.

Я очень полюбил наш клуб, нашу рабочую молодёжь, наши сборы, наши собрания, на которых мы одобрили все действия революции, направленные на ликвидацию классового неравенства. Мне поручили комсомольскую работу, – организовать клубную библиотеку. Книг и брошюр было много. Приобрели мы старый гардеробный шкаф и на прилаженные полки поставили все книги, которые лежали в куче на полу.

Молодёжь нашего клуба была в большинстве малограмотная. Бегло читать никто не умел, писать тем более. Родной язык наш был идыш. Собрания проводились на родном нашем языке.

Молодых ребят-комсомольцев числилось тогда человек шестьдесят. Девушки-чулочницы, их было большинство, жили у родителей, имели чулочные машины и тосковали по пряже. Парни-мастеровые, которые раньше работали у хозяев кустарей, тоже не имели определённой работы. Сами хозяева перебивались с хлеба на воду. Была разруха и нищета, но организованная в ячейке комсомола бедняцкая кустарная молодёжь именовала себя рабочей, пролетарской организацией. Она этим гордилась, тем более, что духовная жизнь местечка питалась тогда плодами её организованных культурных мероприятий.

Комсомольцы представляли одну сотую часть населения нашего городка, которая восприняла октябрьский переворот как благо. Большинство других групп относилось к новому строю враждебно, – так, например, русские жители местечка (мы их называли мещанами). Из их среды никого в комсомоле не было. Они имели наделы земли и работали без устали, с ранней весны до поздней осени. Многие из них занимались гончарным, кузнечным и сапожным ремеслами. Многосемейные и малоземельные они жили бедно и грязно, однако вносить по развёрстке жиры, яйца, шерсть им приходилось, да выполнять разные наряды по транспортировке грузов и пассажиров.

Так однажды мне довелось ехать в качестве официального лица по срочному делу. Возчиком по наряду был мещанин по фамилии Каховский. Долго мы ехали молча. Лет пятидесяти, с плотно сбитой короткой бородкой и отвисшими усами Кахов-

ский был угрюм и зол. На меня он не смотрел. Когда дорога шла в гору, Каховский прыгивал с телеги. То же делал и я.

«Ты сын Якова?» – спросил он неожиданно.

«Да», – ответил я.

«Отец твой человек хороший, – продолжал Каховский. – Как же ты к ним подался?»

«Чем мы плохие?» – спросил я.

«А тем, что должен возиться с тобою, когда сейчас самая страда».

«Вы не со мною возитесь, – ответил я. – Вы очередной наряд выполняете, если вам некогда, можете ехать домой».

«Не знаю вас, что ли, – огрызнулся Каховский. – Домой поеду, а завтра снова наряд».

«Так зачем себя травить?»

«Не знаешь ты, сколько зла вы делаете народу, – сказал Каховский. – Что вы, молокососы, понимаете, бегаєте с винтовками и нам беднякам хлеб взрастить не даёте».

«Всем сейчас плохо, – ответил я. – Сейчас разруха, вот покончат с контрреволюцией и займутся народным хозяйством, тогда наступит жизнь хорошая».

«Да, жди от вас хорошего, – вздохнул Каховский. – Не верю вам, никто вам не верит».

Зажиточная часть местечка – торговцы, коммерсанты, другие деловые люди – тоже нас ненавидели, но неприязни своей не выражали. Самая бедняцкая молодёжь подалась в «Гехолуц». Так, например, Алтэр Кунцман, не закончив срок обучения сапожному делу, отправился в халуцианскую коммуну, где ребят кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину. Хиславичская группа «Гехолуц» состояла из значительной части еврейской молодёжи. В неё входили: Цейтлин Грэйнем, Лейкин Исаак, Вайнштэйн Саул, Иоффе Симен, Минкин Хаче, Шапиро Яков, Поляк Эле, Белкин Яков, Липкин Гершн и другие. Среди учащихся школы я был единственным комсомольцем.

Школа наша находилась в двухэтажном здании дома бывшего графа Салтыкова. Класные комнаты были большие и светлые. Учителя старые, но уже без форменных кителей и фуражек. Павел Иванович Михалевич бывший инспектор городского училища, был, как прежде, серьёзен и строг. На его уро-

ках географии царила тягостная тишина. Гоголев – старого режима человек – должен был, по-видимому, вводить в уроки истории какое-нибудь новшество. Делал он это неохотно, явно издеваясь над произношением новых слов, например, «коммунистический», «экономический», «социалистический» и т. д. Я не сомневался в том, что он презирает новое революционное, и это никого не трогало.

Невозмутимым, равнодушным был учитель литературы Вячеслав Евстафьевич Барцевич – сын священника Борисоглебской церкви. Приходил он в класс, садился, поднимал меховой воротник синего драпового пальто, снимал шапку и, заложив руки в широкие рукава пальто, начинал рассказ о том или другом писателе, его творчестве. Гнусавым, будто простуженным голосом он восхищенно читал наизусть большие отрывки из литературных произведений. Уроков он не задавал, но интерес к литературе возбуждал необычайный. Мы с удовольствием посещали его уроки и непринуждённо занимались литературными темами. Вячеслав Евстафьевич был женат на первой еврейской девушке из Хиславичей, отважившейся на замужество с русским.

В те далёкие времена поступок Алточки – красивой, богатых родителей дочки – всколыхнул местечко. Камнями её не забросали, как это делалось в средневековье, но на глаза Алточка не показывалась. Только после революции мы смогли увидеть Анну Соломоновну и в поблекших чертах узреть её былую красоту. Её богатых родителей постигло разорение, которое считали наказанием за смертный грех вероотступницы. Отпрыск семьи Алточки Черняк – Эле Черняк торговал в Хиславичах не очень прибыльным делом – мороженым.

Общественная жизнь местечка тех лет как бы раздвоилась. Комсомольская организация и местечковый совет были основными факторами новой власти только в Хиславичах. Вол-исполком, милиция и суд занимались больше всего деревнями, – делами сельских советов. Взаимоотношения между комсомольской организацией и волостными работниками были не всегда дружными.

Случилось однажды, что во время драки на Мартиневском лугу кто-то забил в колокол. При этом тревожном пожарном сигнале люди повыскакивали на улицу. Собирались к месту

происшествия по направлению впереди бегущих. Не обошлось без вмешательства Моты Зайдмана – комсомольца-чоновца, который оказался на месте происшествия одним из первых. Он выстрелил в воздух. Прибежали другие комсомольцы с винтовками. Пришёл начальник милиции, недавно присланный из уезда. Драчуны разбежались, а начальник милиции пристал к Зайдману за то, что стрелял, что поднял тревогу. Зайдман окрысился и послал начальника к чёртовой матери. Начальник взялся за кобуру, но Зайдман уж вытащил из кармана револьвер. «Только достань свой наган, как собаку застрелю», – сказал он.

Вечером начальник милиции арестовал человека, который звонил в колокол. Однако массовое шествие пожарников в знак протеста вынудило начальника милиции освободить арестованного.

О народном суде Малаховском, тоже присланном из уезда, было немало разговоров. Малаховский – красивый молодой человек – отрастил большую русую бороду для солидности. Проводимые им судебные заседания по алиментным искам привлекали массу слушателей. Малаховский обставлял дело так, что к каждому не требующему доказательства делу он привлекал множество свидетелей и вынуждал каждого из них рассказывать всё, что он видел или слышал. Истицу и ответчика он подвергал унижительному опросу и требовал дачи точных и недвусмысленных показаний.

Грамотных людей в деревнях тогда почти не было. Каждый ответ участника алиментных дел вызывал смех и хохот. Малаховский не улыбался, он даже хмурился, когда слушатели не унимались. Однако задавал вопрос за вопросом, отвергал ответы «да» и «нет», требовал, грозил. И люди опускали глаза и рассказывали всё подробно, стесняясь в выражениях.

Помню, после одного такого заседания Кокотова Соня – рабочая, участница дореволюционного демократического кружка – говорила: «Этого Малаховского надо было самого судить за издевательство над женщинами».

Председателем волисполкома одно время был Чижевский, – сын хиславичского мещанина. Ещё до революции он поехал в Петербург. Многие из малоземельных хиславичских мещан посылали своих сынов в Питер на заработки. Работал Чижевский

на Путиловском заводе. Во время революции вступил в партию. Когда в Питере стало тяжело с продуктами, Егор Чижевский по слабости здоровья приехал домой к родителям на поправку. Путиловский рабочий, коммунист – чем не председатель волисполкома? И он им стал. Не знаю, как он работал, но знаю, что пил он хорошо. Он редко шёл с работы трезвым, хотя был слаб лёгкими и непрерывно мелко кашлял. Худенький, рыжий Чижевский был умным и хитрым человеком. Он знал, что хиславичские чулочницы и сапожники имеют пока некоторую силу, поэтому он иногда, когда был трезвым, заходил в комсомольский клуб, делал вид, что интересуется комсомольской жизнью, работой, рассказывал какие-нибудь солдатские анекдоты, и этого было достаточно, чтоб говорили: «Пьёт, но свой в доску».

«Свой в доску» пил и пропивал не только свой заработок, едва ли достаточный на пропитание. «Свой в доску», когда надо было послать в уездный город двух человек на политкурсы, не приходил в комсомол и не спрашивал, кого послать, а предложил двум парням из мещанских ребят воспользоваться путёвками, а парни эти обходили комсомол стороной, при том один из них был сыном богатого мещанина. По принципам того времени Чижевский мог подвергнуться строгому осуждению за такое «самоправство», но это стало известно уже после, когда про Чижевского в Хиславичах уже забыли.

Вначале нас – горстку людей, горою стоящих за советскую власть, – преобладающее большинство местечка презирало. Постепенно и в результате массовой, культурной и пропагандистской деятельности активная молодёжь приходила к нам. Прельщало и то, что допуск к нам был не общедоступен, а фильтровался.

Наше стремление было привлечь побольше молодёжи из нееврейской части населения. Вначале нам это не удавалось. Когда же власть на местах стала укрепляться, и надежда людей на скорое избавление от большевиков не осуществилась, презрение к нам сменилось страхом и порожденным им уважением.

Когда Костя Голобурдик – босячок из безземельной мещанской бедноты – однажды в саду спел ходовую в то время песенку «Скажи мне Саша, ты гордость наша, когда уйдут большевики?», Мотэ Зайдман – тоже босячок, но пристру-

ненный комсомолом, схватил песенника и на виду у всех отколотил его, приговаривая: «За твои контрреволюционные песни, гад».

С тех пор эту песню в Хиславичах больше не распевали.

Глава 11. НЕ КО ВРЕМЕНИ

Августовский день 1921-го года выдался на редкость погожим. Праздничное настроение царило в наших сердцах, а природа как бы аккомпанировала ему. Был какой-то молодёжный праздник. Комсомольцы с нетерпением ожидали наступления вечера, к которому долго готовились. Клуб был украшен лозунгами, плакатами и портретами вождей. Транспаранты из нового красного кумача возбуждали и радовали.

Торжественный вечер начался докладом секретаря комсомола Бориса Цейтлина. Борис был прислан к нам из уездного комитета комсомола в качестве штатного секретаря. Его письменное направление служило основанием для немедленной кооптации его в бюро ячейки и последующего назначения секретарём. Очередное собрание должно было одобрить назначение сверху. Новый секретарь был тощ, одержим коммунистическим идеалом, бледен до синевы, с задумчивыми агатовыми глазами. Достоинство секретаря оценивалось умением его гладко выступать.

Борис говорил вдохновенно, не заглядывал в бумажки. Слушали его внимательно и даже подражали ему в частом употреблении в конце фразы утвердительного слова «вот».

После доклада Цейтлина хор исполнил подготовленный репертуар из еврейских и русских песен. Потом декламировали, играли, веселились. Не было только танцев. Танцы как мещанское наваждение наравне с выпивкой отвергались и преследовались.

Тот августовский вечер запомнился мне надолго. После выступления хора, в котором я пел, я стоял в стороне и безучастно смотрел на играющих, как вдруг Мотке Зайдман, нахальный парень, проскочив мимо, крикнул мне: «Пойдём со мною». Догнав его на улице, я спросил: «Куда?». – «Для пользы, не прогадаешь», – ответил он.

Пройдя быстро улицу, мы очутились около высокого крыльца дома Моты Энтина. С левой стороны крыльца стоял низкий частокол, на котором чернел большой огород. «Там на огороде, – прошептал Зайдман, – растут махровые маки, нарвём два букета и раздадим девушкам».

Перемахнув через забор, Мотке исчез. Где-то за высоким домом Энтина подымалась луна.

Наше появление на вечере с красными пушистыми маками было ошеломляющим. Вокруг Мотке все будто столпились в ожидании его благоволения. «Мои» маки были не хуже Моткиных, но около меня не было шума, не было толпы.

Вдруг передо мною стала Соня, Соня Новикова. «Мне дашь цветы?» – спросила она. Я отдал ей все маки. Тут же вокруг неё образовался кружок, и она поспешно раздала цветы, так как её пригласили декламировать. Поднялась она на табуретку, резким движением вскинула голову, отчего коротко стриженные волосы взмахнулись, обнажив разруганное лицо. На ней было тёмно-бордовое платье. Большой пушистый мак она прижимала к груди.

Что-то во мне встрепенулось. Я не слышал слов декламации. Я будто впервые увидел Соню, – девушку, которую знал, которая была старшей из семи детей недавно овдовевшей семьи. Всё окружающее стало мне казаться странным, незначительным, и только одна точка привлекала моё внимание, – место, где стояла Соня, где её упрашивали декламировать ещё и ещё.

Несколько раз Соня перехватила мой пристальный взгляд, и казалось мне, что она очень серьёзно и даже сердито смотрела на меня.

Я вышел на крыльцо клуба. Лунные просветы освещали знакомые проходы улицы. И чудо какое: на крыльцо вышли Соня с подружкой. «Пойдём, проводим Риву домой», – обратилась она ко мне.

Рива жила на Третьей пролетарской улице, дворы которой примыкали к забору еврейского кладбища. Хатёнки здесь старые, кривые и низкие. Избушка Ривы среди них самая маленькая. Рива со вздохом нырнула в узенькую калитку.

Я взял Соню за руку. На улице ни души. Луна полным ликом своим озаряла наше тихое движение. Мы не шли, мы плавали,

мы как призраки витали. «Как хорошо», – промолвила Соня тихо. – «Так хорошо мне никогда не было», – ответил я и крепче сжал её руку.

Мы вышли на околицу. Волнообразно колыхалась ещё не сжатая рожь. Лунный серебристый свет наполнял душу невыносимым тяготением к ней. Долго, молча мы бродили. Иногда она вскидывала голову и пристально смотрела мне в глаза. Я останавливался, поворачивал её к себе, и так будто застывали в безмолвном проникновении друг другу в душу.

Дома в ту ночь я долго не мог уснуть. Все мелочи – от дарения ей маков до разжатия сплетённых пальцев при расставании – я перебирал в памяти множество раз, до самозабвения.

Когда утром проснулся, образ Сони был во мне, около и вокруг меня. День проходил в томительном ожидании вечера, чтоб её видеть и слышать. Началось то самое дивное, что единожды испытывают в жизни искренне, беззаветно и безмятежно.

Наши встречи продолжались до глубокой осени. Мы выныривали навстречу друг другу в тёмных закоулках, в безлюдных местах. Мы стеснялись показываться вместе на людях. Мы мечтали о будущем и строили планы: я должен был кончить школу 2-й ступени и поступить в военно-учебное заведение, она будет меня ждать, ждать, и её влажные глаза впивались в душу. Соня была активной комсомолкой, более грамотная, более воспитанная и более сдержанная, чем другие её рабочие подружки.

Однажды вечером в комсомольском клубе стало известно, что поступила путёвка на шестимесячные курсы политического просвещения в гор. Витебск, и что бюро ячейки утвердило кандидатуру Сони. Завтра Соня едет в Витебск.

Лил нудный осенний дождь. В клубе было сумрачно и скучно. За столом при свете десятилинейной керосиновой лампы сидели и обсуждали предстоящий отъезд Сони. Рекомендовали, советовали, предостерегали. О наших отношениях мало кто знал. В семнадцать лет я выглядел совсем юным, тогда как Соня моего же возраста была уже совсем сложившаяся прехорошенькая девушка.

Я уныло следил за разговорами. Соня в мою сторону не смотрела. Не хотела подавать вида, подумал я. Время тянулось,

дождь не переставал. Когда собрались к выходу домой, к Соне прилипли девушки-соседки по улице.

Соня уехала. Долго я ждал письма или привета. Знал я, что курсы в Витебске были организованы Евсекцией РКП (Российской коммунистической партии). Их цель была подготовить пропагандистов для распространения коммунистических идей среди рабочих и местечковой бедноты. Лекторами курсов были известные тогда деятели Евсекции т.т. Дунец, Абрам, Пинэс и другие.

Позже мне стало так же известно, что к Соне в Витебск ездил Эле Коган – член партии и активный участник всех комсомольских дел. Он был поклонником Сони.

Скучать мне было некогда. В школе я организовал комсомольскую ячейку. Влияние её стало резко увеличиваться. Перед ячейкой встал вопрос об овладении учкомом. Мы организовали работу по внедрению коммунистического духа среди учащихся. Танцы и хороводы уступили место лекциям, политическим судам над литературными героями, пьесам комсомольского характера и гражданской войны. Активное участие в работе школьной ячейки принимали учащиеся из деревень: Глазунов, Попков Сергей, Скугарев Иван и другие.

Несколько лет спустя Скугарев стал секретарём Хиславичского волостного комитета комсомола, а затем и уездного комитета комсомола в гор. Рославле. Тогда, кроме хиславичской ячейки комсомола и вновь созданной ячейки в школе, на селе волости была единственная ячейка в деревне Городище, где на базе конфискованной графской земли организовалась сельскохозяйственная коммуна имени Ленина.

В ячейке Ленинской коммуны состояли: братья Лавроненко (позднее автор использовал фамилию Ловрененко) – Фёдор и Пётр, братья Гершанок – Самуил и Шепа, Шабловский и Савченко. Все они учились в нашей школе, но членами школьной ячейки не состояли и в её работе не участвовали. Комсомольские дела поглощали время и отвлекали от дел сердечных.

Возвращение Сони из Витебска после окончания курсов ничего не изменило. Комсомольское бюро поручило ей политпросветработу. Встреч с ней я не добивался, и она их не искала. Иногда, случайно столкнувшись, мы обменивались приветствиями и смотрели друг другу в глаза.

Володя Бродский пришел к нам из уезда города Мстиславля босяком, без обуви. Симен Липкин – член бюро и зав. экономсектором комсомольской организации – сказал мне: «Пойдём, посмотришь – он парень хороший, но раздетый и разутый, 30 километров отмахнул, как прогулку».

Около комсомольского клуба мы увидели Бродского. Вид его был жалкий, но глядел он весело и бодро. Крупная, удлинённая голова его была покрыта солдатской хаковой фуражкой со стёганным в строчку мягким козырьком. Короткие ноги, стянутые узкими, засаленными, не по размеру солдатскими штанами сходились в коленях и лоснились крупными, толстыми ступнями. Короткая косоворотка, перехваченная ремешком, подчёркивала узкие бёдра, длинную, слегка выгнутую спину и покатые плечи. Пришёл он к нам от Мстиславского уездного комитета партии в качестве секретаря волостного комитета РПК. Чтоб придать ему надлежащий вид, позаботились Симен Липкин и я.

Вечером он сидел среди наших комсомольцев одетым в брюки по размеру и в солдатских ботинках.

Первый доклад Бродского о международном и внутреннем положении советского государства произвёл сильное впечатление. Говорил он смачно, растянуто, подчёркнуто акцентируя особо важное в докладе и соответственно жестикулируя. Когда он впервые произнёс растянуто слово «эсли» вместо если, в зале пронеслась приглушенная издёвка, но потом привыкли к этой погрешности и не стали на это обращать внимание. Доклады на политические и литературные темы создали ему авторитет, и Бродский вскоре стал неоспоримым и действенным руководителем партии и комсомола в Хиславичах.

Однажды я встретил Соню и Бродского. Он держал её об руку. Сомнения быть не могло. Совсем скоро они стали мужем и женой. Мне было грустно и смешно. Грустно от того, что красивая Соня стала женой белобрысого, мутноглазого, нескладно скроенного парня. И разве не смешно, что в 18 лет они уже женятся. Такое мне даже в голову не приходило. Впереди учёба, служба в армии. До женитьбы ли?

Глава 12. В СОПРИКОСНОВЕНИИ

Володя Бродский был первым коммунистическим руководителем в Хиславичах, подчинившим своему руководству всех партийцев и комсомольцев волости, и оказывал влияние на работу волисполкома, суда, милиции, местечкового и сельских советов.

Судья Малаховский был отозван в уезд и заменён более положительным и степенным судьёй Масловским. С Чижевским – председателем волисполкома – Бродский будто сдружился, но по мере усиления своего влияния вынудил его покинуть волисполком по состоянию здоровья.

Женитьба на Соне Новиковой составила то звено, которое объединило комсомольскую часть местечка с руководящими работниками волости. В этом свете небезынтересно осветить ряд положений, справедливо подтверждающих намеренное поведение Бродского. Много лет спустя, в беседе с приятелем о прошлом, я вспомнил Бродского, его жалкий вид при первом с ним знакомстве. Мой собеседник, спокойный и выдержанный человек, не дал мне дорисовать портрет и сказал, что в городе Мстиславле он учился на курсах по командировке хиславичского волисполкома, выданной ему Чижевским, что он знал Бродского как одного из лекторов этих курсов. Описанный мною внешний вид его казался моему другу недоразумением.

«Правда, – сказал мой приятель, – одет он был не изыскано, но в обуви и брюках по росту». – «Может быть, он обносился?» – не унимался я. – «Нет, – утверждал приятель. – Он был направлен в Хиславичи ещё до окончания мною курсов. Никакой такой фуражки со стёганым козырьком я у него не видел».

Этакая бутафория с внешним видом должна была, по видимому, подчеркнуть сугубо бедняцкое его происхождение. Мы тогда были наивными.

В этом же роде проходила недавно беседа с другим приятелем, проживающим в Ленинграде. Иосиф – так мы его назовём – был в описываемое время далёк от комсомола. Был он образован, начитан и выделялся от остальных сверстников духовным обаянием, что к нему привлекало. Ныне он член партии, награждён орденами Отечественной войны и может быть отнесён и той части евреев, о которых говорят «России верные

сыны». О Бродском он говорил, что тот был начитан, всесторонне развит, знал хорошо литературу и был превосходен в полемике, и что он, Бродский, был первым, кто заложил основу его приверженности коммунистической идее. На мой вопрос, где и как этот простой деревенский парень мог получить образование, Иосиф ответил: «Не знаю, но образование он получил». – «А его нарочито растяжимое «эсли» вместо «если?» – донимал я. – «Это в порядке подделки», – улыбнулся Иосиф.

Однажды на комсомольском собрании наступила моя очередь председательствовать. Без какого-либо намерения я открыл собрание привычными, трафаретными словами, но на еврейском языке. Таким же образом я зачитал повестку дня, хотя записана она была крупным почерком рукою Цейтлина на русском языке. Обсуждение вопросов проходило, как всегда, на еврейском языке. Только Цейтлин выступал на русском.

После собрания Цейтлин, улучив момент, спросил меня: «Ты что, хуже всех говоришь по-русски?» – «Не хуже и не лучше», – ответил я. – «Почему ты объявил открытие на еврейском языке и повестку дня тоже на еврейском зачитал?» – «Я разве что напутал?» – спросил я. – «Не в этом дело, – продолжал Цейтлин. – Мы хотим научить еврейскую молодёжь говорить и выступать по-русски».

Дальше спор наш усилился. Глаза Бориса округлились от натуги, а бледное лицо вздрагивало. «Запомни, – сказал он. – Я секретарь комсомольской ячейки, это значит, что я лучше и больше других знаю, что к чему, поэтому последнее слово за мною, в о т, понял?»

На следующий день разговор продолжался в присутствии Бродского. Бродский был сдержан. По существу вопроса он своего мнения не высказал. «Но, – сказал он, обращаясь ко мне, при этом прежняя его расплывчатая улыбка сменилась строгим выражением, – слово секретаря – веское и незыблемое. Секретарь избран собранием и утверждён вышестоящим органом. Его слово – это слово партии». – «По-твоему, – сказал я Бродскому, – секретарь это всё, остальные ничто?» – «Не мудрствуй лукаво, – ответил он мне. – Все вопросы обсуждаются, но заключительное слово остаётся за секретарём».

Через некоторое время из комсомола в партию были торжественно переданы Борис Цейтлин, Симен Липкин, Соня Нови-

кова и другие. Мне Бродский сказал, что я должен побороть в себе мелкобуржуазные тенденции.

Что же, думал я, Бродский последователен в своих поступках. Совсем недавно, ещё до женитьбы на Соне, разговор наш однажды коснулся работников укома комсомола. Я восхищённо отозвался о секретаре укома Равиче – рыжем, вихрастом и добродушном парне, но резко критиковал члена бюро укома комсомола Ицхоки за его чванство, высокомерие и обособленность. В частности, я отметил, что Ицхоки бывал часто и подолгу в Хиславичах, когда нарастал его интерес к Хаве Гуглиной – его будущей жене, но никогда он не заглядывал в нашу комсомольскую ячейку. Когда кто-то однажды предложил пригласить члена укома комсомола Ицхоки прочитать лекцию, я заметил, что Ицхоки чуждый нам человек, и его лекции нам не нужны. Тогда Бродский мне сказал, что хиславичская комсомольская организация считается лучшей по уезду, и что я достойный её комсомолец. Моё мнение об Ицхоки совпадает с мнением многих работников укома.

Что же произошло за такое короткое время? Крылатый ярлычок «подвержен мелкобуржуазным тенденциям» – не что иное, как средство взнуздания строптивых. Трагическое будущее зарождалось в недрах настоящего.

Я окончил школу 2-й ступени и поехал в город Смоленск поступать в строительный техникум. Проезд до ст. Починок «балэголами» (возчиками) тридцать километров, затем поездом до Смоленска ещё тридцать километров был не долгий, но дорогой. Пришлось мне ехать попутной подводой, направлявшейся в Смоленск за грузом. Это стоило дешевле.

Расстояние в 70-80 километров мы одолевали двое суток. Первый день мы ехали мягкой просёлочной дорогой, пролежавшей по краям лесов Черепова, Трастьянки, Зимниц, Киселёвки и Хицовки. В деревне Прудки, в стороне от ст. Починок, мы переночевали. Второй день пути продолжался по булыжникам шоссейного тракта Рославль – Смоленск. Хилая рабочая лошадинка тянула телегу с камней на камни, трясла наши души и отошавшие бока.

Большую часть пути мы шли, обивая босые ноги до жгучей боли. Два раза мы сворачивали с дороги, стреножили коня и

пускали его по полю, а сами на траве у телеги покоили натруженные ноги.

Когда до города осталось 10-15 километров, тёплый солнечный день склонялся к закату. «Ты очень спешишь в город?» – вдруг спросил возчик. – «Никто там не ждёт меня», – ответил я. – «Ну и ладно, – сказал он. – Переночуем в поле, отдохнём, и конь подкрепится, а завтра с зарёй потихоньку поедем и к утру до дела поспеем». – «Хорошо», – согласился я, и мы стали готовиться к ночи.

Вокруг расстилались убранные поля. Вдали, кое-где, низкие снопы, как согнутые бабы, словно застыли в тяжком труде. Телегу поставили на краю поляны, заросшей берёзовым кустарником.

Я быстро нарезал кучу тонких берёзовых веток и разостлал их в просторной крестьянской телеге. Возчик покрыл их армяком. Перекусив, он уместился в телеге и мгновенно заснул. Я лежал на траве, смотрел на далёкие опушки леса, спокойную, вьющуюся дорогу и тихий оранжевый закат. Мне вспомнилось стихотворение поэта Гофштейна на идыш:

«Ин винтэр фарнахтн, аф русише фелдэр,
Ву кен мэн зайн элнтэр, ву кен мэн зайн элнтэр?»

“אין וויטער פארנאכטן, אפ רוסישע פעלדער

ווי קען מען זיין עלנטער, ווי קען מען זיין עלנטער”

(На русских равнинах, в сумерки тихие,
Томление грусти быть может ли глубже?)

Когда ночная мгла опустилась на землю, я перешел в телегу и покрылся дерюгой.

Рано утром мы уже были в городе. Тарахтели трамваи, торопились пешеходы. В общежитии рабфака, недалёко от железнодорожного моста, я легко нашел нашу комсомолку Фриду Фрейдину. Её подружки по комнате были в отпуску, и она любезно встретила и приютила меня. Вскоре, после сдачи экзаменов, я был зачислен в строительный техникум и до начала учебного года отправился домой. Со станции Починок я шел пешком по мягкой дороге и с горечью вспоминал изнурительный шоссейный тракт, по которому ни ездить, ни ходить нельзя. Август того года был теплый, сухой и солнечный. Дома, го-

товясь к отъезду на учёбу, я совершал прощальные прогулки в Яленичи, на Богачонову лучку, на песчаные откусы реки Сож или на обрывистые, крутые и заросшие ежевикой её берега, в парк и сад, в Воробьёвский бор или Мартиновский луг, к липовым аллеям парка и отдельным деревьям. Я ложился на траву, прижимался лицом к жёсткой коре старых лип, я плавал, кувыркался в тёплой, мягкой воде нашей реки. Я прощался с юностью, с ясными солнечными утрами, озарявшими наши тихие улицы неизменной благодатью.

Миновал месяц, и снова шагаю по шоссе на тракту в гор. Смоленск. Нас предупредили, что техникум не обеспечивает ни общежитием, ни питанием. Об устройстве не думаю.

В губпартшколе учится моя сестра Голдэ. Зайду к ней, там увидим. Здание губпартшколы вмещало: учебные аудитории, общежитие и столовую. Голдэ находилась в большой светлой комнате. На узких железных кроватях сидели, лежали девушки.

«Скоро будем завтракать, – сказала Голдэ. – Подожди».

Мне не очень удобно сидеть рядом с Голдой и кушать вместе из одной тарелки. «Кушай, кушай, – говорила она. – Здесь все свои, и в час дня приходи обедать, ничего, обойдёмся вполне одной порцией». – «А ночевать где?» – спросил я её. – «Договорюсь с ребятами».

В одной из мужских комнат общежития проживали 10 человек. Мне дали возможность ставить на ночь три табуретки. Коротковата была кровать, но ничего.

Занятия в техникуме начинались в 5 часов после полудня и кончались в 10-11 часов вечера. Голдэ встречала меня неизменным вопросом: «Ты голоден?»

Так я прожил до первых зимних каникул. Однажды я встретил на улице Абрама Фельдмана. Дома он учился сапожному ремеслу. Здесь он хотел найти работу, квартиру. Договорились с ним пойти в горсовет. На следующий день, после того, как выстояли большую очередь, мы оказались перед молодым человеком в кофеварке, который сидел за столом. «Что вам ребята?» – спросил он. Я ему рассказал про наше с Абрамом положение.

«Не знаю, как вам помочь, но заходите, обязательно заходите. Вы комсомольцы?» – спросил он. – «Да!» – ответил я, хотя знал, что мой приятель не комсомолец. Он что-то записал себе.

Было много в техникуме необеспеченных ребят. Один – из города Белого по фамилии Лукин – посоветовал пройтись с ним по улицам в поисках работ. К моему удивлению работа нашлась быстро. Большинство домов Смоленска отапливалось дровами. Пилить, колоть и укладывать дрова – дело не сложное. Однажды мы подрядились на работу по очистке улиц от снега. Работа эта была ночная и оплачивалась хорошо. Снег мы грузили на прицепные платформы, которые доставлялись трамваями к месту, а затем сбрасывали в Днепр. Утром я приходил в общежитие и ложился спать на свободном топчане. В час дня Голдэ будила меня обедать. «Ты так похудел», – сказала она мне однажды.

Всё, что мы зарабатывали, тогда ничего почти не означало. Люди жили как бы при натуральном хозяйстве. Всё шло на обмен, «шило на мыло, платье на хлеб». Кое-где открывались частные ларьки, кафе. За французскую булочку и стакан молока надо было платить заработанное за две долгие ночи труда.

Однажды я встретил рабфаковку Фриду Фрейлину. «Как ты живёшь?» – обрадовалась она. Я ей рассказал про свои дела и выразил готовность хоть сегодня поступить в рабфак. «Что ты, что ты, – восторгалась она, – ведь на рабфак принимают только рабочих от станка, а ты уж кончил 2-ю ступень и по положению не рабочий».

Жизнь показала, что в рабфак поступали и такие, которые не были ни рабочими, ни комсомольцами, и в образовании рабфака абсолютно не нуждались. Надо было только иметь желание и умение обходить законы.

При этой неустроенной жизни не было, однако, упаднических настроений, наоборот. Мы часто ходили в кино. В центральном клубе на советской улице нас хорошо знали контролёры и после 3-го звонка пропускали нас в кинозал. Мы смотрели лучшие картины того времени: «Крест и маузер», «Дворец и крепость», «Медвежья свадьба», «Красные дьяволята», «Комекс Иванов» и другие.

Мы участвовали в массовых инсценировках, субботниках, походах. Мы видели старших товарищей-руководителей губкома и губисполкома – худых, измождённых. Нам в голову не приходило обращаться к ним по поводу своего неустройства.

Все тогда жили впроголодь, и в первую очередь – руководители. Сытно жить начинала тогда новая категория людей – «нэпманы», но мы их тогда игнорировали, они представлялись нам мелкими, шкурными элементами.

Однажды я встретился с товарищем из горсовета. «Где вы пропали? – крикнул он мне. – Почему вы не приходите?». Я ему ответил, что длинные очереди отбили у нас охоту ходить к нему. «Устроились вы?» – спросил он. Я ему рассказал про себя, но не мог сказать про Абрама Фельдмана, которого давно не видел. «Приходи ко мне завтра, и я тебе дам ордер на комнату в порядке десятипроцентной нормы», – сказал мне товарищ.

Хозяева дома, к которым я пришел с ордером, встретили меня без восторгов, но и без злобы. Позже выяснилось, что они боялись вселения какого-либо верзилы.

Комната в 6 кв. метров была отделена от кухни и от смежной спальни неплотной дощатой перегородкой. Небольшой столик стоял у окна против двери. «Нет ли у вас кровати?» – спросил я. Хозяин внёс топчан и два козла. Я был в восторге: есть наконец пристанище. У меня стало больше возможностей общаться с товарищами-земляками.

Гершанок Самуил, Израитель Иосиф учились в кооперативном техникуме, Юдзен Иосиф в лесном. В строительном техникуме курсом старше меня учился Исаак Лейкин. Я часто видел его. Мы здоровались, но не общались. Он относился ко мне, как к комсомольцу, настороженно. Вскоре я пригласил к себе в комнату Гершанка. Хозяева не только не возражали, но соорудили еще один топчан с козликами.

Наш хозяин – старый рабочий Смоленского фанерного завода – был разочарован советской властью. Своё отношение к ней он выражал колкостями или издёвкой.

«Неужели из-за комнаты вы обозлились на пролетарское государство?» – спросил однажды Гершанок. «Нет, не за комнату, – ответил хозяин, – а за то, что снова оживают бывшие богачи, а мы как влачили жалкое существование, так и дальше будем жить, а вам сладко ли в нашей комнате?».

Конец учебного года мы блаженствовали. Спали на шинелях, вытянувшись во весь рост. Всё чаще стали появляться на улицах Смоленска наши земляки. Совсем переселились сюда

семьи Новикова Фалэ, Израителя Вэле, Крутикова Сэндэра, Юдзена Фише. По делам наезжали Пейше Стиллер, Хаим Шофман, Яков Эрман и другие. Они передавали нам приветы, иногда посылки привозили.

Домой на каникулы я ехал как бывалый пассажир поездом до ст. Починок, потом на фургоне в двойной упряжке. Для этого я припасал часть заработанных денег. Дорога на Хиславичи была укатана, соломы в фургоне много. Зелень полей, свежесть придорожных деревьев и синева неба таили упоительную негу. Зачем только коней подгоняет неутомимый «балэголэ»?

Проезжаем мост через Сож. Вот и Фролово – последняя до местечка деревня. Сейчас на подъёме завиднеются почерневшие крыши. Теперь можно было бы подхлестнуть. Скорей бы увидеть мать, отца, сестёр, братьев. Милые родные лица.

В комсомольские дела я вовлёкся, будто никуда не уезжал. Мне поручали одно задание за другим. Я выпускал стенную газету, организовывал пионерский отряд, устраивал читки новой художественной революционной беллетристики: Лепешинского «На повороте», Сверчкова «На заре революции», Джона Рида «10 дней» и т.п.

Время шло быстро и увлекательно. В ячейке появились новые люди – русские, из бедных мещан – Фигловская Шура, Хилькевич Антонина, Василенков Степан. Приобщился к нам также полукрестьянин, полубатрак из деревни Мартиновки – Мазурков Лазарь.

Плоды нашей работы были налицо. Борис Цейтлин был в отпуску. Функции секретаря выполняла Соня Новикова. На заседаниях бюро я всегда присутствовал. Подчёркивалось, что в летний период надо использовать учащуюся молодёжь для усиления политико-просветительной работы среди рабочей молодёжи. Недаром же учат её за счёт государства.

Я не чувствовал такой обязанности, так как не мог себе представить пребывание в ячейке без того, чтоб не отдавать ей всё, чем располагаешь полезным для неё. Это было естественно, само собой разумеющееся.

С Соней мы разговаривали без напряжения, но только по поводу дел комсомольских. Когда же встречал её с Бродским, я делал вид, что их не замечал.

Как-то однажды мы были на спектакле в нардоме, через день проходило общее собрание комсомольцев. Председательствовал Бродский. После обсуждения первых вопросов, когда я считал, что повестка дня уже исчерпана, Бродский вдруг ставит вопрос обо мне и докладывает собранию, что моё поведение на спектакле было хулиганским, недостойным комсомольца, и выразилось оно в хамском отношении к какой-то девушке. Я был настолько ошеломлён, что не сразу придумал этому значение, но когда товарищи, бывшие со мною, могли сказать, что нет, этого не было, но промолчали, я понял, что разыгрывается подготовленная акция. Собрание проголосовало за исключение меня из комсомола. Бродский знал, что исключение это символическое, потому что я состоял на учёте в ячейке техникума, но нанесённый мне моральный удар был непоправим. Свет будто померк.

Всё правильное, чистое, святое стало ложным, грязным, лицемерным. Симен Липкин, Соня Новикова, Нихама Рисина, – все знали, что ничего такого не было, но каждый, по видимому, думал: «А может быть и было?». Ведь Бродский говорит, а Бродский-то секретарь, и голосовали за исключение. «Почему? Почему?» – задавал я себе вопрос.

До конца каникул осталось немного. Если накануне отъезд в Смоленск казался мне мрачным, то сейчас я считал минуты до отъезда. Всё стало противным.

В Смоленске меня ждало новое разочарование. Но сперва о том, какие обстоятельства скрестились при возникшем вдруг невезении. Была в Хиславичах еврейская школа, созданная на базе бывшего образцового хедера. В школе преподавали бывший ешиботник Бритч и окончившие Хиславичскую гимназию Фаня Лейкина и Цейта Левина. Кроме Бритча, ни Фаня, ни Цейта не умели по-еврейски бегло читать или писать. Бритча уволили по мотивам религиозного порядка.

В 1923 году заведующей еврейской школой назначили Броню Слуцкую. Броня пришла в Хиславичи пешком. Все это заметили. Была она в сапогах, кожаной тужурке и фуражке. Волосы коротко стриженные. Всё по моде преуспевающей тогда женской части молодёжи.

«Грамотная?» – спросили её. – «Окончила Смоленскую гимназию». И её назначили заведующей еврейской школой. Ни читать, ни писать, ни говорить по-еврейски Броня не умела.

В довершение комплектовки педперсоналом в еврейскую школу назначили Анну Соломоновну Барцевич, или, как её называли, «Выхрестку». Однажды инспектор уезда упрекнул Анну Соломоновну, что в классе плохо поставлено коммунистическое воспитание. Вспыхнув, Анна Соломоновна сказала: «Не беспокойтесь, монархистами мои ученики не будут». И после паузы добавила: «Коммунистами тоже не будут».

Когда я приехал в Смоленск, то узнал, что строительный техникум переводится в гор. Тверь (ныне Калинин). Приятели сестры Голдэ по партшколе посоветовали мне обратиться к работнику губкома партии тов. Кушельману. У него, сказали они, большая нужда в работниках. Не теряя минуты, я пошёл в обком. Выслушав меня, Кушельман стал задавать мне вопросы, и беседа наша протекала на родном языке. Он спрашивал, и я рассказывал ему о прочитанных книгах Шолома-Алейхема, Якова Абрамовича, Аша, Переца и других еврейских писателей. В это время к нему зашёл лектор партийной школы тов. Хенох. Он присел и слушал нашу беседу.

Вдруг он спросил, не учусь ли я в губпартшколе. «Нет, – ответил я, – в партшколе учиться моя сестра, которую я часто навещаю». – «Вот, – сказал Кушельман, обращаясь к Хеноху, – в хиславичской школе учительствует буржуйское отродье – Слуцкая и крещённая из богачей. Вот таких нам надо!» – крикнул он, ткнув в мою сторону тяжёлым толстым перстом.

Через час я получил деньги и отношение в Рославльский уездный отдел народного образования для направления меня в местечко Хиславичи заведующим еврейской школой. Вслед за мною в эту же школу прибыли ещё две учительницы: Красухина Лия и Фрадкова Фрида. Анну Соломоновну и Броню Слуцкую мы тут же отчислили.

Я был моложе моих коллег-преподавателей, но относились они ко мне хорошо. Я не помню более слаженной и дружной работы, какая была в то время в нашей школе.

Моё возвращение в Хиславичи в качестве заведующим еврейской школой, обусловленное назначением свыше, – евсекцией губкома – вынудило Бродского занять позицию невмешательства. Как ни в чём не бывало, я стал на учёт в комсомольскую ячейку, будто не было исключения. Бродский понял, что углубление конфликта может завершиться для него неже-

лательной концовкой. Узнали ведь, что Броня Слуцкая – дочь крупного смоленского купца, владевшего оптовыми складами. Правда, Броня пришла в губернские учреждения и во всеуслышание заявила, что она порывает всякую связь с родителями, живущими на нетрудовых доходах. Губотдел Народного образования направил её в распоряжение Хиславичского отделения народного образования.

В то время я не мог провести аналогию между Бродским и Броней. Мы верили в непогрешимость Володи. Чувство правоты придавало мне уверенность, и я поступал так, как будто не было исключения.

Однако, трещина в отношениях с товарищами по комсомолу образовалась глубокая.

Много позже, летом 1928-го года, я приехал в районный центр западной тогда области в посёлок Каспля. Гостиниц в посёлке не было, и я остановился у директора касплянкой семилетней школы – ведомства интересующих меня дел. Заведующий школой – пожилой человек – рад был общению. После дел мы бродили по тихим аллеям ухоженного парка, в котором размещалась школа. Заведующий был в прошлом учителем Смоленской гимназии. После революции ему пришлось уступить место в Смоленске учителю новой формации. Говорили о Смоленске, коснулись гор. Рославля и нового секретаря Рославля и нового секретаря рославльского укома партии Бродского Владимира. «Кстати, – сказал неожиданно зав. школой, – Бродский тоже человек новой формации, хотя семья его дворянская».

Я опешил и опрометчиво стал допытываться большего. Собеседник как бы опомнился и стал замыкаться, отклоняясь от затронутой темы. Я не проявлял настойчивости. К тому времени мне многое стало понятно. В оценке поведения человека я меньше всего руководствовался принципом его происхождения. Бродского я считал верным партийным работником. Неприязненные его отношения ко мне объяснял тенденциозностью личного порядка.

Через много лет близкий Бродскому человек подтвердил правдивость слов заведующего касплянкой школой. «Да, – сказал человек, – Бродский был сыном разорившегося мелкого дворянина».

Суть, конечно, не в этом. Бродский, безусловно, сделал всё, чтоб быть верным и полезным членом партии. Он сам не осуждал поведение и распоряжение высшего руководства и требовал такого же отношения к себе как к руководителю. Он раньше других оценил создавшуюся политическую конъюнктуру двадцатых годов и безапелляционно примкнул к господствующей партии. В этом отношении он был честнее тех многих, которые сначала отвергали революцию, презирали партию и комсомол, занимались вредными для дела революции спекуляцией, жульничеством и саботажем. Когда железные тиски государства прижали дельцов, они быстро перестроились, перекрасились и подались с фальшивыми справками на заводы и фабрики, в рабфаки и вузы, а потом к кормилице – любимой партии.

Путь Бродского был предопределён вошедшими в норму нечестивыми поступками, не получившими в своё время осуждения.

Из рославльского уездного комитета партии Бродский, как номенклатурный работник ЦК, переведен был в подмосковный шахтный бассейн и назначен секретарём кустового комитета партии. В 1937 году его постигла участь лучшей части членов коммунистической партии. Он был арестован и уничтожен. Овдовевшая, уже беспартийная его жена Соня Новикова вернулась к матери в Хиславичи с малолетним сыном Новомиром. При оккупации местечка фашистами, Соне удалось эвакуировать сына. Сама же погибла.

Глава 13. В ПОИСКАХ

Считанные дни остались до начала учебного года. В помещении общей, то бишь русской школы второй ступени проходило совещание заведующих школами волости. Я прибыл на совещание в качестве заведующего еврейской школой первой ступени.

Пожилые люди в плащах с вещмешками через плечо сидели на ученических скамейках и мостились в их узких проёмах.

Доклад представителя народного образования о новых программах школ и о методах их применения был понятен только

в первой, вступительной его части. В ней критиковались зубровка, пятибалльная система и отвлечённость преподаваемого материала от жизни, окружающей ученика. Об этом много раз говорилось не только на учительских совещаниях.

Пятибалльная система и зубровка были давно ликвидированы. Об этом позаботились ученики раньше педагогов. Когда же речь зашла о новых программах, я сосредоточил всё своё внимание и пытался вникнуть в суть сказанного, но напрасно.

Мысль, что я должен буду поделиться с коллегами поучениями совещания, из которого практически ничего не выяснил, не покидала меня до конца доклада. Однако «не боги горшки обжигают», – успокаивал я себя. Не постесняюсь поговорить с Миркиным – старым, опытным учителем, лояльно относившимся к новым порядкам.

Первый, кто выступил после доклада, говорил спокойным невозмутимым голосом, что он более двадцати лет учительствует в одном селе, и все, которые закончили его школу, стали людьми грамотными и уважаемыми в деревне. «То, о чём говорил докладчик, – продолжал выступающий, – может быть и надо применить, но, признаться, в толк не возьму, как преподавать и что преподавать».

Был этот человек высокий, с русой бородкой, рыжеватыми усами, которые он поминутно разглаживал по верхней губе большими пальцами мощной кисти руки.

Другое выступление такого же уверенного в себе учителя было более конкретным. «Новые программы ГУСа (Государственного учебного совета), – говорил он, – разделены на отдельные темы, которые разрабатываются в разрезе трех колонок – общество, труд и природа. Например, первая тема: осень, всё о природе осени, рассказы, стихотворения, экскурсии в поле, огород, лес. Участие учеников в осенних работах по уборке, заготовке, утеплению дома, школы. Подготовка общественных зданий – школ, фабрик, заводов, ссыпных пунктов, ферм, сараев к зиме, заготовка сырья, продуктов, топлива на зиму. Такие одноимённые темы разрабатываются одновременно во всех четырех классах в разных масштабах материала в зависимости от класса. Всё это более или менее понятно, со всем этим можно было согласиться, если бы были учебники, но как посту-

пить, если на один класс имеются два, три учебника разных лет? А как быть с арифметикой, к какой колонке её притачивать?» – иронически закончил выступающий. Лицо у докладчика было серым и мрачным.

В перерыве между заседаниями я спросил заведующую еврейской школой деревни Захарино – разбитную, болтливую женщину, как она намерена работать по новой программе. «Так же как и работала», – ответила она. – «У вас есть какие-нибудь еврейские учебники?» – «Нет у меня ни русских, ни еврейских учебников», – безнадежно закончила она, улыбаясь.

В тёплой комнате учительской пахло кислыми щами. За стенкой жила сторожиха-уборщица с двумя детьми. Наш педагогический совет обсуждал новые программы. Я рассказал подробно о совещании. Мы решили активно участвовать в подборке материала для проведения занятий по темам и колонкам новых программ ГУСа. Лия Красухина, – вновь прибывшая в нашу школу учительница с четырехлетним стажем, – не преминула заметить, что программа программой, а учить писать и считать – первостепенная обязанность.

Распределение классов состоялось без придирок и претензий. Мне как самому неопытному достался первый класс, Фрадковой – второй, Лейкиной Фане – третий, Красухиной Лие – четвертый. На этом же педсовете было принято решение провести общее собрание родителей до начала учебного года. Были приготовлены две круглофитильные лампы на случай, если собрание затянется. К моему удивлению, собравшихся было столько, что многим пришлось стоять. Большинство – молодые матери.

Свой доклад я начал с того, что новый учебный год ныне отличается введением новых программ для всех школ, действующих в Советском Союзе. Я кратко объяснил содержание программ и не единожды подчеркнул, что они отвечают запросам воспитания и обучения нового человека, невзирая на его национальность и происхождение.

Я назвал состав учителей, подготовленных к преподаванию на родном языке, – в отличие от прошлых лет, когда учителя не знали родного языка детей, на котором должно было проводиться ученье. Я обратился к родителям с просьбой подготовить детей к первому дню в школе. Мальчиков постричь, девочек ак-

куратно причесать, одежду подремонтировать, и прислать с ребятами все учебники, какими родители располагают. Затем я предупредил собравшихся, что все родители школьников, за исключением самых бедных, будут обложены посильной платой для ремонта крыши школьного здания. Закончив доклад, я попросил родителей высказаться по всем затронутым вопросам.

Первой выступила милостивая с тёмными весёлыми глазами многосемейная мать Круглякова Генэся. Четверо её детей были возраста начальной школы. Слова она не просила, но после, когда я закончил, сказала, будто продолжала начатый разговор: «Мы вам верим и хотим, чтоб наши дети были не хуже вас и так же грамотны как вы, что касается денег на ремонт крыши, каждый внесёт, сколько положено будет». Аплодисментами тогда не встречали и не провожали выступающих. Один за другим говорили, и отношение к нам всех без исключения было тёплым и доверительным.

Закончилось собрание неожиданным появлением уволенной учительницы Анны Соломоновны Барцевич. Она обратилась к собравшимся с вопросом, чем она не угодила, что её уволили из школы. Едва только я собрался с мыслями ей ответить, как сбоку, поведя широким плечом, к ней повернулась Ента Липкина – мать двух школьников Израила и Рувима. Глядя вниз на хрупкую Анну Соломоновну, она коротко и ясно отчеканила: «Вы от нашего народа отреклись, а теперь мы вас отвергаем».

Я знал, что Анна Соломоновна за словом в карман не полезет, но и Ента – жена Шаи-Довида – не лёгкий орешек, поэтому я поспешил разъяснить, что не мы и не родители выбирают учителей. «Нас направил сюда Рославльский уездный отдел народного образования по рекомендации Евсекции Смоленского губкома, с претензиями обратитесь к ним», – сказал я. На этом кончилось собрание родителей.

Первый день занятий в школе проходил без торжественных церемоний, цветов и беленьких фартучков. После продолжительного звонка я впервые зашёл в класс в качестве учителя. На партах, расставленных в три ряда, сидели по двое мальчики и девочки – стриженные, причёсанные – и смотрели на меня ясными любопытными глазёнками. Я знал всех детей, хотя многих из них видел впервые. Штрихами сходства с отцом, мате-

рю, сестрой или братом я легко угадывал фамилию ребёнка. Не положено учителю иметь любимчиков, но почему-то с первого знакомства с детьми отдельные ребята запечатлелись в памяти на долгие годы.

Авромэлэ Тылькин – худенький, остроносый, с чуть раскосыми глазёнками и крупными оттопыренными ушами. Он с удивительной точностью мог повторить рассказанное мною, и если он что-либо сам начнёт придумывать или повторять слышанное про зверей, животных, все дети поворачивали к нему головки и слушали его звонкое и чёткое произношение слов.

Мальчишка из деревни Мартиновки Рувим Эфроимов – плотно сбитый, веснушчатый. Когда мартиновская группа ребят шагала домой в ненастье, он первый, как вожак, прокладывал путь ребятам, поминутно оглядываясь, не отстал ли кто.

Сонечка Дымент – дочурка мельника Хаче – привлекала обаянием неопишуемой детской красоты.

Два брата Липкиных, Исроэл и Рувим. Исроэл – самый рослый, будто серьёзный, но в самом деле – инициатор всех шалостей, выходящих из рамок порядка. Младший Рувим – светлый паренёк с весёлыми озорными глазами и быстрыми, слегка согнутыми в скобку ножками. «Малую кучу» он всегда старался оседлать и криком «Ура!» завершить её распад.

Хоне Липкин – маленький, круглоголовый, молчаливый, но всегда улыбающийся. Его поступки неожиданные, сногшибательные поражали ловкостью и решительностью.

И маленький, самый маленький Гейша Аронович удивлял серьёзностью и хозяйским отношением ко всему порученному.

Я бы мог назвать ещё десяток ребят и рассказать, какими они сохранились в памяти. Дети нашей школы никогда не огорчали нас драками или непозволительным озорством. Учились ребята прилежно, и мы, учителя, всё делали, чтобы дети овладели навыками и знаниями в пределах соответствующего класса. Нагрузка детей нашей школы была значительно больше, чем в других, общих школах.

Учиться русскому языку, быть подготовленными к общей школе второй ступени так, чтоб учиться наравне и даже лучше других ребят из общих школ. Такую мы поставили перед собой задачу. Ввели мы впервые спортивные занятия в школе. В

большую перемену все ребята, кроме дежурных, выходили в широкую аллею сада, строились и маршировали как солдаты. Быстро и правильно построиться, ходить в порядке, совершать повороты на марше ныне, когда людей с самой колыбели приучают к военному делу, кажется занятием обыкновенным, но тогда это было новшеством, и дети с удовольствием предавались такому развлечению.

Другим новшеством было введение «команды» на еврейском языке. Поскольку никто из нас до сих пор не сталкивался с этим делом, мы на совещании с участием корреспондента еврейской газеты «Дэр Эмес» («Правда») – знатока еврейской литературы Лейтеса Авром-Хаима – выработали терминологию команд на еврейском языке. Трудностей это не представляло. Немного потоптались с переводом команды «Смирно». Такого подходящего слова, которое бы включило обозначения покорности, неподвижности, подтянутости и безоговорочности, нет в еврейском языке. «Ахтунг» – «внимание», не подходит. «Глайштэйн» – «прямо стоять», тоже не подходит. Остановились на слове «Штылштэйн» – «тихо стоять». Оно было короче и звучное. Ребята быстро привыкли к командам и лихо маршировали по саду.

Ещё мы развернули внешкольную работу: репетиции, спевки, декламации. Малыши не участвовали во внешкольной работе, но на уроках заучивали стихотворения и разучивали песни. Трудно, очень трудно было детям овладеть ручкой и правильно вписывать палочки, крючки в разлинованные тетради. Перелом, однако, совершается как-то сразу, неожиданно. Какой-нибудь знак, у кого-то получается нужное очертание, поощрённый малыш повторяет его, упражняется, за ним тянутся другие, и видно, как начинается общее вторжение в область писания знаков и букв.

Легче происходит освоение процесса чтения. Мы радовались каждому успеху и делились достижениями классов. Вспоминая то счастливое время общения с детьми, задаю себе вопрос, почему я не пошёл в военную школу и не осуществил свою мечту, а приобщился к самой что ни на есть мирной, гуманной профессии? Нам часто приходится слышать вопросы: «Кем бы вы хотели быть или стать?» и недвусмысленные от-

веты вроде «космонавтом», «моряком», «артистом», «хоккеистом» и т.п.

Жизнь, однако, вносит свою поправку в биографию человека. Призванный на службу в царскую армию молодой сапожник и шорник Константин Жуков не думал, что станет маршалом Советского Союза, так же как швея Людмила Зыкина не полагала, что будет знаменитой певицей. Складываются обстоятельства, при которых проявляются и совершенствуются те или другие способности.

Годы 1923-1924 характеризуются окончанием гражданской войны и возросшей симпатией народов мира к новым преобразованиям в Советской республике. Главной проблемой того времени было вывести страну из разрухи, отсталости и безграмотности. Нужны были кадры в этих областях, и сложившимися обстоятельствами я был вовлечён в культурный фронт. Воспитание детей в духе осознанного восприятия социально справедливых преобразований увлекли меня.

Первую получку, 25 рублей, я небрежно передал матери. Это произвело сильное впечатление. Дома уж давно не видели такого «крупного» поступления денег. «А я думала, – сказала мать, – что это всё твоя бесплатная работа». – «Нет, – ответил я. – Теперь я каждый месяц буду приносить по 25 рублей».

Отец, напротив, выразил сожаление, что я не пошёл учиться и не стал врачом или инженером.

«Хватит с него, – возразила мать. – Хорошо, что из Смоленска вернулся, этот город счастья нам не приносил». При этих словах она горько заплакала. В Смоленске умер старший брат Гершн в возрасте 17 лет, он был отдан на трехлетнее обучение портняжному делу в мастерскую предпринимателя Воложинского.

Моё жалование было большим подспорьем в бюджете семьи. Наша школа совершенствовалась и процветала. Из Смоленска приехали секретарь Евсекции губкома партии Кушельман и лектор губкома Хенох. Они обследовали школу, побывали на уроках и выразили полное удовлетворение. Правда, в ожидании их мы успели вырядить стены классов лучшими работами учеников: диаграммами, календарями, рисунками. На собрании еврейского населения в «новой» синагоге на Школьной улице лектор Хенох сделал доклад о международном и

внутреннем положении, а после доклада говорил Кушельман о нашей школе, что молодые учителя, то бишь мы, вдохнули свежую струю в жизнь школы и подняли её на уровень лучших школ губернии.

В порядке поощрения я был направлен в Москву на Всесоюзное совещание заведующих передовыми еврейскими школами. Из Смоленской губернии кроме меня были выделены заведующие Смоленской и Любавической школами. В Москве в здании Наркомпреса на Чистых прудах собралось человек 70 зав. евр. школ. Среди них я был самым молодым, неопытным, но единственным комсомольцем. Неудивительно, что меня ввели в президиум совещания. Газета «Дэр Эмес» широко освещала работу этого совещания. Нам показали лучшие школы Москвы, которые успешно применяли новые программы ГУСа. Мы посетили известную тогда в учительской общестственности школу педагога Шацкого. Присутствовали на уроках в кабинетах естествознания, познакомились с применением методов лабораторных работ. Газета «Дэр Эмес» выходила ежедневно, а раз в неделю – с приложением фотокорреспонденции на коричневом фоне. В очередном фотоприложении была помещена фотография президиума Всесоюзного совещания зав. евр. школ в Москве. Я не видел этого приложения в Москве, но когда вернулся домой, то услышал, какой бум поднял по этому поводу наш хиславчский корреспондент газеты «Дэр Эмес» А. Х. Лейтес. Он носился с этим фотоприложением, показывал каждому встречному: вот, мол, какой наш земляк.

А земляк-то был поощрён не за совершённые благодеяния, а в надежде на будущую его полезную деятельность.

Впрочем, такая деятельность в будущем была отвергнута. Еврейские школы были ликвидированы Сталиным в 1936-м году, а через 6 лет Гитлер довершил проблему.

Глава 14. ГИРШЛ ЧЕРНЯК

Моё поколение вступило в жизнь в начале 20 века. Наше сознание формировалось в событиях становления Советского государства. Ещё задолго до 70-х годов нас тревожил вопрос о правде и справедливости.

«Наша правда несправедлива для других»,– говорили одни. «Где совершается несправедливость, там нет правды»,– отвечали другие. Кровавые события этих лет подводились в основу трактовок тех и других.

«Уничтожить врага раньше, чем он уничтожит тебя», – не унимались радикалы. «Докажи прежде, что он враг», – возражали умеренные.

Такие споры, надо полагать, возникали и раньше, но благо-разумие и цивилизация завершили споры такого порядка введе-нием правовых норм, обусловленных законодательством. В наше время такие нормы были попораны, а законодательство потворствовало беззаконию. В таких условиях возникали и множились функционеры, которые рьяно и бездумно помога-ли произволу и подсовывали ему невинных жертв. Функцио-неров не нанимали. Их вовлекали, дурманили ложной пропа-гандой, и они становились безвольными помощниками чёрных дел. Не стать ими уж нельзя было. Их могли лишить работы и, хуже того, причислить к разряду неблагонадёжных, что могло повлечь более тяжёлые последствия.

Такими общими рассуждениями хочу ограничить вступле-ние к главе о жизни и деятельности председателя Хиславич-ского поселкового совета за долгий период времени до и после войны 1941-1945 годов. Речь пойдёт о Гирше Черняке. Черняк родился в Хиславичах в 1893 году. Его родители Самуил и Пе-ша жили на Коноплянниках. После революции их переимено-вали в Пролетарские: 1-я, 2-я, и 3-я Пролетарская. Третья при-мыкала двориками и огородами к бревенчатому забору еврей-ского угрюмого кладбища. На Коноплянниках, то бишь на Про-летарских улицах не было ни одного зажиточного человека.

Вся отборная хиславичская гольтьба, вся нищенская ме-стечковая накипь как бы нарочно по чьему-то приказу собрана была в этих трёх грязных и заболоченных улицах. «Он из Ко-ноплянников» звучало как презрение, как не стоящий внима-ния. Жили там сапожники и торгоши, чулочницы и тележники, балэгулы и прочий люд.

Семья Черняк жила на Второй Пролетарской улице. Этим всё сказано. У Самуила была лошадь, некованая телега, пять сыновей и две дочери. Старший сын Хаим был столяром, Айзик

разъезжал с отцом по деревням как скупщик, Гирш работал пекарем, Фише посадчиком, Тайбл имела чулочную машину. Кто они были – кустари, рабочие или торговцы – судите сами, но одно несомненно, что были они безнадежными бедняками.

В 1913-м году Гиршл был призван в армию. Участвовал в войне 1914 года. Попал в плен к австрийцам. Из плена вернулся домой в Хиславичи в самые беспросветные дни разрухи. В то время его можно было видеть в прохудившейся шинели, быстро и сутуло шагавшим по улице. В армии и плену он повысил свою квалификацию пекаря, но теперь в Хиславичах не только пекарен не было, но редко кто из хозяек пекла хлеб, в частности, в Коноплянниках.

Лично я узнал его ближе, когда однажды нас, меня и его, назначили в ночной караул по пресечению попыток вывоза продуктов из Хиславичей.

Мы стояли на выезде на Смоленскую дорогу и менялись поочередно через каждые два часа.

Обогрелись и отдыхали мы в доме семьи Лейб-Айзе Попок. Утром мы покидали пост и уходили в клуб. Он был молчалив, деловит и ни по какому поводу не выражал своего мнения. Я был к нему равнодушен уж по тому лишь, что он был братом Фишке-злобного, – бессовестного озорника, о котором говорили, что только на Коноплянниках и только в такой семье как у Самуила мог вырасти такой «мамзер» (байструк), как Фишке.

В комсомольском клубе Гиршл Черняк стал появляться всё чаще и чаще. Вскоре он стал его постоянным и признанным посетителем, что означало его фактическое вступление в комсомол или партию, независимо от того, когда и кем он был принят и оформлен. Первая его работа была в потребкооперации. Выпекал хлеб для столовой, выполнял другие работы. Был исполнительен и настойчив. Избирался в правление потребкооперации или потребсоюза.

Тем временем местечковый совет переживал периоды взлёта и потухания своего значения и функционирования. Так, при первом председателе Льве Израителе местечко бурлило переименованием улиц и осушением болот, при Фрумкине Владимире Самойловиче – составлением списков и взиманием яиц и других продуктов от населения в порядке продразвёрстки. За-

тем стала усиливаться работа ВИКа (Волостного исполнительного комитета), и третий председатель Роцин Ульянов выполнял инструкции входящих бумаг, подшивал их и регистрировал бумаги исходящие.

Ривкин Иосиф-Эле был председателем местечкового совета в период, когда трещины разрухи стали смазываться раствором новой экономической политики. Ожили мешочники, перекупщики, – все те, что рвали паутину нужды.

Выдача справок и удостоверений личности рвущимся в большой мир заполняла рабочий день Иосифа. Мотэ Басин был председателем местечкового совета в период, когда народ пожинал плоды НЭПа.

Люди работали, наедались и веселились до забвения. Днём в Сожу, а вечером в парке бурлило и шумело. Басин хвастался, что до обеда он лежит на председательском столе и плюёт в потолок, после обеда делает то же самое его секретарь Черняк Мендл, а он, Басин, уходит купаться.

Людам до совета не было дела – так же, как совету до людей. Каждый жил как мог по делам и по способностям. Торговали Пейше Стиллер, Айзик Черняк, Эстэр Погост и Брайнэ Хатуль.

Первый сорил небрежно деньгами, второй скромно концы с концами сводил, а последние ходили голодными и босыми. То же среди ремесленников, кустарили Моисей Дыськин и Мунехайм Аснин, Мейше Басс и Довид Машин – «Дрибенэр» по прозвищу. Одни зарабатывали на жизнь, другие на скудное питание. Среди массы чулочниц в одних и тех же мастерских одни зарабатывали лучше, другие хуже. Рабочие Афроим Галутин, Арэ Стиллер и Симен Липкин работали по найму у хозяев Хавэ Лейтис и Моше Горчаникова. Каждый наймит жил лучше и привольнее его нанимателя – хозяина, у которого была на иждивении семья. Во всяком случае, не было никакой борьбы, тем более классовой. Каждый работал, как хотел и мог по способностям, и получал по труду. Работа служащего в новых советских учреждениях считалась менее почётной и низко оплачивалась.

Но вот подул другой ветер, и большой корабль понёсся с индустриальным креном. Потребовалось много средств, дешёвой рабочей силы, нормированное питание и безропотный народ. Надо было закрутить гайки, и придумали обострение

классовой борьбы в период строительства коммунизма. Теперь плевать в потолок непозволительно будет. Надо закрутить гайку так, чтоб не охнуть и не вздохнуть. Для этого требуются исполнительные крутые люди. Ставка в Хиславичах была сделана на Гиршела Черняка.

Много времени был он председателем Хиславичского поселкового совета. Он давал списки людей политически неблагонадёжных, он возглавлял комиссии по раскулачиванию, с его благословения на стройки в качестве бесплатной рабочей силы уходили горе мыкать Герце Бахрех, Исаак Драгилев, Авром Драгилев, Симен Иоффе, Гирш Игудин, Борис Писман, Хаим Романовский, Файвель Сулькин, Лев Цыпин, братья и сестра Самолюбовы, Болотин из Мартиновки, из мещан Качер и Роцин Ульянов (тот Роцин, который был председателем поселкового совета, он не хотел идти в колхоз) и много, много других. Многие из них остались в неведомых местах, зарытыми с биркой на пальце ноги.

Он был, несомненно, внештатным агентом. Его боялись, его не любили.

В семье его не любили за инициативу и активность в проведении чисток. В местечке его считали злобным, безжалостным отпрыском из Коноплянников. Отец мне однажды говорил, что доброе имя нашей семьи потускнело с тех пор, как Гиршл Черняк стал мужем нашей Леи (Лизы).

В связи с этим небезынтересен такой случай.

Однажды в Москве в районе Останкина моя старшая сестра Соня увидела в троллейбусе Хану Галутину из разветвлённой семьи Попок. Соня обрадовалась землячке. Произошёл сердечный обмен любезностями. Хана поведала Соне о постигшем её горе, что умер её муж Мотэ. При этом она тихо и сдержанно заплакала. «Как так? – сочувственно взмолилась Соня. – Такой сильный и здоровый мужчина, что с ним случилось?». «Сердце, – сказала Ханэ. – Скоропостижно».

Через некоторое время в троллейбусе по этому же направлению Соня увидела Мотэ Галутину. Ошибки быть не могло. Мотэ был высок, широкоплеч, с характерным лицом семьи смуглолицых Галутиных. Поняла Соня. Галутины числились богачами в Хиславичах. Родственников Черняка следует остерегаться. Однако у Черняка были свои принципы. «Бывшие» (с

точки зрения Черняка), если они уезжали из Хиславичей, становились для него безразличными. Он был отлично информирован, кто куда уезжал и где кто находился, но он их не касался. Другое дело, если по линии поселкового совета поступал на кого-либо запрос. Сведения в таком случае давались исчерпывающие. Характерен такой случай. К Авром-Хаиму Лейтесу – корреспонденту еврейской газеты, который имел обширную переписку с земляками, – обратился однажды бывший хиславичанин – некий Ланин Лозер – с просьбой подтвердить его социальное положение кустика-ремесленника на родине. Лейтес Авром-Хаим подтвердил, но Черняк составил справку в другом свете. В ней значилось, что Ланин имел кустарную мастерскую по выделке пергамента для религиозного культа, хотя пергамент приобретался и для барабанов и бубен. Такая справка вряд ли пригодилась Ланину. Таков был Черняк.

К 50-летию Советской власти в районной хиславичской газете была статья Гальмуева Дмитрия – секретаря Хиславичского райкома тридцатых годов. В статье Черняк характеризуется, как один из лучших членов хиславичской партийной организации.

Чтоб иметь представление о Гальмуеве, достаточно воспроизвести короткий его разговор по телефону с уполномоченным ГПУ по Хиславичскому району: «Понимаешь ли, в деревне (имярек) люди о колхозах и слышать не хотят, надо бы подхлестнуть, кровинки пустить». Время было вечернее, работники давно разошлись, и Гальмуев поговорил по душам. Вот кто с восторгом отозвался о Черняке через многие годы.

При Черняке был организован хиславичский колхоз «Большевик». Русское население Хиславичей, оно же земледельческая беднота, настроено было против советской власти и до боли не воспринимало колхоз. Однако в колхоз пошло. Больше того, как мне писала сестра Лиза – жена Черняка, «мещане» ходили на демонстрацию и праздник Октября. Мужчины были одеты по-праздничному, женщины кутали лица в шерстяных праздничных платках. Были и смех, и горе. Впервые за советскую власть Черняк принудил их к участию в демонстрации. «Душа из них вон, – сказал он. – Я им покажу, как надо свободу любить».

Судьба «мещан» Ульяна Рошина и Качера была им строгим предупреждением.

До самой войны Черняк был председателем поселкового совета и членом правления колхоза.

В первые дни войны он ушёл на фронт. Семья его – жена Лиза и дети Володя, Геннадий и Люба – эвакуировались при содействии их соседа, блаженной памяти, Бориса Самойловича Тиохина. За несколько дней до вступления немцев в Хиславичи Борис достал коня и телегу в хозяйствах разбежавшихся начальников, отвёз свою и семью Черняка в Стодолище и усадил их в последний эвакуоэшелон. При выезде их из местечка люди кричали им в след: «Вот и на вас пришла беда, напились нашей крови, теперь и вашей попьют, гады проклятые».

Эвакуированные выжили. Проклинавшие их погибли. Вернулся домой Черняк после войны при первой демобилизации старших возрастов. В Хиславичах находились возвратившиеся уже из эвакуации, в том числе семья Черняка. Все они в голоде и холоде горевали над руинами родного городка. Сорок семь семей ютились в двух полуразрушенных домиках. Работы не было, не было чего варить и где варить. В походном мешочке Черняка не было ничего, что могло бы порадовать жену или детей.

Снова стал Черняк председателем поселкового совета. Стал понемногу налаживать жизнь в посёлке и дома.

Многие из «мещан» местечка, отмобилизованные в начале войны, не успели влиться в армию и оказались в окружении в районе Починок-Энгельгартовское. Вернулись они домой в Хиславичи. Колхоз продолжал функционировать. Колхозные лошади получили клички по прозвищу трагически погибших евреев: «Талалэм», «Ладный», «Курорез» и т. п.

Многие колхозники из бывшей бедноты служили полициями: братья Подмастерьевы, Клинцовские и другие. Когда вернулась Советская Армия, оказавшиеся в Хиславичах военнопленные были без разбора мобилизованы и в первом бою под Горками почти все перебиты.

Хиславичи после войны представляли пустырь, который просматривался насквозь. Больше половины дворов сгорело, а большие здания бывших синагог, где размещалась артель «Стандарт», Кирпичный квадрат торговых рядов в центре, Дом культуры и другие большие здания – полностью уничтожены. Говорили, что в их поджоге повинны были отступившие в по-

следний день хиславичские активисты, в том числе ныне проживающий в Челябинске Илья Пестун, который отрицает своё участие в поджоге местечка.

Еврейское старое кладбище было разрушено. Высокого бревенчатого забора вокруг него как не бывало. Большое количество мраморных и гранитных памятников лежало у домов как подмостки. Ими же были выложены стенки ям общественных уборных надписями к стороне – для обозрения. Общая могила погибших евреев была беспризорна. Дважды обносили холм деревянной изгородкой, но к следующему дню изгородь исчезала. По улицам мальчишки кричали: «Недобитки, гармидоры, понаехали!».

«Ну, председатель, – спросил я Черняка в 1947 году, когда приехал на родину, к сестре, – когда будет порядок на нашей земле?». – «Обожди, – ответил он. – Дай срок, пока ещё рано».

Так и не наступило срока до самой его смерти в 1960 году 27 февраля. Умер он в хиславичской больнице после операции аппендицита.

О похоронах его писал мне А. Х. Лейтес 10 марта 1960 года. «Принимая во внимание все его заслуги перед партией и правительством, парторганизация решила похоронить его на русском кладбище. Жена его Лиза отвергла это решение. «Он будет похоронен там, где покоятся мои родители и все наши родные», – говорила она. Володя и Геннадий – сыновья, прибывшие на похороны, – соблюдали нейтралитет. Двоюродный брат Черняка из Смоленска Хаим Черняк был на стороне Лизы.

После двух дней споров его похоронили на разрушенном еврейском кладбище.

В порядке мести за непокорность не возложили венки, не произносили речи, и в местной газете не было некролога. Однако оркестр, который прибыл из Починка (ближайшей станции), в порядке договоренности с поселковым советом свою миссию выполнил, за что получил 500 рублей. На следующий день после похорон родственники разъехались, а Гиршела Черняка как будто и на свете не было.

Лиза мне потом говорила, что Бердников Михаил – бывший рабочий парень, сапожник, гармонист, ныне работник райпо-

требсоюза и какой-то «деятель» в религиозной общине – сказал, что если Черняка похоронят на русском кладбище, его ночью выкопают и бросят собакам на съеденье.

Справедливости ради хочу добавить, что Черняк как муж и отец был безупречным. Он не способен был ловчить, изворачиваться, добывать, вымогать. Жалованье своё он полностью отдавал семье. На одном только жаловании жить было трудно, поэтому нелегко приходилось семье сводить концы с концами.

Умерла Лиза в гор. Перми у сына Володи. Володя – подполковник ВВС, Геннадий – директор школы, Люба получила высшее педагогическое образование. Дети добрые, справедливые и могут быть причислены к лучшей части нашего одержимого дурью общества.

Глава 15. ПО ДОРОГАМ ПРОИЗВОЛА

Осень 1935 года. Отменены карточки на хлеб. Теперь он стал дороже, но его можно приобрести без толкотни, без душных и нудных очередей. Голодный червячок не будет отныне подтачивать нутро и психику человека. Серые лица повеселели. Добрее стали относиться друг к другу.

Добрее, если бы не отвратительные голубые фуражки с малиновыми околышками. Они на каждом шагу. Появление их во дворе или около дома вызывало настороженность и страх.

Однажды после работы, когда я подходил к нашему дому, я заметил странное поведение соседей. Одни еле уловимым кивком головы здоровались и сочувственно смотрели на меня, другие, наоборот, не здоровались, будто не замечали меня, а потом оборачивались и смотрели в спину. Странно было. Я вошёл в дом. Семьи дома не было.

Стук в дверь. Входит сосед. Чёрные глаза на исхудавшем бледном лице удивлённо блестят. «К тебе приходили», – взволнованно произнёс он. – «Кто?» – спросил я. – «Фуражка», – ответил он. – «Что он спрашивал?» – «Когда ты будешь дома».

Я лежал на кушетке в ожидании непрошеного гостя. Наступившую дремоту прервал сильный нетерпеливый стук. В тёмный коридор вошёл человек в шинели и малиново-голубой

фуражке. Голос показался мне знакомым. «Янкелэ! – вскрикнул я, увидев военного при свете. – Янкелэ».

Мы долго стояли обнявшись. Яков Кругляков, или как его называли в местечке «Янкелэ-карманник», был добрым, весёлым и смышленным парнем. В чужие карманы он никогда не заглядывал. Он и своих не имел, а ходил в вечно протёртых брючёнках из чёртовой кожи. Прозвищем «карманник» он, по-видимому, был наделён за ловкость, хитрость и смелость. Этими качествами Янкелэ обладал. Он легко взбирался на высокий гладкий столб, на вершине которого вращался железный ободок, и цеплял к нему верёвки для качелей. На узеньких рыбацких лодочках-душегубках он выделывал всякие трюки, он пробирался без билета на любой платный спектакль, концерт или кино. Мне нравился этот парень, я ценил его постоянное общение с природой, его незлобивое баловство и нарочито смешное балагурство.

Последняя наша встреча была в Москве в 1928 году, когда Янкелэ уезжал в Биробиджан. Наши пути тогда расходились. Мы с грустью вспоминали светлое прошлое и вглядывались в мрак будущего.

Теперь стоял он около меня – высокий крепыш, косая сажень в плечах, и по-детски мило, как раньше, улыбался. «Янкелэ, Янкелэ, где ты, что ты, какими судьбами?» – «Из Биробиджана сбежал, – сказал Яков. – Все наши сбежали. Приехал домой, а дома нищета, вспоминать не хочется. Подоспел призыв. Служил в армии, был старшиной. При демобилизации набирали службистов в органы. С тех пор работаю в Казани, в НКВД». – «Эта работа тебя устраивает?» – спросил я. – «Паёк хороший, жалованье – не меньше, чем на заводе, а брехни меньше. Весело живётся, когда работа спорится», – съязвил он. – «Смотри, поосторожнее с репликами», – усмехнулся я. – «Да браток, поосторожнее, время тяжёлое».

К вокзалу мы шли пешком. Колонны арестантов в оцеплении конвоиров и собак попадались нам навстречу. Я замедлял ход и вглядывался в ряды понурых людей. «Не обращай внимания, – подталкивал он меня, – зафиксируют». В этой гимназии дело тонко поставлено, кроме сотрудников в фуражках имеется армия без фуражек, которая всё видит и всё замечает.

У касс томила толпа людей. Чёрные изнурённые лица сидели, стояли, переминались с ноги на ногу. Яблоку пасть негде было.

В одном зале за толстыми стёклами дверей сидели люди у столиков. Они ели и пили. Человек у входа пропускал людей по документам. «Пойдём», – кивнул мне Яков и направился к дверям. Я последовал за ним. «Ваши документы», – пробормотал привратник. Янкелэ резко рванул на себя массивную дверь и ею прижал привратника к стене. «Проходите», – сказал он мне. Я прошёл и сел за свободный столик.

Янкелэ – высокий, мощный, опоясанный вдоль и поперёк ремнями, – не спеша важно подошёл ко мне и сел. «Вот так надо делать, – сказал он. – Видел, как я холуя прижал?». И опять, как раньше, мило улыбнулся.

Лето 1936 года стояло жаркое и сухое, тем тяжелее было смотреть на длинные и широкие колонны заключённых. Каждый день в гору, где за «малаховскими воротами» находилась тюрьма, тяжело шагали измученные люди, в чунях, лаптях, галошах, привязанных верёвками, а иные и босиком. У каждого за спиной или через плечо свой арестантский скарб в мешках или сундучках.

Потные, грязные, обмотанные тряпками и ветошью, люди казались сборищем несчастных нищенских существ. Однажды в жаркий июньский день я обогнал дурной запах плетущейся вдоль улицы колонны заключённых, останавливался у каждого киоска, пил газированную воду и поминутно обтирал шею у расстёгнутого воротничка белой рубашки. Мозг терзала мысль: неужели так можно жить: без солнца, без света, без воды, без семьи, без того, что составляет жизнь человека?

Слухи об арестах в последние годы и месяцы зловеще распространялись.

Потом стали воплощаться в реальное. Уже известны были фамилии некоторых арестованных: Корхин, Абкин, Титов, Личкин, Елисеев и другие. Про одних говорили, что состояли в партии, другие, наоборот, были беспартийными. Одних будто забирали по наговору, других – просто по набору.

О Елисееве я знал больше. Он был женат на Люсе – приятельнице моей жены Александры Иосифовны. Люся и Саша

работали в библиотеке на Рачевке. Саша говорила, что Елисев умный, развитый и острый на язык человек. Я его не знал, но сделал скоропалительный вывод «за язык».

В Смоленске я поселился недавно. Мало кого знал и ни с кем не общался. Смоленск я не любил. Он был источником моих разочарований и невезений.

Предчувствие и на этот раз меня не обмануло. В ночь на 6 августа за мною пришли. Под утро я склонился над кроватками моих маленьких дочурок и, пронизанный горем, вышел из дома в сопровождении двух: одного с фуражкой, другого в штатском.

В одиночной камере «Смоленской американки» (полит. изолятор) я застал пожилого человека. Он сидел на железной кровати. В камере было темно. Маленькое решётчатое окошечко заделано снаружи кососрезанным ящиком («намордником»). Дневной свет проникал в камеру через узкую полоску между верхними гранями «намордника» и окошечка.

«Садитесь», – сказал мне человек и подвинулся к краю кровати. Стоя, я прислонился к стене. Два дня я не касался пищи. Это не было протестом или голодовкой, нет, просто не хотелось кушать, не хотелось жить. Я не в силах был унять взъерошенные чувства.

К концу дня в камеру внесли топчан и два козлика. Листвин, так звали человека по камере, поставил моё ложе к свободной стене. «Успокойтесь, – сказал он мне, – полежите». Впервые я подумал об этом человеке, тихом и спокойном.

На третий день я узнал историю Листвина.

Лет двенадцать назад в посёлок Людиново приезжал Троцкий. Новому барину вздумалось побаловаться охотой. Вновь испеченные губернские подхалимы из Смоленска порекомендовали ему людиновские леса и надёжных помощников из числа проверенных коммунистов Людиновского завода. Листвин был в числе 12, выделенных для этой затеи. Теперь всех их арестовали и обвиняют в троцкизме.

На пятый день меня повели к следователю. Моё отношение к оппозиции 1927-х – 1929-х годов ему было известно, и я его не отрицал. Суть следствия заключалась, главным образом, в выяснении симпатий ко мне отдельных лиц, в частности, Стиллера Якова Романовича.

Стиллер Яков – мой близкий товарищ по Заводской улице в Хиславичах – работал заведующим орготделом Смоленского облпромсовета. Он принял меня на работу в качестве инспектора по подготовке кадров и, что весьма важно, выделил мне квартиру для жилья. Яков с женой Ривой и сыном Маем занимали небольшую светлую комнату в новом доме облпромсовета. Рива – наша хиславичская непримиримая комсомолка – приветливо меня встречала, когда изредка навещал их. Мы непринуждённо обсуждали события. Иногда с оглядкой высказывали разочарования. Яков был справедлив, критичен, однако на собраниях, совещаниях и конференциях выступал горячо, безапелляционно, неподдельно верным проводником линии партии.

Следователь Эльман навязывал мне дружбу и сочувствие Якова. Я, напротив, упрекал Стиллера в эгоистическом отношении к подчинённым, в настойчивом проведении своих принципов. Свои показания я заканчивал неизменными словами: «Об этом человеке я и говорить не хочу, что он, что Борисов – одного поля ягоды» (Борисов был начальником спецотдела облпромсовета).

Позже в пересылке я встретился ещё с одним работником облпромсовета Цырлиным. Его взяли несколько позже меня. Тот же следователь Эльман настаивал на признании Цырлиным связи Стиллера со мною. Цырлин, по его словам, доказывал противоположное, – моё негативное отношение к Стиллеру, что соответствовало моим показаниям. Убедительным доказательством правдивости наших показаний было рассеяние грозы, нависшей над головой Якова и его семьи.

Одно неосторожное слово моё или Цырлина могло его погубить. При мне в смоленской тюрьме имел место случай иного порядка. Один из смоленской сапожной артели «Труд» был обвинён по доносу. Фамилию доносчика следователь назвал. Придя в камеру, допрошенный, в свою очередь, донёс на обидчика и выставил свидетеля. Через несколько дней оба – доносчик и свидетель – были уже в тюрьме.

О тюрьмах тех дней писать ни к чему. Это сделал в обвинительном трактате «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын. Повальный тот мор для народов России продолжался более тридцати лет. Солженицын оказался в третьем круге того ада. К тому времени

через его губительные коридоры прошли миллионы горемык и, как ни странно, это стало делом обычным, привычным.

Мы, набор довоенных тридцатых годов, оказавшись во втором круге, полагали, что нам просто в жизни не повезло. Все, что мы видели, испытали и переживали не поддавалось здравому смыслу, и выражалось оно в простых лагерных поговорах: «За что боролись – на то и напоролись», «Кто не был – будет, а кто будет – не забудет». Люди наборов наших лет были в несравнимо лучшем положении, чем последующие поколения лагерников.

Через месяц мне, как и многим другим, объявили постановление особого совещания, которое гласило: «За контрреволюционную троцкистскую деятельность пять лет заключения с отбыванием срока в дальних лагерях особого назначения». Все осуждённые по этой формулировке назывались троцкистами или КРТД.

Попав на конвейер, я очутился в камере осуждённых, где встретил сослуживца по облпромсовету Цырлина, нашего хиславичанина Лаповка Моисея, а позже на пересылке – многих других смолян.

Пересылка представляла большую стодолу с грязным дощатым полом, прозрачными стенами и низким потолком. Люди стояли кучами. Не только лежать, но и сидеть негде было. Я обратил внимание на одного молодого человека в драповом пальто, кепке, с детско-круглым и очень мрачным и унылым лицом. Он сидел, прижатый соседями к стене, и держал в руках мешочек. Это был директор смоленской швейной фабрики им. Румянцева Хазанов Генрих. Недалеко от него, тоже с передачей в руках, сидел румяный, средних лет прокурор из Смоленска Титов. Сидячие места они приобрели за угощение из полученных недавно передач.

Пять дней мы находились в вонючей яме, названной пересылкой. Потом нас, 31 человека КРТД (контрреволюционных троцкистских деятелей), погрузили в бортовую машину и в сопровождении двух аттестованных работников НКВД повезли к ж/дорожной станции.

Рядом со мною на корточках сидел наш хиславичанин Лаповок Моисей. «Смоленск, – вдруг крикнул он громко, – сгорел

бы ты дотла!». «Разговорчики!» – раздался окрик старшего сопровождающего.

Проехали мимо собора, а там во дворе дом, где я жил, где теперь мои девочки, где была моя семья.

Выгрузили нас где-то на линиях станции и повели к арестантскому вагону. Недалеко от него нас поджидали жёны. Мужчин не было.

Я взглянул на свою Сашу с широко открытыми серыми глазами и почувствовал раздирающую душу отчуждённость. Понутив голову, я дождался выклика и вскочил в вагон. За решётчатой дверью кабины я прильнул к стенке вагона.

Одиннадцать суток тянули нас до Архангельска. Рацион этих дней состоял из селёдки утром и в обед, кипятка с куском сахара на ужин. Купе вмещало 15 человек: 8 на нижних двух скамейках, 4 на втором ярусе и 3 на площадке третьего яруса. Вход на вторую и третью площадки совершался через небольшие люки. Внизу только сидели, на второй и третьей только лежали. Когда прибыли в Архангельск, каждый, кто прыгивал из вагона, падал на колени. Ни один не мог устоять на ногах.

Сентябрьским ранним утром мы шли по широким дощатым тротуарам Архангельска. Улицы ещё спали. Доски под нами скрипели и шаги гулко отдавались в прозрачном холодном воздухе.

Пересыльный пункт. У входа нас выкликают. Происходит передача от конвоя к пересылке. Вошли в большой двор, окружённый забором и вышками. Вливаемся в разношёрстную толпу людей. Несмотря на ранний час, многие не спят, ходят, рыщут, беседуют. Глубже во дворе раскинуты в беспорядке небольшие палатки. Юркий, подвижный Белоусов из нашего этапа успел разведать и обстоятельно рассказал нам, что в единственном бараке народу тьма, а вони – ещё больше. Едва он переступил порог, как от зловония перехватило дыхание. «В палатках, – сказал он, – лучше. В крайней большой палатке места много, и воздух там чище». Мы направились туда. Я взобрался на верхние нары и растянулся во весь рост. Рядом лёг Моисей Лаповок.

Солнце ещё не согрело остывшую за ночь землю. В палатке было свежо и прохладно. Моисей принёс завтрак: два куска

ошпаренной кипятком трески и две пайки хлеба. Перекусив, мы уснули.

Сон. Милее сна не было в годы неволи. Во сне я был на воле среди родных, детей. Во сне я переживал сладостные минуты свиданий, горечь размолвок, во сне я видел законченные драмы, трагедии, ко сну я шёл, как к целебному источнику. Я мигом засыпал, и муки, испытанные мерзкими днями, таяли в сонмах блаженных снов.

Две палатки на Архангельской пересылке занимали евангелисты. Большинство их были из города Бежицы. Вечерами они собирались, зажигали свечу в палатке и пели блаженные божественные песни. Были среди них и женщины. Я заходил к ним в палатку. Мне уступали место, и я подолгу прислушивался к их пению. Они считали меня заблудшей душой, попавшей на верный след приобщения к ним. Мне казалось, что среди нашей толпы, попавшей в бедственную суматоху, уголок их песнопения является безмятежной, спокойной обителью.

Снова построение, переключка и этап в дальний путь морем. По шесть человек в ряд с сундучками, мешочками, растянувшись по длинным улицам Архангельска, шагаем к морю. На причале морской пароход «Ямал». Снова переключка, и длинная колонна в 500 человек поглощается кораблём.

Занимаю место во внутреннем помещении. Долгий, тревожный гудок, и прощай всё, что было так близко.

Душно. Перебираюсь на палубу. Около большой широченой трубы парохода теплее. Нас наверху собралось немного. Там, где берег, меркнут удаляющиеся светящиеся точки.

Впереди небо озарилось мерцанием звёзд. Мрак и пустота. Кто-то бормочет: «Входим в Онежскую губу, обогнём Белое и через Баренцево – в неизведанный край». Это бормотание отвлекает от созерцания невообразимого простора, в котором обитатели корабля кажутся моллюсками на покачивающейся скорлупе. И снова тот же голос: «Кому это надо?» – «Да замолчите, – произнёс кто-то из темноты. – Замолчите и созерцайте». – «Вы поэт или философ?» – сыронизировал голос.

Утром мы уже болтались в бурных водах Баренцева моря. Из внутренних помещений выскакивали наверх бледные встревоженные люди. Настигнутые качкой, они кидались из сторо-

ны в сторону и тут же извергали блевотину. Через час вся палуба покрылась отвратительной слизью. Люди в ней качались, пачкались и стонали.

Несколько раз я впадал в смятение, когда ноги подгибались, и тошнота подступала к горлу. Добравшись до скамьи, я прижимаюсь к ней животом.

На третий день качка улеглась. С палубы смыли нечисть, и бледные серые лица просветлели. Много ли человеку надо?

К Нарьян-Мару подплываем утром. На пересылке в Нарьян-Маре один большой деревянный барак с двухъярусными нарами. Стены сплошь измазаны вдоль и поперёк кровавыми следами давленных клопов. Полчища тараканов черной неукротимой стаей окружают, нападают и преследуют. На стенах посеревшие бумажные плакаты: «Здоровый, культурный быт – залог высоких показателей труда». Стены сеней барака испещрены списками проследовавших здесь этапов. По спискам узнавались товарищи, знакомые из городов, ссылок и тюрем, которые следовали непрерывным потоком в лето 1936 года во всепоглощающую тундру Ухто-Печорского края. По спискам на стенах я узнал, что муж Люси – Елисеев тоже последовал в этом направлении.

Оставили и мы свой след на стене барака в Нарьян-Маре. Из Нарьян-Мара, после погрузки на большой речной пароход «Зыков», мы поплыли по Печоре. Мне попало хорошее место на второй полке обыкновенного пассажирского следования.

Погоды были ясные. Я смотрел в окно на обширные серые безлюдные пространства, расстилавшиеся вдоль этой большой Северной реки. Время от времени в поле зрения попадали вышки над низкими бараками, ограждёнными кое-как частоколом, и опять безлюдье, серость, пустота.

Все нижние полки и проходы были забиты измождёнными, бледными, заросшими людьми. Разговаривали тихо, оглядываясь. Раньше казалось, что в условиях неволи приговорённым уж нечего бояться, и ставшее привычкой лицемерие и двуличие там, на воле, можно сбросить и стать самим собой по себе: говорить, что думаешь, и судить по совести. Однако опыт многих дней заключения уж дал ясно понять, что этакое суждение является праздным вымыслом.

Напротив, здесь, в тюрьме и лагерях, такие низменные черты, как лицемерие, двуличие, ханжество и подобоострастие получили особое развитие. Чтоб не попасть на лов многочисленных стукачей, информаторов, культурников и воспитателей, масса осуждённых притаилась, замкнулась и не только не вступала в споры, а нарочито избегала всяких разговоров.

Исключение составляла небольшая группа людей, которых ничем нельзя было запугать. Вирац, Азагаров, Фомин вступали в спор, называли вещи своими именами, никого не щадили, были сами по себе – свободными и неограниченными. Их споры с правоверными духовными инвалидами Гоникманом и Ульяновским (профессорами из КРТД) были игрой великанов с карликами. Роль карликов расценивалась как бессовестная попытка представить себя этакими невинными, случайно замётанными, которых, может быть, заметят, а потом, того и гляди, освободят.

Всё медленнее плыл наш пароход. Тяжело нагруженный, он имел глубокую посадку, а Печора, чем выше, тем больше мелела, – тому способствовали холодные ночи и сухие дни.

Наконец он причалил к тихой пристани со странным названием Ошкур-я. Снова пересыльный грязный барак, и дальше наш путь продолжается в тёмной угольной барже вверх, вверх по Печоре.

Если до сих пор мы практически не видели конвоя, то здесь на барже мы его и видели, и чувствовали. Нам не разрешалось выходить на палубу баржи. Мы плыли по реке и не имели возможности пить и умываться. Не было горячей пищи, кормили селёдкой, а кипяток полагался один раз вечером. Для этого буксир пришвартовывался к барже, и конвой набирал несколько ведер кипятка, что было явно недостаточно для всех, поэтому за каждую кружку кипятка платили по рублю. Те, которым платить нечем было, терпели. Жаловаться некому было.

Однажды баржа причалила к берегу. Строений на том берегу не видно было. Говорили, что место это называется Сынья-Нырды, и здесь выгрузили человек 100 для нового лагерного пункта. Остальные поплыли дальше по Печоре.

Ночные заморозки стали сковывать холодные воды. Пошла шуга. Буксир, пытаясь и надрываясь, тянул вперёд тяжёлую баржу. Наконец он застопорился, и нас выгрузили на берег.

День стоял ясный и прохладный. Получили приказ идти берегом реки вверх до следующего пункта, где нас будет ждать ночлег и обед. Конвой будет следовать за этапом. Запрещалось подыматься выше берега реки на пять метров.

Цепочкой по одному, по два человека мы направились вдоль берега Печоры. Было голодно. Домашние полуботинки изнашивались, камни то и дело попадали в их отверстия. Носков уж давно не стало. Голые ступни натёрлись до крови.

Впереди меня шёл небольшой человек с большим рюкзаком за плечами. Мешок его качал то в одну, то в другую сторону. На привале он увидел мои потёртые ноги и предложил какие-то тряпки. Я обмотал ноги тряпками, обул их в полуботинки, и стало теплее. В дельнейшем следовании я взял мешок у человека, и целый переход носил его легко и уверенно. На привале этот товарищ из Киева Керлер угостил меня двумя кубиками сахара. Силы после такого перекуса удвоились, и следующий переход я тоже носил его мешок.

К ночи показались вдаль тусклые огоньки. Это было отделение лагеря, причал Адзьва-Вом (устье реки Адзьвы, впадающей в Печору). Здесь в Адзьве началась наша лагерная жизнь.

Проглотив баланду и пайковый хлеб, втиснутые в два барака люди расположились на полу вдоль стен и в середине. У входа дежурили по два человека во избежание нападения блатных.

Утром лагерное начальство объявило, что этап задержится в Адзьве до установления зимнего пути по реке. В связи с недостатком помещений, заключённым разрешилось сгруппироваться для восстановления старых землянок или устройства новых в пределах зоны, пролегающей от почтового отделения связи и деревни Адзьвы и вдоль реки до бани.

Я, Лаповок и Цырлин пошлi по указанному направлению и натолкнулись на землянку недалеко от берега реки. Получив инструменты, мы принялись восстанавливать её. Вскоре присоединился к нам рыжий человек средних лет из Вологды. Астахов, так его звали, был плотником. К вечеру мы легко и добротнo устроили себе жильё. Когда мы стали прилаживать трубу к железной печке, на счастье наше здесь уцелевшей, к нам потянулись любопытные и неудачливые.

Вскоре определился состав новых поселенцев: Я, Лаповок, Цырлин, Астахов, Лапин, Кузнецов, Боровинский (трое последних из Ленинграда), Гоникман (профессор из Москвы), Керлер (киевлянин, знакомый по этапу) и Щеглов – саратовец.

Растопили железную печь, и запах древесины вместе с теплом влились сладкой истомой в тоскующее сердце.

Щеглов, небольшого роста юркий человек в шинели, уж приобщился к нарядчикам и вечером в землянке рассказывал о намечаемых работах и прочих лагерных новостях. Профессора Гоникмана мы недолюбливали за его ортодоксальность. Был он старше и физически слабее нас. С первых же дней он пристроился к конторе в качестве экономиста-нормировщика. Лапин, Кузнецов и Бородинский тосковали по жёнам, винили себя в неумении держаться на следствии, считали, что следователь ничего не знал об их проступках, что сами болтали Бог весть что, и теперь им надо рассчитывать за свою глупость. Цырлин каждый день писал домой просил выслать бритвенный прибор, машинку для стрижки и концертину на случай, если повезёт и он станет дневальным у какого-либо начальника. Керлер – в своё время видный профсоюзный деятель в Киеве, потом разоружившийся оппозиционер в опале, умный, толковый и сдержанный – по-хозяйски рассчитывал каждый свой кусок хлеба, каждую крупинку махорки и по-домашнему возился у своего мешка с обиходом.

Я присматривался, приглядывался, ждал, пока придёт из дома обещанная посылка с тёплыми вещами. Все воспользовались близостью почтового отделения связи и писали во все концы. Каждый день к отделению связи подсакивали олени с нартами, и кожаные мешки, наполненные нашими письмами и перестёгнутые железными пряжками, отправлялись по бездорожью туда, где было наше родное, тёплое, – домой.

Зима не долго заставляла ждать. Начались морозы, ветры, метели. Я обменял свою кожаную тужурку на ватную телогрейку и пару лагерных ботинок с портянками, а шерстяную фуфайку – на буханку хлеба и две порции отварной трески. Впервые после выезда из Смоленска мы с Моисеем досыта поели.

«Жизнь наша – копейка, спасайся, кто может», – говорили на каждом шагу. Нам в землянке было спокойнее. Выше и левее

нас были другие землянки, хуже нашей, но всё же на отшибе, подальше от бараков с двухъярусными сплошными нарами, коптилками, грязью и клопами. Нам светло было от греющей печурки, в которую подбрасывали сырые чурки и бесхозную угольную пыль.

Адзьва была последним причалом для речных пароходов в период навигации по реке Уса, выше в сторону Воркуты шли пароходы мелкой посадки и только в период больших вод. Таким образом, роль Адзьвы сводилась к транзитной переработке грузов. Воркутинский уголь прибывал в Адзьву-Вом в мелкоходных баржах и разгружался, затем грузился в глубоководные баржи для дальнейшего следования по Печоре к морю. В Адзьву на период навигации пригоняли до 500 человек заключённых. К осени их обратно возвращали в Воркуту.

Наш этап прибыл в период, когда сезонных погрузочно-разгрузочных работ уже не было. Таким образом, мы оказались в излишке рабочей силы, и администрация стала придумывать для нас разные дела. В первые два дня дали нам возможность привести в порядок бараки и землянки, затем создали несколько бригад для заготовки леса под рудстройку и бригаду для плетения корзин. Бригадирями лесовиков были профессора Ульяновский и Мейлахс, бригадой по изготовлению корзин был смолянин из нашего смоленского этапа Файнголд – экономист по специальности. Вскоре выяснилось, что стоимость одной корзины выражается в сумме 13 рублей, тогда как приобрести её можно в любом недалёком пункте за 25-30 копеек. Файнгольд мне сказал, что труд здесь не рентабельный, и от корзиночной затеи придётся отказаться.

Через некоторое время стали поступать письма из Киева, Москвы, Ленинграда и других городов. Сообщалось, что жены и родственники осуждённых подвергаются дискриминации: их выгоняют из квартир, снимают с работы, жён заставляют разводиться. Некоторых попросту отправляли в ссылку, например, жену Михаила Швальбе из Москвы, жену пожилого типографского рабочего Костэнко из Киева.

Мрачная, тяжёлая тоска охватила людей. Каждое письмо вскрывалось с большой тревогой. Каждый ожидал сообщения о неминуемой беде. Беспокойство за жён, матерей очень всех

волновало. За короткий срок нахождения в лагере мы воочию убедились, как невыносимо тяжело приходилось женщинам, как быстро они надламывались, как невообразимо видоизменялись и теряли всё, чем были привлекательны.

Уголовные преступники разных мастей, особенно воры и насильники, считались социально-близкими и в лагерях состояли на положении привилегированных. Ими комплектовались административные лагерные пункты: комендатура, УРЧ (учётно-распределительная часть) с печальной славой институтом нарядчиков и культурно-воспитательная часть. Само собой разумеется, что в пище и одежде эта лагерная босотва не испытывала нужды. Она не проходила мимо и других бытовых радостей. Недаром они говорили, что для них лагерь – родной дом. Бывший член партии Сарра Аксельрод – комсомолка двадцатых годов, которая выделялась в группе женщин этапа кожаной тужуркой и красной косынкой – вскоре после прибытия в Адзвву стала лагерной женой коменданта, блатного парня.

Многие из наших слышали однажды такой разговор между этими молодожёнами. Она стояла около продкаптёрки метрах в двадцати от барака. «Ваня, – кричала Аксельрод, – каптёр не даёт белого хлеба». – «Скажи ему, – в унисон её голосу приказывал Ваня, – что я его ... (следовало похабное лагерное слово)». – «Он меня на ... посылает», – невозмутимо закончила она диалог. «Аксельрод уже перевоспиталась», – говорили насмешники.

Жуковская Ирина, учительница из Киева, стала предметом обольщения УРКача Мишки Черняка – блатного, потерявшего облик человека. Черняк, парень лет 19-20, не знал и не помнил, где и за что его в последний раз судили. Вся его жизнь – это лагерный барак, баланда и волчий оскал при виде того, что ему хочется. Тормозных центров в его мозгу не было, нормально, почеловечески говорить он не умел. Каждая его фраза изобиловала наслоением нецензурных слов с приставками «ни» или «до», что означало ни... (ничего), до... (много). Спросили однажды Жуковскую, как она дошла до жизни такой. «Я решила перевоспитать этого дикого зверёныша, – сказала она. – Я ведь педагог».

Миша согласился выходить на работу в обмен на выделенный ему уголок на нарах в общем бараке, который он занавесил одеялами и распоротыми мешками. В этот угол он привёл

киевскую учительницу Жуковскую на виду у всех обитателей барака. Всю ночь Миша возился, пищал, матерился и не давал людям спать.

Жуковскую назначили дневальной барака, а когда утром попросили её подшуровать печь, она послала указчиков на ... (следовало нецензурное слово). «И эта перевоспиталась», – сказали скептики.

Не все, конечно, отдавались благородной идее перевоспитания зверёнышей вроде Черняка, и не все, как Аксельрод, искали опеки лагерных сук, но многие из женщин, особенно молодые и привлекательные, становились объектом домогательства лагерной своры. Им чинились всякие невзгоды, их посылали на тяжёлые работы, лишали премблюд, не давали обмундирования. От них добивались одного только, и кто мог упрекнуть ту или другую женщину, которая не в силах была выстоять домогательства?

Мы это очень хорошо понимали. Поэтому письма об аресте жён или их высылке вызывали леденящий душу страх – страх за их судьбу, за судьбу детей. Пусть откажутся от нас, пусть выходят замуж. Только бы не попали в этот чудовищный всепоглощающий котел.

Так думал я. Так думали многие. Я перестал писать, я жалел, что писал, и когда получил посылку со старой поношенной шубой, тёплой шапкой, старым ватным одеялом и маленькой подушкой, я, упиваясь ароматом домашних вещей, проклинал себя за то, что дал о себе знать, ведь эти злосчастные посылки могли навлечь или уже навлекли беду.

Домашние вещи будто сблизили меня с семьёй. Накрываясь одеялом, я чувствовал тепло моих маленьких девочек и неуёмность лучистых глаз неудачливой судьбы – жены моей Саши.

Ранние морозы сковали реки, и цепочка жизни по ещё не заснеженной реке пришла в движение. Из Воркуты мимо Адзвывы проходили окончившие сроки заключения бытовики. Они приносили вести о массовой голодовке политических. Последовали подробности, что участников голодовки более 300 человек, и продолжают они голодать уже больше месяца. Их подвергают насильственному кормлению посредством введения в пищевод резиновых трубок. Распространились злобные слухи,

будто все лучшие продукты, завезенные для лагеря, как-то: сахар, масло, молоко и яички – уходят на кормление констрикторов, а работягам, искупающим свою вину честным трудом, остаётся одна только баланда. Будто кто из зеков когда-нибудь, до или после массовой голодовки, кушал яички или пил молоко.

Пришёл мой черед шагать этапом на рудник (первую воркутинскую шахту). Нам повезло. Этап зачислили не в шахтную, а в погрузколонну. И шахтёры, и грузчики ходили грязные, покрытые угольной пылью. Нас разместили в большой палатке с двухъярусными сплошными нарами. С земляками меня уж давно разъединили. Рядом со мной на верхней наре оказались Ральцевич – один из ведущих советских философов и Покровский – председатель антирелигиозного общества СССР и редактор журнала «Безбожник». Оба в домашних пальто, подпоясанных разлохмаченными верёвками, оба неряшливые. Покровский – добродушный, разговорчивый, не заносчивый. Ральцевич, наоборот, боялся слово проронить. «Любой может каждое слово по-своему истолковать, – говорил он, – а это небезопасно». В свободное время он писал Сталину заявления.

Я вознамерился разыскать Елисеева и познакомиться с ним. Я очень тосковал по дому. Казалось мне, что Елисеев чем-то напомнит, что-то скажет и облегчит мои страдания. Мы встретились. Невысокого роста, худой, измождённый, лицом вида монгольского и большими редкими зубами, он протянул мне руку и чуть-чуть улыбнулся. Мы завернули махорку из его кисета. «Люся вышивала?» – спросил я, взглянув на кисет. «Да!» – ответил он.

С Люсей он поддерживал связь. Его сынишка Спартак беды не знает, папу не вспоминает. Не опасается ли он за Люсю, выразил я ему тревогу. Он пояснил, что по известным ему слухам, высылке подвергались жёны арестованных из центральных городов – Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы и т.п. Аналогичных случаев высылки из других областных городов еще не было. О голодающих он говорил, что они борьбу выиграли: работать не вынуждают, живут в палатках отдельно от блатных и получают гарантированное питание. Однако, продолжал он, настроение у людей подавленное. В большой зоне, то бишь на воле, происходит разнузданный массовый террор. Про-

извол и бандитизм в целях запугивания населения достигли государственного масштаба. И здесь в лагерях началась изоляция людей. Из палаток голодающих каждый день вырывают по пять-десять человек и отправляют этапом на кирпичный завод. Так же поступают с отказчиками и лагерными бандитами.

В манере изложения информации Елисеева не было ни беспокойства, ни тем более тревоги, но мне уж понятно было, что впереди после цветочков и ягодки поступят.

В зиму 1937 года, ещё до прихода на Воркуту, я уже побывал на лесзаге «Охотпост» под отрогами Уральского хребта, на речке Инта, где мы ставили первый сарайчик под завоз лопат, ломов и кирок для будущих строителей нового северного города Инты. Большеземельская тундра нами была исхожена в разных направлениях. Мы встречали упряжки собак с местными коми-охотниками, мчащихся оленей с нартами, на которых сидели непринуждённо ненцы-каюры.

Неудивительно, что рассказанное Елисеевым сочеталось с духом обречённости, нависшим над чёрным от угля лагерем. Воркутинская песня соответствовала тому духу.

За Полярным кругом, в стороне глухой,
Чёрные, как уголь, ночи над землей.
Волчий голос ветра не дает уснуть.
Хоть бы луч рассвета в эту мглу и жуть.

Там, где мало солнца, человек угрюм.
Души без оконца чёрные, как трюм.
Что-то роковое спрятано на дне.
Тяжело с собою быть наедине.

Дни мои изгнанья, как полынь, горьки.
Я и сам, как пьяный: пью вино тоски,
Звонких песен юга больше не пою.
Сам с собой, как с другом, молча говорю.

Часто, часто снится мне синее крыльцо,
Чёрные ресницы, белое лицо.
Ночью одинокой мнится: ты не спишь,
Обо мне, далёком, думаешь, грустишь.

За полярным кругом, друг мой, счастья нет.
Лютой, зимней вьюгой занесён мой след.
Не зови, не надо, не ищи меня,
Если будет случай, вспомянай меня.

Эту и еще две песни – «Дневальный» и «Паутинкою время плетётся» – распевали в лагере втихую. Автором их был бывший комсомольский журналист из Киева Лев Драновский. Он одним из первых был этапирован на кирпичный завод. (Из протокола: Л.З.Драновский осужден 27 декабря 1937 г., расстрелян 1 марта 1938 г. на кирпичном заводе в Воркуте.)

Часто захаживал ко мне Елисеев. Мы курили, разговаривали шёпотом, и хотя о семьях не вспоминали (письма уже перестали поступать), они стояли перед глазами недоумевающие, вопрошающие.

К концу 1937 года на кирпичный завод загнали всех без исключения голодавших, всех отказчиков, всех, кто был оговорен стукачом или клеветником, каждого, кто когда-либо как-либо выражал непочтительное не только к системе, но и к какому-либо лагерному начальнику, всех бандитствующих блатных, не сотрудничавших с администрацией лагеря (так называемых «честных» воров). Не трогали «сук» (блатных, сотрудничавших с лагерной администрацией).

Приблизительно в марте 1938 года разнеслись слухи, что на кирпичном расстреливают заключённых. В то тяжелое время из погрузколонны направили 15 человек на работу в техбазу. Через несколько дней начальник техбазы Берзин отобрал семь грузчиков из 15 и закрепил их за базой на постоянную работу. Я был среди них. Нас перевели из палатки в небольшое дощатое строение, в котором находились возчики кондвора. Большинство из них были работающими блатными и бытовиками. Они держались особо и в контакт с нами не вступали.

Обратился ко мне однажды пожилой возчик с просьбой (я был бригадиром грузчиков техбазы) достать и принести ему пару болтов для крепления саней. Я принёс нужные болты. Наше знакомство началось. Человек был из раскулаченных, отважившихся вступить в драку, когда пришли его разорять. Ему всунули десять лет по статье 58 пункт 10. Семью выслали,

куда – не знает. В лагере работает возчиком. Его конь лучше других, сани прилажены, упряжь пригнана.

Однажды он мне сказал, что возит вохру на кирпичный, там людей бьют, и, прикусив кончик указательного пальца, прищурил глаза (мол, язык прикуси). Теперь и я стал замечать, что к подъёму части возчиков уж не было в бараке.

До кирпичного было километров двадцать. Три часа до места расправы, часа три на экзекуцию и три часа на обратный путь, но верить ли возчику? Я поделился сомнениями с Елисеваем. «Не подлежит сомнению», – сказал он уверенно.

Через некоторое время на дверях мехмастерских был вывешен приказ о расстреле сорока одного человека за контрреволюционную агитацию, саботаж и бандитизм. Был и другой список на дверях конторы рудника с такой же формулировкой, таким же количеством, но с другими фамилиями казненных. Стало известно, что во многих лагпунктах Ухто-Печорского лагеря были объявлены приказы о расстреле, аналогичные по количеству, но разные по фамилиям. Нетрудно было догадаться, какое это имело психологическое значение, – сокрытие масштаба совершённого преступления и всеобщее запугивание и устрашение.

О том, как совершалось такое массовое убийство, было много разговоров. Одни говорили, что обречённых по 100 человек выводили в тундру, будто на этап, и в определённом месте открывали по ним кинжальный огонь из замаскированных пулемётов. Другие утверждали, что их приводили в баню лагпункта кирпичного завода и там расстреливали, а трупы вывозили в тундру. Однако операция этой бойни была проведена с такой тщательностью, что никто, нигде и никогда не наталкивался ни на один какой-либо существенный признак, который мог бы вывести на прямой или косвенный след.

О количестве погибших в Воркутинском лагере в том несчастном году могу сообщить вот что: в 1940 году на перевалочной базе в Воркуте-Вом председателем комиссии по приёмке грузов был заключённый по статье 58/10 Морозов Феодор Антонович. На Воркуту он пришёл в 1933 году первым этапом через Уральский хребет. Их было человек 300. Они первые раскапывали шахты на руднике, они первые строили на Воркуте землянки и бараки. Феодор Антонович работал стар-

шим бухгалтером лагерного пункта Рудник, ставшим первой шахтой Воркутинской мульды. К 1938 году Феодор Антонович имел пятилетний бухгалтерский стаж и относился к доверенным и признанным руководителям лагпункта. Он мне рассказал, что в конце апреля 1937 года ему, главному бухгалтеру лагпункта, было дано секретное указание о списании 1050 телогреек, такого же количества пар валенок, бушлатов, ватных брюк и другого лагерного барахла. «Несомненно, – говорил он, – это обмундирование расстрелянных. В практике моей работы главбуха лагеря не было случая такого массового списания. Обыкновенно вещь даже третьего срока носки после того, как она окончательно придет в негодность, списывается в мастерские на заплаты или реставрацию».

С Феодором Антоновичем я работал тогда на базе В/вом и был с ним в доверительных отношениях.

В более поздние годы, когда большинство погибших были уже реабилитированы за отсутствием состава преступления, мне встретился человек, который руководил работами по прокладке телефонной линии между Москвой и Воркутой. Неожиданно, рассказал он мне, пришлось работу остановить. В тундре, в тридцати километрах от Воркуты, далеко от населённого пункта бригада по сооружению опор наткнулась на массовое погребение. Ему дали об этом знать. Он доложил начальству. Было решено обогнуть это место, а в проект внести соответствующие изменения. Можно предположить, что это и было место расправы и погребения. Остаётся загадкой, кто и какими средствами сумел в короткий срок скрытно осуществить эту преступную акцию? Ведь не было тогда на руднике ни тракторов, ни бульдозеров.

Волна массовых убийств прокатилась тогда по всем лагерям ГУЛАГа, в республиках и областях. В лето 1938 года обильные северные реки приволокли на могучих своих спинах огромное количество новых заключённых. Комары и нудный гнус в большеземельской тундре уступили место живучему существу, называемому «человеком общества освобождающего труда строящегося социализма».

В июне 1938 года всю нашу погрузколонну направили в Воркуту-вом для погрузки угля в баржи. Уса была полноводная

и широкая. В палатках было холодно, но дни допоздна не меркли, и мы возились с прилаживанием причалов.

Елисеев мне говорил, что в Воркуте-вом работает наш земляк и его соэтапник Фурман, портной по специальности. Фурмана я застал в мастерской, где чинили лагерное барахло. Пахло тряпками, разогретым утюгом и тем специфическим запахом портновского ремесла, которым я был насыщен с детства.

Тепло, запах и дружеский приём разморили меня. Я прильнул к подушке его кровати и уснул. «Отдохнули?» – спросил Фурман, когда я проснулся и никак не мог сообразить, где нахожусь. Мы курили, беседовали и поглядывали в окошечко, чтобы успеть вовремя смыться, если кто некстати зайдёт. Фурман знал моего брата Бориса – тоже портного Смоленской портняжной артели.

Год 1938-й был очень тяжёлым. Физические и духовные силы заключённых бессовестно выколачивались. Люди работали круглосуточно. На погрузке барж люди отдыхали только в промежутках, когда нагруженные судна отчаливали и пришвартовывались порожние. И снова начинался бег с гружёными тачками вниз к барже и вверх порожними. На сон время не отводилось. Во имя социализма надо было не есть, не спать, забыть, что ты есть.

Когда закончилась отгрузка угля, нашу погруз-колонну переименовали в строительную, и рано утром погрузили на платформы узкоколейной ж/д. Мы снова ехали в Воркуту, теперь уже строить.

На шахте «Капитальная» (теперь центр края, именуемого Воркутой) стоял один деревянный барак. В нём жили работяги, которые долбили ствол будущей шахты «Капитальная». Нас выстроили полукругом на мокрой кочковатой поляне. Под ногами хлюпала болотистая квашня. Плюгавенький человек с тонкими ногами в болотных сапогах и брезентовой куртке на сутулых плечах говорил нам, что мы враги народа, что нам гуманное наше правительство делает снисхождение и позволяет нам жить, дышать и строить. Кто не хочет строить, тот жить и дышать не будет. Затем последовал его, начальника строительства Маркелова, приказ разобратсья по бригадам, получить материалы, поступившие одновременно с нами, и к вечеру построить палатки, а завтра с утра на работу.

С утра мы стали строить город, который называется Воркутой. Каждый день прибывал этап, и палатки вокруг нас вырастали как грибы. Всё было завезено для строительства: лопаты, ломы, топоры, древесина, дома в разобранном состоянии, гвозди и даже камни для уплотнения грунта под будущие дома. Забыли только подвезти необходимое количество продуктов, воды – да-да, воды! – и одежды.

Чтоб напиться, надо было уходить подальше в тундру, где между кочками можно было найти лунку с прозрачной водой. Поиски воды сопровождалась неистовой борьбой с комарами. Тучи их нещадно мстили за вторжение непрошенных гостей. С питанием было ещё хуже. Сооружённая наспех кухня с одним котлом не успевала с приготовлением баланды на всех. Последняя обеденная раздача затягивалась до позднего вечера. Вещевой каптёрки вообще не было.

В компенсацию за столь несущественные неудобства прибыл оркестр из шести музыкантов-зеков, социально близких. Первый выход оркестра на развод воодушевлять работяг на вдохновенный труд совпал с первыми заморозками. Люди по команде «Подъём!» вскакивали, но не все спешили в тундру пить и умываться. Лунки покрылись тонким ледяным стеклом. От холода люди ворочались, как скованные. Неожиданно оркестр браво заиграл музыку Шостаковича на слова Л.-Кумача «Нас утро встречает прохладой». Слова той песни и бодрящая её мелодия были прямой противоположностью тому, что было там, в неволе. Появились новые слова в подражание той песне:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает заря.
Кудрявая, неужто пропала
И счастье, и жизни краса.
Спи же, спи, кудрявая
Во мраке зла
Страна встаёт кровавая
Навстречу дня.
И льётся печаль, не кончая,
И горе навстречу идёт,
И хмурые люди, встречая,
Холодное солнце встаёт.

Жалкое и грустное
Морозит меня,
Ярмо встаёт позорное
Навстречу дня.

В конце 1938 и в начале 1939 года стали сказываться результаты тяжёлого труда и постоянного голода. Повальный авитаминоз поверг людей в неизлечимый мор. Каждый вечер выносили из палаток по 10 и больше мертвецов. Их, ещё живых, выбрасывали. Неудержимый понос заболевших был невыносим, и обречённых выносили за дверь палатки и бросали в сугроб.

Узнал я, что на Руднике умер Цырлин, умер Пшёнов, учитель из Бежицы. Оба они – из смоленского этапа, были здоровыми людьми.

Стали и надо мною сгущаться тучи. Появились фурункулы, – ни лежать, ни сидеть, но это полбеды. Стало тошнить. После баланды становился где-нибудь в углу и извергал белую, прозрачную слюну. Мне говорили: «Началось, теперь до конца недолго». Процесс рвоты меня обессилил.

В санчасти зек врач-еврей из Одессы сказал мне: «Лекарств, средств нет, от работы могу освободить, но советую ходить на работу. Держать себя в сборе – вот единственный выход».

Я попросил освобождение от работы. «Решил доходить?» – спросил врач. – «Как придётся», – ответил я.

Получив освобождение на три дня и выписку на 300 граммов лука, я направился в своё логово. В нашей, да и в других палатках находилось много безнадёжных больных.

Неожиданно подул сильный ветер, и началась пурга. Палатку занесло снегом. Никто нас не тревожил. Часов ни у кого не было. Мы потеряли ориентировку во времени. В разных углах большой палатки лежали мёртвые тела. Пищи мы не имели. Но было какое-то чувство независимости, чуть-чуть похожее на волю, – без начальства, без нарядчиков, без опеки. Мне бы хотелось, чтобы про нас забыли, совсем забыли.

В эти спокойные дни я сошёлся с двумя товарищами: профессором Днепропетровского университета Ратнером и бывшим командиром военно-морского флота Фридом. Дружба с ними, наши доверительные тихие беседы оставили неизгладимый глубокий след в моей душе. Однажды вечером мы уви-

дели, как из брезентового клапана в крыше палатки, куда выходила труба железной печки, стали спускаться старые прожжённые валенки, за валенками повисли ватные рваные брюки. «Подставляйте скамейки», – кричал голос. Соорудили баррикаду, и человек спустился в палатку. Из-под телогрейки он вытащил большую тушку солёной трески. «Окно в Европу пробил», – сказал Ратнер. Появились охотники последовать примеру перепроходца. Из нашей тройки я был моложе и сильнее.

Мне удалось выбраться в сугроб выше печной трубы, и по незанесённым ещё следам я направился к кухне. Кухня уже работала. Стояли две бочки с треской. Я снял крышку с одной бочки, вытащил одну рыбину и пошёл обратно по следу. Совсем недалеко от трубы палатки из руки с силой вырвали рыбу вместе с рукавицей. Я обернулся. Удар мороженой тушкой по голове чуть не сбил меня с ног. «Ты что? – крикнул я, обернувшись. – С ума сошёл?» – «Ещё возмущается», – сказал человек, показывая на тушку. – «Мы три дня ничего не ели, нас снегом задуло». – «Задудло, а воровать ходите». – «Я из трубы вылезал». – «Из трубы?!» – негодовал человек и бросил в меня силой мороженую треску.

Я отпрянул. Рыба пролетела мимо и упала в снег. Я метнулся к месту падения рыбы и провалился в рыхлый свеженавешанный сугроб. Пошарив одной рукавицей вокруг и разгребая ногами снег, я всё же наткнулся на мою злосчастную тушку и, ободрённый успехом, добрался до трубы и благополучно спустился в палатку.

До поздней ночи мы топили снег и варили треску. Сами наелись и какого-то голодного доходягу угостили. «Спасибо, братцы, – сказал он, – теперь еще лучше стало». – «Поняли? – сказал Ратнер. – К пресловутой свободе он ещё и покушал, чем плохо?». И после паузы наставительно произнес: «Не так страшен голод, как отношение голодающего к нему». – «Сытому хорошо рассуждать,» – заметил Фрид.

Я был рад тому, что после еды не тошнило. На следующий день, когда пурга утихла, нас откопали. «Живы, доходяги?» – крикнул нам нарядчик. Я вышел из палатки. Раннее тусклое утро. Небо синее-синее. Из открытых дверей палаток валил густой смердящий пар. Я пошёл в дощатый барак, где помещалась контора лагпункта. «Виктор Августович, – обратился я к

начальнику части общего снабжения – заключённому Лекнею, – примите меня в вашу контору работать».

– Почему вы ко мне обращаетесь?

– Потому что у вас в конторе дел много, а нам теперь делать нечего.

– По работе соскучились?

– Нет, по тёплому бараку.

Он записал мою фамилию и велел приходить на ночную работу в контору. «А нарядчики?» – спросил я. «Согласую», – ответил Виктор Августович.

Вечером я вышел в контору. Там было тепло. Со мною работал Бородин Александр, студент литературного факультета Саратовского университета. Мы составляли стройки, рапортики, начисляли премиальные (зарплата зек).

К часу ночи мы работу заканчивали и до утра беседовали, мечтали, вспоминали. Саша читал наизусть целые главы из произведений классиков русской литературы, часами декламировал поэзию Бунина, Гейне, Лермонтова, Саши Черного.

Ветер за окном рвал и метал, уголь в печи горел с подвыванием, а нам было тепло, светло и уютно. Я сушил свою пайку на железной печке, медленно жевал сухари и запивал кипятком из привозной воды.

Виктор Августович давал нам иногда выписку на 200 граммов масла или 300 граммов сахара. Это считалось подвигом с его стороны. Мы стали поправляться. Тошнота прошла, и жизнь будто возвращалась.

Виктор Августович отбывал срок по статье менее тяжелой, чем формулировка КРТД. Был он человеком деловым и гуманным. Он и поныне проживает в Ленинграде и ведёт активный образ жизни.

Ярким светлячком той тяжёлой мрачной зимы запечатлелся в моей памяти Саша Бородин – молодой, обаятельный и одарённый студент, с которым коротали мы долгие ночи в конторе лагпункта.

Однажды, когда закончилась наша несложная конторская работа, мы с сожалением заметили, что штатные работники из соседнего отдела (УРЧ – учётно-распределительная часть) не собирались уходить. До нас доносились обрывки необычных

разговоров, настойчивые требования связаться по рации с далёкими лагпунктами. После полуночи мы услышали такое, что ушам своим не поверили. Работники УРЧ начали вызывать на освобождение. Сначала мы полагали, что вызывают бытовиков после окончания сроков за халатность, превышение власти и т.п. Такие вызовы проводились и раньше, но бытовиков не так уж много было, и освобождений, соответственно, мало. С вызовами справлялись в течение рабочего дня.

Необычный массовый вызов привлёк наше внимание. Мы стали прислушиваться. Вдруг Саша Бородин ахнул. На освобождение вызвали его знакомого, который отбыл срок три года в начале 1939-го, но его не освободили, а вызвали в УРЧ и дали расписаться ещё на 8 лет заключения.

Мы – все заключённые лагерники тех лет – знали, что по политическим статьям никого не освобождали. День окончания срока был днём не радости, а потери последней надежды когда-нибудь вернуться на волю. Когда нашего брата вызывали в УРЧ в день окончания срока, он лелеял мечту расписаться хоть бы на три года, но таких случаев почти не было, давали бумажку расписаться на дополнительные десять, восемь или, в лучшем случае, пять лет. Дико, невероятно, но факт. Не было тогда в лагере надежды на волю, на жизнь, на общение с родными. Мы будто приговорены были к вечной каторге.

И вот вдруг вызвали на освобождение одного, потом ещё несколько, потом и я услышал фамилию человека, который недавно расписался на восемь после трёхлетнего отбытия. Что это? Специально для нас несколько работников УРЧ разыгрывают фарс, насмешку, издёвку? Мы насторожились, наострили слух. Каждый шорох, шепот усиливался в наших ушах, получал ясное звуковое очертание.

Вот на рации ОЛП СИВАЯ МАСКА вызываются на освобождение: следует список – фамилия, имя, отчество, срок и т.д. Закончив с СИВАЯ МАСКА, вызывается КОЧМЕС, АБЕЗЬ, АДАК, АДЗЬВА, другие лагпункты.

Сомнений нет. Вызывают, назначают срок прихода на «Капитальную» за получением документов и проходных свидетельств.

Мы воспрянули, будто проснулись от кошмарного сна. Может быть, и нас освободят, и нашим злоключениям наступит

конец? Выжить, надо выжить! Впервые за три года сверкнул луч надежды.

Скорей бы в палатку – поделиться радостью. Люди ведь доходят, от тоски изнывают. Выдержки, выдержки, говорю я себе, не верь, пока не увидишь освобождённых. Через два-три дня они начнут поступать, тогда узнаем, не подвох ли это.

Об услышанном рассказываю доверенным товарищам. Не ошибся ли? Один ли я только слышал? Может быть, я говорю о желаемом, как о действительном? Такие вопросы мне задавали. В ответ на неоспоримые сомнения я говорил обыденные лагерные поговорки: «За что купил, за то и продал». Мне тоже не верится.

С того вечера, на работе в конторе мы быстро заканчивали работу над рапортичками, строёвками, котловкой и готовились записывать фамилии вызываемых на освобождение.

Через несколько дней в контору лагпункта Воркута – северного крыла Ухто-Печорского лагеря – стали приходиться вызванные на освобождение. Им выделена была специальная палатка, где они находились в ожидании получения документов, продуктов и личных вещей, если они у кого сохранились. Только тогда стали высказывать причину столь резкого поворота дел по отношению к массе заключённых не бытовиков. Газет у нас не было, радиовещания были большей частью местного значения. Иногда мы слышали Москву, но плохо были информированы о значительных событиях. Говорили, что приезд Риббентропа в Москву и заключение мирного соглашения с фашистской Германией создали благоприятную обстановку в стране, позволившую ослабить контроль над пятой колонной. Так люди сами причисляли себя к пятой колонне и выгораживали преступную деятельность необузданных диктаторов. Начуб Ратнер – профессор из Днепропетровска – имел на этот счёт своё мнение. Массовый террор и репрессии, говорил он, породили в стране страх, недовольство и пассивность во всех областях. Соглашение с фашистской Германией было не причиной, а поводом для успокоения народа.

Как бы то ни было, надежда многих стала сбываться. По ледяным рекам Усы, Печоры поплелись освобожденные люди в телогрейках и ватных штанах. Тысячи километров пешком приходилось им преодолевать. Воля и дом родной вдохновля-

ли их на долгий и тяжёлый путь. Каждый, кто оставался здесь, готов был проделать такой путь дважды, только бы уйти отсюда. Даже теперь, когда освобождение заключённых, уж давно закончивших сроки, стало явью, мы, отбывшие больше половины срока, и теперь не уверены были в стабильности такого положения.

Произвол властей и действия их по принципу «моя рука владыка» не могли быть гарантийной уверенностью, что и впредь так будет. Наши опасения оправдались, но это было позже, а пока какой-то свежий ветерок подул, и дышать стало легче. Разговоры и всевозможные слухи, получившие в лагере название «лагерные параша», были столько утешительными, сколько и угнетающими.

Был конец апреля 1939 года. Я продолжал работать в конторе. Дни заметно увеличились, а морозы ещё не унимались. Однажды утром, ещё до развода, вызвали на этап большую группу людей. В списке был и я. Проныры узнали, что этап направится в Воркута-вом на реку Уса обкалывать баржи в затоне.

Обкалывать, так обкалывать. Я знал, что работа в конторе временная, и этап неизбежен. Лучше обкалывать баржи, чем добывать уголёк в шахте. Я простился с Ратнером, Фридом, Сашей Бородиным, взвалил свой арестантский скарб в два узла через плечо и вспомнил Смоленск, его узкие улицы и шествия колонн заключённых по ним. Горечи я уже не испытывал. Я втянулся в эту жизнь без дня и без ночи, обжился котелком, кружкой, кисетом, деревянной ложкой. Лагерное питание не вызывало во мне терзающего голода. Спать я мог сидя, стоя и даже на ходу.

Растянувшись в линейку по узкой тропинке рыхлого снега тундры, мы шли в В-вом (устье реки Воркуты, впадающей в Усу). Уже заметны были признаки приближающейся весны. Долго серели сумерки, рано светало, порою солнце глаза слепило. И запах весны, и возвращение на путь обратный от Воркуты создавали впечатление приближения к дому.

Через два дня, в канун первого мая, этап прибыл в В-вом. Обкалывание барж в затоне заключалась в отделение бортов барж ото льда, чтобы придать им подвижность при подъёме верхних вод. Работа эта весёлая, чистая, на свежем воздухе, но тяжёлая – всё время с ломиком.

От обилия воздуха или скудного питания я стал чувствовать непреодолимую слабость. Голова кружилась, ноги отказывались ходить. На теле появились тёмно-коричневые пятна. Цинга, сказали товарищи. Никакой боли я не испытывал, но ходить не мог, и тело будто мне не подчинялось.

Врач Ренейский из медпункта (зек из КРТД) после внимательного осмотра вручил мне две бумажки: на одну на 200 граммов молока ежедневно в течение двух недель, другую – на перевод в полустационарный барак без выхода на работу в течение трёх недель. Это было неслыханной удачей. Другие считали меня обречённым. За неделю до выхода из стационара, пользуясь свободным временем, я сделал попытки устроиться на постоянной, вне компетенции нарядчиков, работе. Это мне удалось. Начальник продбазы отдела общего снабжения лагеря Шимен Маркович Шкляр принял меня на работу. Шкляр отбыл 10-летний срок заключения по статье 58/10 и остался работать в лагере по вольному найму.

Умный, деловой и предприимчивый, он был одним из тех лагерных дельцов, которые обладали способностью обеспечить снабжением заключённых при условии, когда ни проезда, ни прохода к точкам их проникновения не было. Шкляр подверг меня экзамену. Надо было собрать все порожные железные бочки, разбросанные по обширной территории базы, и сложить их в порядке. Я их собрал в пирамиду от 10 внизу до одной наверху. Крайние бочки нижнего ряда я укрепил двумя дрынами. «За кем числитесь?» – спросил Шкляр, окинув прищуренным взглядом выполненное задание. – «За стационаром», – ответил я. – «Это хорошо, – приободрил он. – Из бригады трудно людей брать».

С тех пор, после трёх с небольшим лет, моя лагерная жизнь с каждым днём стала улучшаться. На базе работали хорошо осевшие там давно постоянные работники, которые держались обособленно, питались хорошо, но не допускали излишеств и таким образом не вызывали кривотолков и зависти. Сначала меня держали на отшибе, и я продолжал питаться из общей кухни лагеря. Работал я грузчиком, приобрёл опыт и сноровку ношения полномерных мешков сахара, муки, крупы,

катал бочки, носил ящики. Иногда после тяжёлого дня работы завскладом давал нам по куску сахара или муки на лепёшки. Я поправился, приобрёл силу. Навигация была в полном разгаре. Погрузо-разгрузочные работы продолжались круглосуточно.

Бригаду грузчиков базы знали в лагере, и мы беспрепятственно входили и выходили из зоны лагпункта группами и поодиночке. Однажды после выхода из зоны я решил проведать Фурмана – земляка, которого давно не видел, но знал, что он работает в пошивочной. Мы радостно поздоровались. Он, как и полагал, крепко зацепился за пошивочную, наладил связь с семьёй в Смоленске и надеялся через два года освободиться. «Теперь ведь освобождают?» – спросил он утвердительно. Я ему рассказал о своём пути. «Надо закрепить за базой, – посоветовал он. – Шкляр мужик хороший, он поможет».

Я попросил Фурмана написать своим, знают ли они что-нибудь о моей семье. Он обещал.

Через несколько месяцев начальник базы Шкляр сказал мне, будто невзначай: «Фурман просил Вас зайти к нему, можете сейчас идти».

Фурман сидел у машины и строчил. Увидев меня, сказал: «Там, в кабине, под подушкой открытка». И ткнул голову в прерванную работу. Тон его обрывистых фраз ничего хорошего не предвещал.

Я вошел в кабину, достал открытку. Только в конце, притаив дыхание, я слово в слово запомнил две строки: «Про земляка, о котором спрашиваешь. Брат его находится в таком же положении, как он, а жена вышла замуж и уехала».

Мелкая, холодная дрожь прошла по телу. Я снова и снова вглядывался в строки открытки. Вошёл Фурман. «Непонятно, – сказал я, – осуждён брат, или еще сидит. Про жену всё сказано». – «Обо всём разве напишешь?» – сказал Фурман. – «Да!» – подтвердил я.

В землянке барачного типа, в лагере, где я находился, была двухярусная вагонка. Можно было лежать не впритирку, а даже в некотором отдалении от следующей вагонки.

Волнения первых часов уже улеглись, но впервые в жизни я почувствовал горение в теле, будто непомерная температура объяла меня со всех сторон. Я гнал от себя мысли, но они воз-

никали, кружились, давили. Я бы не мог сказать, что меня больше сокрушало, – судьба брата или поступок жены.

Однако за будущее жены я уже не беспокоился, тогда как трагическое положение брата в годы разнузданного злодеяния не давало мне покоя.

Брат мой – обыкновенный рабочий человек – имел все основания презирать старый строй и относиться благосклонно к новому, рабочему государству. Отроком он был отдан в обучение портняжному ремеслу в гор. Смоленск к хозяину Воложинскому, который имел большую мастерскую и магазин готового платья. Правда, хозяин-эксплуататор не вызывал в нём ненависти. Его сытно кормили, он имел свою чистую кровать, по субботам он не работал, два раза в год на праздники его отпускали домой. Дети Воложинского – гимназисты и студенты – не чуждались его, а, наоборот, занимались с ним, приучали к чтению. После трех лет обучения он вернулся домой, скучал по Смоленску и по хозяйской семье. Если и был он недоволен, то тем, что семья Воложинских живёт в довольстве и роскоши, а его семья в Хиславичах – в нищете и лишениях.

Вопросов он не задавал. Курс поведения еврейского мальчика из народа он прошёл в хэдэре и знал, что к справедливому Богу претензии не предъявляют. Он работал дома, помогал отцу и старшей сестре создавать благополучие семьи.

Совершилась революция. Газеты, митинги, песни. Мать за революцию, против богачей, отец за Бога, за порядок в его мироздании. Не стало работы. Население голодает, об одежде мало кто думает. Молодые властелины – местные и наезжие простолюдины – объявили трудовую повинность для нетрудовых элементов. В списке нетрудовых элементов оказался брат Борис. Ему прислали повестку явиться на работу. Он порвал повестку. На следующий день его арестовали. До вечера он сидел к кутузке. День стоял летний, жаркий. Я не отходил от кутузки ни на одну минуту. Три раза мать ходила в совет и два раза она шерстила недоносков острым, едким языком негодования. К вечеру вернулся Борис домой.

С тех пор он равнодушно относился к пустым обещаниям представителей новой хвастливой хевры. По грамотности и социальному своему положению ему доступен был путь новых ра-

детелей благ человечества, но тщеславным он не был, любил свою профессию, мастерство которой он настойчиво постигал.

В 1920 году его мобилизовали в Красную армию. Попал в тифозную эпидемию, тяжело преодолел брюшняка и вернулся домой еле-еле душа в теле. В годы НЭПа поехал в Смоленск и совместно с другими мастерами организовал портняжную артель «Прогресс». Вскоре он женился на хиславичской девушке, родители которой переселились к тому времени из Хиславичей в Смоленск, приобрёл маленький домик в самой низине невзрачной улицы Резницкой и стал жителем города Смоленска.

Артель «Прогресс» росла и укреплялась и в тридцатых годах стала многочисленной артелью смоленской промысловой кооперации. Борис был бессменным закройщиком, зав. производством. В партии не состоял, политикой не интересовался. Причина его ареста, несомненно, заключалась в родственном его отношении ко мне. Я по-братски любил Бориса, часто общался с ним, с его семьёй.

1937 год был годом распада моральных устоев измученного народа. Всплыла мерзкая накипь низменных страстей. Каждый, кто хотел выдвинуться, превзойти, должен был клеветать, оговаривать другого. Люди массами изымались и уничтожались. Мы знали об этом от поступивших в лагерь пополнений.

Трагедия несчастного моего брата стала постоянным упрёком моей совести, причиной душевных терзаний. Я никогда себя не щадил и не отделялся от его мучений, воспринимая их своим воображением.

Не скажу, что поступок жены меня не огорчил, но по силе реакции он был менее болезненным, чем сообщение об аресте брата. Зная глубоко характер Саши, я почему-то не верил в её замужество. Может быть, я верить не хотел. Как же так? Саша, моя единственная, нежная Саша – мать моих двух детей – стала не моей, чужой. Невероятно, но факт!

Остаток того дня и всю последующую ночь я пролежал без сна. Мысли о брате, жене чередовались, вытесняя друг друга, смешивались, снова переплетались. С большим усилием я их принудил последовательно укладываться в рамки.

Наша первая встреча. Да-да, первая. Она ведь не хиславичанка. Она из ближнего города Мстиславля. Я её не знал, не видел. Наша встреча произошла на пожаре при обстоятель-

ствах, схожих со встречей героев романа Шолом Алейхема «Блуждающие звёзды». Горел дом народной школы на Мстиславской улице. Пламя охватило снаружи весь дом. Монотонный тревожный звон церковного колокола непрерывно будил спящее местечко. Расторопные дежурные из пожарной команды с шумом и криком подгоняли и разворачивали пожарные машины. Симен-Эле Сандлер – трубач музыкальной команды – верхом на лошади оглашал улицы боевыми тревожными сигналами. Как дружинник добровольной пожарной команды я участвовал в тушении пожара. Когда опасность распространения пламени миновала, я и ещё один товарищ зашли в дом Итче-Веле Левина выпить. В большой комнате горела небольшая керосиновая лампа. Среди кучи узлов, приготовленных к выносу, сидела девушка в гарусном платке.

«Мы хотим выпить», – сказал я. – «Пожалуйста», – ответила девушка и повернула к нам голову. Я увидел большие серые глаза. Вдруг, глядя на меня, она громко рассмеялась. «Что Вас рассмешило?» – спросил я. – «Всё Ваше лицо в саже». – «Я ведь не в гостях был».

Не обращая внимания на мои слова, она продолжала: «Вы мне так больше нравитесь, посмотрите на меня. Хотите? Я возьму полотенце и сотру сажу с вашего лица». – «Спасибо, – сказал я, поддерживая тон её разговора, – хочу быть в таком виде, чтоб Вам понравиться».

В это время мой товарищ, который остался как бы незамеченным, направился к выходу. «Вы, кажется, пить хотели?» – окликнула она его. Я был восхищён манерой её общения, лёгкостью разговора, лукавством неопределённых фраз. Всё это было ново, не похоже на манеры поведения девушек нашего круга.

Прошло время. Не она, а я начал искать встречи с ней. Если иногда проявлял пассивность, подвергался откровенному недовольству и нетерпению. Всё в ней мне нравилось: внешность и милые капризы, её голос и выражение лица – то ласковое, сияющее, то непроницаемо суровое и холодное. Она была начитана. Любила Паустовского, Бунина, знала наизусть много произведений Некрасова.

Приехала она в Хиславичи из Мстиславля, чтоб закончить школу 2-й ступени. В Мстиславле была только семилетняя

школа. Один учебный год училась она в хиславичской школе, и год тот остался в памяти затвердевшим, непотухающим комком счастья. Воспоминания этого года грели в холодных палатках, светили в мрачных баржах и землянках, крепили дух, когда никаких надежд, казалось, уже не было.

Воспоминания отдельных событий жизни с ней и нашими детьми вспыхивали в мозгу, гасли, растворяясь в волнах их нескончаемых приливов. Нет, не станет она мне чужой, говорил я себе и спихивал с души тяжёлые душевные тревоги о ней. Напротив, воображаемые муки брата не давали мне покоя. От них я не мог отделаться.

Я продолжал работать на базе грузчиком, строителем и разнорабочим. Писем никому не посылал и ни от кого не получал.

Центральная база отдела снабжения Воркутинского лагеря находилась на берегу реки Уса в 60 километрах от Воркуты. Она имела много причалов. В навигационный период здесь работа кипела круглосуточно.

Начальник общего снабжения лагеря Шнипко Сергей Николаевич был начальником одного районного отделения милиции города Ленинграда. После убийства Кирова за непредвидение был перемещён на работу в лагерь. Человек деловой и справедливый, он укомплектовал сеть общего снабжения лагеря людьми деловыми, предприимчивыми и хозяйственными.

Петровский Степан Антонович, Ворона Николай Николаевич, Шкляр Шимен Маркович, Лекней Виктор Августович, Морозов Феодор Антонович, Борг Борис Маркович, Бочин, Соколов и другие имели круглосуточные пропуска, право передвижения по всей территории лагеря от Ухты до Воркуты. Вследствие их активности и предприимчивости самые отдалённые и глубинные лагпункты получали причитающиеся им прод. и вещ. – довольствия.

Они пеклись о снабжении заключённых и себя, конечно, не забывали. Этих крупных крепко сложенных дельцов в лагере знали и порою считали их вольнонаёмными.

Среди этих снабженцев я вращался, и вскоре выданный мне пропуск удлинил мой аркан на расстояние от Усть-Усы до Воркуты. Узкоколейная железная дорога в 60 километров соединяла Усу и Воркуту. В летнее время малогабаритные вагоны заполня-

лись мукой, крупой, сахаром и другими продуктами. Голосистые паровозики тянули их к месту назначения в Воркуту.

Меня зачислили сопровождающим и ответственным за груз экспедитором. Несколько лет доставлял я гружёные транспорты: летом узкоколейкой, зимой санными обозами в 10-15 подвод. Приходилось применять разные способы защиты грузов от посягательства возчиков и других голодных и разутых людей. Ночами не спал. Шагал вдоль обоза от одной подводы к другой. Вступал в драки. Боролся с попытками хищения. Добился, наконец, продвижения грузов без особых происшествий.

Вот тогда в сумеречные зимние дни, когда обоз направлялся в путь, я, сидя на последней подводе, предавался лирическому настроению. Кисет был набит махоркой, карманы в полушубке глубокие, добротные. Спички зажигались и не гасли даже при сильной пурге. Глубоко вдыхался дым, и заволоченные дурманом мысли переносились туда, где остался дом, дорогие и милые лица. Саша имела основание быть мной недовольной. Её детство и юность прошли в зажиточной семье. Недостатка в чём-либо она не испытывала.

Октябрьская революция национализировала помещичье имение, которое арендовал её отец. В годы НЭПа Иосиф Евсеевич Гиnodман, отец Саши, проявил свои деловые качества, и к моменту моего знакомства с Сашей он владел в Мстиславле большим домом и двумя мельницами. Говорили, что главным поставщиком муки для населения Белоруссии был Иосиф Евсеевич Гиnodман.

Потомки богачей легко и бесцеремонно примыкали к строителям новой жизни. Новые строители тогда соблюдали приличие социального равенства вплоть до применения партмаксимума, но прилипали инстинктивно чувствовали, что равноправию совсем скоро придёт конец, и организаторам нового строя достанутся сливки, а массам – работа и нужда.

Процесс этот был неосознанный, но естественный по своему развитию. Саша пришла ко мне как к представителю нового строя, а я обманул её надежды.

Уже к тому времени я ощущал не доведенную до конца концепцию равноправия перед законом, глубокое недовольство поведением вожаков. Естественно, что партийные дискуссии

тех лет углубили моё разочарование, и я стал не привилегированным, а преследуемым. И хотя я из шкуры лез вон, чтоб семья не чувствовала нужды, материальная жизнь наша была далеко не такая, которая могла бы удовлетворить Сашу.

Последовавшее заключение было крахом моего благополучия и, по-видимому, её надежд. Вспоминал я в то время слова моей матери, когда я однажды вернулся домой в необычное время и в подавленном состоянии: «Не связывайся, сынок, с богачами, от них только горе одно». Мать угадала причину моего настроения, хоть и не была она в курсе моих сердечных дел.

Время шло. Наступил вождельный год освобождения, 1941-й. По узкой дорожке на замерзшей Усе ежедневно уходили десятки людей набора 1936-го года, отбывших срок заключения. Уходили знакомые, друзья, но не было ни у одного из них состояния полной всепоглощающей радости. Преодоление пути в 2000 километров до железной дороги было нелегким, изнурительным, но редко кто оставался по вольному найму до навигации. Каждый, кто получал справку об освобождении, устремлялся вниз – туда, где воля, семья и дом.

И в мою сторону повеяло теплым ветром. Однажды утром явился земляк Елисеев. «На волю идешь?» – обрадовался я. – «Да, из огня, да в полымя». – «Не грехи, – попробовал я повлиять на его настроение. – Что дорога страшит?». – «Нет, не в дороге дело. Смоленск не дали, в Ельню направили».

Одарив его махоркой и сахаром, я вышел с ним на Усу. «Что твоим передать?» – спросил Елисеев. – «Скажи, что я здоров, привык и жду в августе освобождения».

Опять Елисеев пробудил во мне массу воспоминаний о семье и Саше. Днём томился, а ночью мучили сны: то дети от меня убегали, то Саша смотрела на меня равнодушно и пренебрежительно.

Ночь с 21 на 22 июня была тихая. Солнце уже сияло вовсю, 10 открытых платформ, нагруженных мешками муки, выглядели белыми мраморными пирамидами. Звонкий паровоз вцепился и рванул их с места вперёд, тщательно вращая колёсами. Я стоял на последней платформе лицом к подымавшемуся солнцу. Природа открыла пылающий расцвет своих красок в буйном, неудержимом цветении. Скорей бы вырваться отсюда. Эти

цветы, это солнце не для нас, не для меня. Цветок не сорвёшь, туча комаров облепит, обожжёт. Под солнышком не полежишь. Кругом мокрые кочки, трясины. Одна только видимость.

Волнующая радость скорого освобождения становится всё ярче и реальней. Уймись, говорю себе, вспомни лагерную поговорку «Приходящий, не горюй, уходящий, не радуйся». Какая радость ожидает меня? Невыразимая грусть нарастает и сжимает сердце холодком. Недавно получил открытку из дома, вернее, от Саши. Пишет: «Получила от тебя привет от Люсиного мужа (Елисеева значит). Говорит, что здоров и скоро вернёшься. Ждём тебя все. Я, наверное, ещё увижу тебя. Пробуду, скорее всего, здесь до осени».

Каждое слово вызывает жгучую боль. Сердце не унимается. Лучше бы не писала.

Заставляю себя отвлекаться. Ложусь на мешки, снова вскакиваю. Ветер жмёт бороду к груди. Раскрываю руки вширь и глубоко вздыхаю. 58 дней остаётся до конца срока. Как дожить? Наступит ли он, день 6-го августа. Представляю, как это будет. Приеду из Воркуты со справкой освобождения, получу продукты, табак я уже заготовил. Куплю билет на речной пароход до Нарьян-Мара. Буду сидеть на палубе. Сидеть днём и ночью. Курить и наслаждаться покоем. Никому нет дела до меня. Все сами по себе, и я – сам по себе. Вот так до Архангельска я буду отдыхать. А там, знаю, начнутся мучения, но об этом не буду. Это потом. Теперь скоро. Ещё неполных два месяца.

Иван Иванович Дымов только вчера поехал в Воркуту. На освобождение вызвали. Счастливчик. Такие погоды. Завтра приедет и поплывёт на волю. Мне еще два месяца. И, конечно, погоды испортятся, и нельзя будет на палубу выходить...

Так в думах и терзаниях я промучился всю дорогу от Усы (Воркута-вом) до Воркуты. Сдав 10 вагонов муки на базу в Воркуте заведующему складом Лопатникову, я зашёл в мучной склад, залез на дальний штабель, примостился в лощинке между мешками и уснул. Разбудил меня Лопатников: «Встань, война началась. Сейчас будет Молотов выступать. Пойдём скорей».

Когда я добрался до репродуктора, у которого стояла кучка людей, я услышал только последние слова Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Я уже

понял, что затаённая необъяснимая тоска по неосуществимой мечте о воле была предчувствием неотвратимого рока.

Через несколько дней вернулся Дымов Иван Иванович. Его и других зеков, вызванных на освобождение, задержали в зоне до поступления указания «не освобождать до особого распоряжения». Такого прямо распоряжения не было, но судьбы тысяч людей были отданы во власть местных начальников лагерей, которым впоследствии было предоставлено право высвободить из зоны за отличную работу.

Война, мы не могли её предположить, тем более предвидеть. Пять лет мы были в неведении, не видели книг, не читали газет ни в строках, ни между строк. Нападение Германии на Польшу отозвалось в лагерях пополнением этапами заключённых поляков.

Из тёмных грязных барж на берег Усы выходили военные и штатские, пожилые и молодые мужчины и женщины. Здесь в окружении конвоя их проверяли и передавали администрации лагеря. Только тогда, в зоне лагеря, мы узнали, что Польшу разодрали как ягнёнка, и как один из пришельцев выразился: «То живое, что не было в ней уничтожено, пригнали и гонят сюда».

Потом стали поступать рослые латыши, коренастые литовцы, сероглазые литовки и мрачные эстонцы. Мы видели, что наша страна ведёт войну, но не предполагали, что и нам покажут кузькину мать. Вот и свершилось. «Оставь надежды, всяк сюда входящий», – сказал я себе.

Неслыханный разгром и отступление наших армий в первые месяцы войны посеяли растерянность и страх среди начальников лагеря. Аппарат 3-го отдела ослабил свою бдительность, жёны мародёров стали заискивать перед обиженными. Письма подвергались менее строгой цензуре.

В это время я получил письмо от Саши из Бузулука Чкаловской обл. Она сообщила, что эвакуировалась с детьми, что родители не хотели покидать дом в Смоленске и что Инночка – моя старшая дочурка – осталась с ними. Письмо в стиле её духа было бодрое, неунывающее, что пока ещё не устроилась, с малыши детьми это не так легко, но надеется, что всё перемелется и будет хорошо. Меня просит писать и не терять их. Тон её письма был примирительный и, хотя упоминание о детях,

находящихся с ней, больно колело, я незамедлительно принял решение чем-нибудь ей помочь.

За 5 лет работы в лагере на моём личном счете скопилось немного денег. Я их никогда не требовал по заявлению, как полагалось, а хранил, как подспорье к освобождению. Возникли две проблемы: как бы получить всю сумму сразу, и как её потом переправить Саше. С первой проблемой я справился легко. Начальник базы Шкляр методом блата помог мне в получении накопленной суммы. Сложнее было с пересылкой. Почтовой лагерной экспедицией заведовала жена начальника 3-го отдела нашего лагпункта. Проходя мимо базы на работу, она встречалась мне каждый раз аккуратно в один и тот же час. Сначала я этому не придавал значения, но через некоторое время старался приурочивать мой выход так, чтоб обязательно её встретить.

Уступая легкомыслию, замечу, что молодая женщина была миловидна и привлекательна, я с удовольствием смотрел на неё, а иногда и засекал её быстрый, мимолётный взор.

В аккуратности явки на работу мы с ней могли соревноваться. Решение было принято, и однажды утром, когда мы приближались, я решительно подошёл ней и, поздоровавшись, спросил, можно ли к ней обратиться с просьбой. «Ради Бога, – взмолилась она, – не здесь, зайдите в экспедицию».

После обеденного перерыва я зашёл к ней. Она приняла деньги, записала адрес Саши и сказала: «Квитанции я Вам не дам, когда адресат деньги получит, я Вас извещу». И добавила, улыбаясь: «Вы не беспокойтесь». – «Я Вам верю», – ответил я, восхищённый её видом и поступком.

Недели через две она вызвала меня в экспедицию и показала благодарственную телеграмму Саши за присланные деньги.

Зимой 1941 года меня и Дымова Ивана Ивановича перебазировали на Воркуту по особому наряду. Начальник отдела интендантского снабжения Воркутинского лагеря Шнипко Сергей Николаевич сам лично привёл нас на центральную базу снабжения и сказал начальнику базы Петровскому Степану Антоновичу: «Эти бородатые французы будут заведывать продуктовыми складами, они грамотные и честные, а работать они научатся, не боги горшки делают».

Так мы стали работниками центральной базы: я зав. прод. складом, а Дымов моим помощником. Войдя в доверие и в силу

специфики дел, мы работали без недостатков, без излишков. Начальство относилось к нам благосклонно.

К 26-й годовщине Октябрьской революции, 7 ноября 1943 года, приказом по лагерю объявлен был список заключённых, освобождённых из лагеря за отличную работу. Из работников базы в списке были я, Дымов и Мурашев, друг.

Это освобождение было символическим и называлось оно «освобождение по директиве». Это означало, что освобождённый остаётся на месте работы, только по вольному найму. Что в любой момент, за какую-либо погрешность, по прихоти или оговору, излишней расторопности или недостаточного усердия, начальник вправе, без суда и следствия, водворить директивника в зону. Так, например, было с председателем комиссии из приёмки грузов Сорочинским. Чем-то не угодил начальству, и однажды вечером пришел вохровец, скомандовал «Соберись с вещами» и загнал его в зону. Так что освобождение нас не очень радовало. Ехать куда-либо без разрешения, переходить куда-либо на другую работу нельзя было. Аркан был прежний, чуть длинней.

Стали поступать письма от Саши, что она устроилась и работает, что Аллочка ей во всем помогает, возится с малышкой. Что от папы, мамы и Инночки писем нет, и очень это тревожит. Несколько раз вспоминала Хиславичи, Сож и спрашивала, помню ли я прошлое. Ответы мои были сдержанные. Старался не упрекать, не жаловаться, не употреблять горьких слов. О Хиславичах писал, как о несбыточном сне.

В 1944 году после освобождения Смоленска Саша с детьми вернулась в Смоленск. Письма Саши в период после возвращения в Смоленск были менее бодрыми, но ни в одном из них не было сетования на лишения или недостатки. Однако я безошибочно оценил переживаемые ею трудности.

По её просьбе я посылал ей письма на смоленский почтамт до востребования. Я ей сообщил, что освобождён условно, и такое положение продлится, по-видимому, до конца войны, который уже проглядывается, что живу в одной комнате с тремя другими коллегами моего качества, начинаем строить дом на случай, если кто из близких или родных надумает приехать к нам жить или повидаться.

В ответ на это письмо она мне быстро ответила, что в наш край доступ закрыт, она справлялась, и ей сообщили, что требуется специальный пропуск от нашего начальства. Пока готово будет наше жильё, писала она, подай заявку на пропуск для меня, Аллочки и Марины (теперь я узнал имя неродной сестры моей дочери Аллочки). Из померкших было трех звёзд моей жизни, две стали проясняться, и я с удвоенной силой включился в строительство дома.

Каждая вырытая яма в мерзлоте, каждый поставленный столб, обвязки нижние и верхние, стропила, – все этапы этого несложного строительства были яркими страницами той, казалось, безнадежной жизни.

Каждый свободный час, каждую свободную минуту мы отдавали нашей стройке, и дом наш рос, как гриб после дождя. Я информировал Сашу о состоянии строительства, писал, что скопил некоторую сумму денег для нее, благоразумия ради, решил их переслать не почтой, а оказией, которая предполагается в ближайшее время.

Бог, однако, был ко мне беспощаден, хотя и милостив. В это как раз время на мою голову обрушилось тяжелое испытание.

При самопроверке наличия товара – материальных ценностей, вверенных в мою ответственность, – я обнаружил недостачу одной тонны сельдей. Тогда за 1 кг – буквально, за 1 кг – украденных продуктов, нашего брата беспощадно приговаривали к 10 годам. При облегчающих обстоятельствах, несомненно, водворяли в зону.

Мы ещё раз проверили наличие, сличая наши амбарные записи с документацией бухгалтерии, и точно удостоверились в недостатке.

В те тяжёлые военные годы, как ни странно, центральная база снабжения лагерей в Воркуте ломилась от обилия продтоваров: сахара, белой американской муки, мясной тушёнки, яичного порошка и прочих продуктов. Складские помещения были доверху набиты продовольственными грузами. Не удивительно, что менее ценные продукты находились под открытым небом на ограждённой территории базы. К этим, менее ценным, относились также высококачественные сорта сельдей и солёной рыбы. Они лежали в бочках, накатанных в большие штабеля по 6 ря-

дов в высоту. Мы не сомневались, что произошла кража. Однако тонну сельдей 10-12 бочек надо вывезти из базы на подводе или машине, а пропуск на тонну сельдей мы никому не давали, даже самому большому ОЛПу №1 шахты Капитальной.

Тогда Иван Иванович Дымов просмотрел документы на расход бочек. Бочки, как тара, учитывались отдельно. Тут он натолкнулся на отпуск 12 бочек. Подняли накладную и установили, что в конце августа 1944 года по накладной №... ОЛПа №45 ВЖД получили соль в количестве 12 бочек. Решено было проверить наличие соли. Это было не так трудно. Поступившая на базу соль навалом затаривалась в бочках из-под сельдей, предварительно промытых и пропаренных в котельной базы. Вес каждой бочки был обозначен мелом на дне. Проверка подтвердила излишек соли. Таким образом, мы установили, что вместо 12 бочек соли было вывезено 12 бочек сельдей. Дальше – больше. Мы выяснили обстоятельства, при которых произошла эта погрузка. Получатель – заведующий каптёркой ОЛПа ВЖД Шухотян – прибыл на базу с двумя подводами получать соль. Я и Дымов были заняты погрузкой машин и вагонов, а Шухотян, шумно горячась, проявлял нетерпение. Я ему разрешил погрузить соль без нашего участия. Штабеля сельдей и соли лежали на открытой площадке недалеко друг от друга. Взял ли Шухотян сельдь вместо соли по ошибке, или нарочно, трудно определить, но согласились с мнением Ивана Ивановича, что сделано было с умыслом, ведь времени у Шухотяна было, чтоб ошибку исправить. Решено было количество сельдей восстановить, излишек соли ликвидировать.

Склад в самое ближайшее время был приведён в полный порядок. Через несколько дней после наших хлопот в установлении порядка в хозяйстве, явился Шухотян.

«Знаешь, – сказал он мне тихо и доверительно, – у меня образовался излишек сельдей, выпиши мне бестоварную накладную». – «Прежде всего, – сказал я ему, – я проверю остаток сельдей в нашем складе, и если будет недостача, тогда, возможно, выпишу». – «Когда ты проверишь?» – спросил он. – «Через недельку». – «Это поздно будет». – «Что тебе приспичило?». – «У меня ревизия была, и обнаружили излишки». – «Много ли?». – «Немного меньше тонны».

«Подлец», – подумал я, и равнодушно сказал: «Поскольку у тебя была ревизия, накладная моя не будет принята и может быть истолкована как незаконная сделка между нами». Поэтому я посоветовал ему объяснить накопление излишков переходящими остатками, неполученными столовой из месяца в месяц.

Он со мной согласился и сказал, что напишет такое объяснение. Ни я, ни он карты не раскрыли, но на всякий случай мы срочно проверили всё наличие наших товаров и подогнали их количество под остатки, числящиеся в картотеках бухгалтерии и наших амбарных книг.

Долго ждать ревизии не пришлось. Комиссия тщательно проверила наличие рыбы, сельдей, соли и – для отвода глаз – некоторые другие продукты наших складов.

Результаты ревизии были отличные. Экономия естественной убыли была немного ниже нормы, принятой нами в порядке соцсоревнования. Я подписал акт ревизии и успокоился, но ненадолго. Шухотяна сняли с работы и при сдаче им материальных ценностей вскрылись другие недостатки, излишки и проделки.

Через несколько дней его арестовали. Шухотян был заключённым, втёрся в доверие и стал каптёром. Он имел пропуск на круглосуточный выход из зоны. Нужды ни в чём не испытывал. Потеряв самоконтроль, он снова попал на конвейер.

Я предчувствовал, что в дело он и меня вовлечёт, потому что в «переходящие остатки» ему никто не поверит. Кухня зеков не может не добрать тонну сельдей в течение двух месяцев. Что он украл, он тоже не скажет. Ему остаётся полагать, что я ошибся при отпуске ему продуктов. Поступил же он худшим образом. У меня якобы оказались излишки, и ему предложено было эти излишки получить и реализовать. Для контроля на вахте я выдал пропуск на 12 бочек соли.

Следователь 3-го отдела Воркутинского НКВД – старший лейтенант Щадрин – из шкуры лез вон в стремлении уличить и привлечь меня к ответственности. К опросу были привлечены человек 10 работников базы. Меня он допросил в последнюю очередь. Мои ответы были краткие и вразумительные: «Ничего я ему не давал, излишков сельдей у меня не было, – так же, как и не было недостатки соли. Наличие товаров – согласно акту ревизии. Всё сходится в соответствии с остатками, данными бухгалтерией базы. Хранение и отпуск товарно-материальных

ценностей отвечают установленным правилам вышестоящих инстанций лагеря. Желание Шухотяна взвалить на меня вину за совершённые им махинации имеет цель запутать следствие и направить его по ложному пути».

В течение двух недель меня вызывали к допросу каждый второй день. Но к концу следствия тон допросов снижался до уровня благопристойной беседы. Временами Щадрин даже улыбался и однажды в моём присутствии отколол такой номер. Когда мы спокойно так разговаривали, вдруг раздался звонок. Щадрин поднял трубку. «Пропусти ко мне», – сказал он, видимо, стрелку на пропускном пункте. В дверь постучали. «Войдите», – сказал Щадрин. В кабинет вошла молодая красивая женщина.

– Фамилия? – громко спросил он её, не пригласив садиться.

Она назвала.

– Имя, отчество и адрес?

Она растерянно отвечала.

– Ты курва! – вдруг бесцеремонно впереv в неё злые прищуренные глаза, прохрипел Щадрин. – Твой муж героически сражается на фронтах, а ты не можешь нахлебаться распутством? Устроила в своей квартире бардак гадам и контрикам на смех.

– Что же, я должна в монастырь податься, когда он уже третий год воюет.

– Если тебе невтерпёж, не афишируй свою потребу, а будь поскромнее. И запомни, если я ещё раз узнаю про такое твоё поведение, я тебя в 24 часа выгоню из Воркуты, поняла?

– Поняла, – сказала женщина.

– Будешь блядовать? – спросил он тише.

– Не буду, – примирительно ответила она.

Она вышла. Щадрин взглянул на меня и сказал: «Правильно я её продрал?»

– При мне бы не следовало, – ответил я.

– Тебе неудобно, или ей?

– Обоим, – сказал я.

– Ладно, – сказал Щадрин, – дело ваше заканчиваю и передаю в ревтрибунал, ты пойдешь в качестве свидетеля.

– Спасибо, – сказал я Щадрину.

Состоялся ревтрибунал. Шухотян был осуждён на 10 лет с поглощением не отбытого срока по предыдущему приговору.

Так закончилась эпопея, причинившая мне много хлопот, горя и неуверенности в благополучном её исходе.

Саше я писал, что строительство дома немного задержалось, но надеюсь, что к получению ею пропуска квартира будет готова. А дом был уже готов. После окончания суда мы с Иваном Ивановичем и Сергеем Иустиновичем Боровко зашли в мою квартиру. Большая светлая комната со стенным шкафом, кушеткой моего изготовления, стол, кровать. Мы сели, и радость, светлая радость разлилась в душе. Мы закурили наш «Норд», и в сладком дыме таяла тяжесть пережитого.

Наш коллега, один из деятелей плеяды снабженцев Воркутинского лагеря – Петровский Степан Антонович, поехал по делам на родину в Минск, сделал остановку в Смоленске специально, чтоб передать письмо и деньги, посланные мною Саше.

В один из первых зимних дней октября 1944 года утром звонили и сообщили на центральную базу из Кожвы по рации, что в очередном поезде проехала моя семья. На следующий день я и мой приятель Моисей Наумович Лившиц пошли встречать гостей.

Поезд только укротил свой ход, как мы вскочили в первый попавшийся вагон. Ступеньки вагонов в то время ещё не были отделены ограждающими площадками. Проскочили один, другой, третий вагон. Проводницы нам улыбались, сочувствовали нашему нетерпению и быстро отмыкали замкнутые двери на переходных площадках.

В купе уже было темно. Слышу знакомый голос Саши, будто не было этих страшных 8 лет, но голос был не тот, от которого трепетало сердце от восторгов, нет. Значит, было опустошившее душу время. И слышу Сашин голос, и чего-то нет в нём.

Подходит Аллочка. «Папочка», – говорит она. Я её крепко обнимаю. На улице мягкий, лениво падающий снег и тихий мороз.

В ярко освещённой кухне нашего дома большой стол накрыт всякими яствами. И чего только не было на столе, разве что свежих фруктов. Но не было недостатка в сухих. Ехали они из Смоленска четверо суток. Продуктов им хватило только на два дня. В поезде из Кожвы наши воркутяне навязали им помощь продуктами, уверяя их, что за Григорием Яковлевичем не пропадет.

Одета была Саша в хорошее тёмно-синее пальто и валенки. На Аллочке была какая-то старая куцевейка с короткими рукавами, на ногах ватные стёганки в чунях. Пятилетняя Марина была одета по-детски хорошо. Я не спрашивал, почему Аллочка так плохо одета. В этом облачении она только до дома добралась.

Утром я ей принес чёрные валеночки по размеру её ножек, а мой коллега по застройке Михаил Петрович Швальбе уже шил ей зимнее пальто. В это время он заведовал швейно-сапожными мастерскими комбината Воркутауголь. Время было такое, что продукты и промтовары выдавали только по карточкам.

Итак, после восьми лет хождения по мукам мы снова в одной семье. Я не спрашивал её, надолго ли? А она во мне была уверена и знала, что упрёков не услышит и покаяния не будет.

Марина с первого дня чувствовала себя хорошо. В первый вечер за гостеприимным столом она была зачарована обилием еды. Не верила, что это так наяву. И когда уходила спать, захватила на всякий случай бутерброд с мясом, – пусть лежит под подушкой.

Все мои приятели находили Сашу красивой и умной, а я старался делать всё, чтоб она ни в чём не нуждалась, чтоб детям было тепло и радостно. Вскоре Саша забеременела, и встал вопрос о новом более просторном жилье. Наша комната в 15 кв. метров при общей кухне была терпима, когда нас было четыре человека. К ожидаемому пополнению в семье надо было подготовиться.

А решено было построить ещё один дом с расчетом передать нашу комнату Швальбе М. П., который к тому времени женился, а мне построить новый. Застройки индивидуальные тогда поощрялись. Давали кредит и выделяли стройматериалы. Михаил Петрович занялся оформлением застройки, а я завозом стройматериалов.

Любочка родилась в апреле 1946 года, а в августе мы переселились в новый дом на той же Первомайской улице. Дом был светлый и просторный. Мы готовились к приезду Аллочки. Она была в пионерском лагере «Артек». Класс школы, в котором Алла училась, получил в награду за хорошую успеваемость учеников путёвку в тогда уж известный пионер-лагерь. Но не только успеваемость здесь играла роль. В этом классе основное ядро успевающих состояло из детей вольняшек 2-го сорта: Алла Ривкина, Майя Гуревич, Валя Канторович, Коровин, Жук,

Иванова и другие. Им бы «Артека» вовек не видать было, но к счастью в их классе училась дочь начальника Воркутлага НКВД, полковника Михаила Митрофановича Мальцева. Майя – девочка прилежная, дружелюбная, тянулась к её успевающим подружкам. Это обстоятельство сыграло решающую роль в организации посылки целого класса в «Артек».

Приехала Алла загорелая, сияющая, черноглазая. Всё в доме вторило её радости и нашему торжеству. Даже солнце не по северному жарко и весело глядело в открытые окна.

Счастье, бывает ли оно полным без горечи, без печали? Теперь, после войны, когда семьи сколачивают разбитые и растерянные осколки. Для моей семьи война началась раньше на пять лет, – в 1936 году.

Саша с Аллой покинули Смоленск и нашу квартиру. Инночка осталась у Сашиных родителей. Теперь нет Инны, нет родителей, нет брата, нет близких дорогих людей. Об этом мы не говорили. Это горе застряло в душе невыразимой болью. Мне предоставили отпуск. За 11 лет – первый отпуск. Едем вместе с Моисеем Наумовичем Лифшицем. Я – в Москву, он – в Минск.

В Москве, в горсправке получаю адрес моей младшей сестры Маши. Иду к ней на Старо-Петровский проезд. Стучу в дверь её квартиры.

«Заходите», – кричит детский голос. Вхожу. Незнакомый мальчик. «Здесь живёт Гуглина Мария Яковлевна?» – спрашиваю. – «Да», – отвечает. – «Где она? » «Мама на работе». – «Кто еще есть в вашей семье?». – «Старший брат и сестрёнка. – «А папа где?». – «Папа был на войне и не вернулся». – «А что делает Алик?». – «Алик работает. А вы кто?» – вдруг спросил мальчик. – «Я брат твоей мамы». – «Дядя Гриша! – воскликнул мальчик. – Вы где-то далеко были». – «Да», – ответил я.

Сева встал и заметался по комнате. «Сиди, сиди Севочка», – успокоил я его. От Севы я узнал, что и старшая сестра Соня с семьёй в Москве, и Риммочка – дочь Бориса – у дяди Исаака, и что тетя Лиза живёт в Хиславичах.

К вечеру мы с Севой пошли за Лилией, которая была в детском саду.

Пришла Маша. Встреча была без слёз и без радостей. Бедность, изнурительная работа, гибель родных, что хорошего?

«Отец умер в 1939 году», – она, склонив голову, тихо заплакала. Я молчал. Вспомнил отца, мать, нашу большую дружную семью.

Пришла Риммочка – тихая, без улыбки, без радостной искрёлки в глазах. Тут-то натянутые до предела нервы не выдержали. Слёзы неудержимо полились из глаз.

В тот же день к вечеру мы с Машей поехали к Соне в Останкино, где Пушкинский городок. Неожиданная встреча со мною всех в её семье обрадовала. Здесь обстановка была более отрадная. Муж Сони Абрам работал портным, их старшая дочь где-то пристроилась, а Соня по старинке вела хозяйство экономно, готовила вкусно и сытно. Кроме того, владея в совершенстве портняжным ремеслом, она ухитрялась шить детские платица, рубашки, выносила их на рынок и успешно меняла их на овощи, фрукты.

Встретился я также с Исааком Новиковым – родным дядей Риммы по матери, который стал её приёмным отцом. В годы ликвидации кулачества и частных предпринимателей семья Фалы Новикова подалась в Крым и там вступила в Еврейский колхоз. Старший сын Фалы Исаак имел свою семью. В годы войны евреев Крыма постигла участь своих братьев по оккупации. Исаак был на войне и уцелел. В Крыму он никого своих не нашел, поехал в Смоленск, где раньше проживала его единственная сестра Соня, которая была женою моего брата Бориса.

В Смоленске он узнал, что Борис погиб в 1937 году, Соня не эвакуировалась и погибла, но их дочь Римма в начале войны, будучи в детсаду, была эвакуирована вместе с другими детьми. И поехал Исаак по пути движения детсада, который менял своё пребывание в зависимости от обстоятельств. Следуя из города в город, он нашел её в Томском детском доме. Он привёз её в Москву, удочерил, устроился и последние годы жизни всецело посвятил Римме. Когда я обмолвился, что готов взять Риму к себе на Воркуту, он сказал спокойно и разумно: «Римме будет лучше в Москве, я с ней не расстанусь и не откажусь от материальной помощи, чтоб Риммочке было хорошо».

С тех пор Римма живет в Москве, закончила московский Политехнический институт. Преуспевает, имеет свою семью. Родственники её любят, уважают. Она стала связующим звеном всех-всех наших родичей, близких и далёких.

Собрался я ехать в Хиславичи. Белорусский вокзал не изменился. Толпы народа плотной стеной примыкали к кассам. Кассы будто и не работали.

Говорили, что на Смоленск билеты проданы уж на неделю вперёд. Безуспешно было намерение наводить справку. Хвост к справочному бюро заканчивался в восьмирядной гигантской спирали. Приходилось верить, что билетов нет, и что их не продают.

В невесёлом раздумье о несовершенстве нашего житья я потолкался среди плохо одетых изнурённых людей. Вдруг объявили, что формируется товарно-пассажирский поезд №501, который будет следовать до Смоленска. Назван был зал и номер кассы, где будут продавать билеты. Люди кинулись по указанному направлению. Я оказался близко к этому месту, был 31-м и через 20 минут стал обладателем билета.

На посадку я пришел за 2 часа до отхода поезда. 501-й товарный порожняк был набит народом. В открытых широких воротах вагонов стояли демобилизованные солдаты, мужики с ящиками, бабы с мешками.

Молодая крестьянка протянула руки солдатам, подав знак, что хочет садиться. Два солдата подхватили её и потянули вверх. В это время стоявший внизу солдат обхватил ее ноги и вытянул их. Женщина оказалась в горизонтальном положении, тут подскочил еще один и, подняв подол юбки, обнажил круглый белый зад. «Ось це гарный, белий, белорусский», – смаковал смуглый солдат-украинец. Под громкий смех женщину втащили в вагон.

Вдруг я увидел в толпе воркутянина, рабочего базы 2-го района.

«Борисенко, – крикнул я, – ты разве смоленский?». – «Да, – обрадовался Борисенко, – поедем вместе». – «Видели, как надругались?». – «Обнаглели, гады».

Мы взобрались в открытый красный вагон, поставили свои чемоданы и уселись. Вагон был оборудован нарами. В углах нар лежали женщины. Рядом на корточках сидели мужчины. Кто-то на верхних нарах рассказывал непристойные небылицы.

Дорога тянулась тягуче медленно. Около каждого полустанка поезд останавливался, пыхтел и чадил и подолгу стоял. Утомлённые сутолокой люди спали.

К жестким лежанкам и нарам я давно привык, но спать не мог. Мысленно возвращался ко времени моего последнего отъезда из Смоленска, когда из кузова грузовой машины, на полу которой нас 31 человек осуждённых везли к ж/д станции, мой земляк Лаповок Моисей вдруг в полный голос крикнул: «Сгорел бы ты, Смоленск, дотла». И неугасаемая отчуждённая глаз моей жены Саши, когда я по вызову подымался в столыпинский вагон.

Думы, раздумья, а время к пасмурному утру довело нас до вокзала. Смоленск 1947 года – пустыри и развалины. Люди в телогрейках и чунях. Борисенко стоял около меня растерянный. «Куда деваться, – промолвил он, – не узнаю здесь ничего». – «Мне, – говорю я, – в сторону Брянска до станции Починок, а тебе, по-видимому, в другом направлении». Мы крепко пожали друг другу руки и разошлись.

Шумно трепыхался старенький трамвай. С небольшим саквояжем я направился в город пешком – к мосту, висевшему над широким полотном, по которому расстилались линии блестящих ржавых рельс и порыжевшие старые вагоны.

Свернув в улицу налево, я вышел к Базарной площади. Было еще рано, и до моста через Днепр город находился в прежнем очертании. Вступаю на железный мост через Днепр, который делит город на верхнюю часть и Заднепровье. Поразительно обмелела река. По замусоренным берегам лодки, будки, плоты. Мост над рекой кажется непомерно высоким и тяжеловесным.

Вхожу в главную Смоленскую улицу Советскую. Слева, где был кирпичный кинотеатр и охотмагазин, только развалины, а с правой стороны, где в гору начиналась Резницкая улица, – поросший бурьяном не то проход, не то пустырь.

Медленно поднимаюсь вверх по Советской главной улице. Большой Успенский Собор цел. Кирпичная стена вокруг него местами развалена. Сохранились дома Павлова, Красной Армии и дом, на углу которого висят часы.

Часы – это центр города, только спросишь, как дойти до какого-нибудь места, и тут же последует ответ: «До часов и налево», или направо, или еще дальше немного по Советской.

От часов сворачиваю направо в улицу Пушкина и касаюсь сквера Блонье. По протоптанному в траве дорожкам озабочен-

но спешат прохожие. Кое-где наспех сколоченные скамейки. Я сел на краю одной из них и дивлюсь безлюдью этого когда-то шумного, праздного уголка Смоленска. Здесь около ограды вокруг памятника композитора Глинки беспрерывно играли и возились дети, молодежь, взрослые.

Вглядываюсь в прохожих, надеясь увидеть кого-либо знакомого. Впиваюсь взглядом в приближающегося человека с семенящей походкой. Он ли? Так ходил наш давний земляк Идл Локшин, – наш сосед, сын моего Ребэ по имени Хаче. Он идет по дорожке, торопясь мимо. Я окликнул его: «Идл?». Он мгновенно остановился, посмотрел на меня, на мою бороду и, расширив глаза, промолвил: «Гиршэлэ?». Узнал, дорогой.

«Выжил, – сказал он, – а мы здесь были на смерть не приговоренные, а обреченные». – «А ты? Как уцелел?». – «Я в армии был, как говорится, на подхвате, ведь по возрасту я уже старик. И вот по первой демобилизации. Здесь еще наши земляки Лейб Сандлер, два сына Шоя-Довида Липкина (столяра), еще кое-кто. Редко встречаемся, потрясённые горем».

Про меня он слышал. Долго мы не разговаривали. Он спешил на работу.

Коснулся я великого горя, и уже не надеюсь встретить еще кого-либо, побрел на вокзал. В ожидании поезда на Починок вглядываюсь в толпу снующих пассажиров и, как бывало раньше, может быть, натолкнусь на кого-либо знакомого. Нечто подобное в этом роде полагал и ныне. Увы! Стерлись грани возрастного состава людей, времени и массового истребления. В подошедший поезд я вскочил и втиснулся в скамейку, на которой сидели трое. Опустив голову, я сладко уснул, а в Починке проснулся, сидя уже прижавшись к стене вагона. Починок – станция в 30 километрах от моего родного местечка Хиславичи. В Починке проживала семья моей тети Рохили.

На первой же улице среди старых домов и развалин мне указали, где живут Фрагины. Старший сын этой семьи Борис рассказал мне, что отец семьи Рахмиэль в начале войны, сидя на крыльце их большого нового дома, был смертельно сражен осколком разорвавшейся бомбы. Возили его хоронить в Хиславичи он и брат Гиле.

Возвращаясь с похорон домой, они уже сталкивались с отступающими солдатами. Не мешкая, семья подалась в эвакуацию. Мать их Рахиль не перемогла тяготы странствования и по дороге, где-то в Сибири, умерла и похоронена на развилке дорог между двумя деревнями. После войны семья вернулась в Починок. Дом их сгорел, и поселились две семьи братьев в двух развалинах, напоминающих жильё.

Среди евреев, вернувшихся после войны в Починок, были и хиславичане. Нового пришельца встречали кучно, великодушно. Неуёмная боль выражалась в худых небритых лицах мужчин, выполняющих посмертный обряд траура по уходящим в вечность.

Ехать в Хиславичи придется на попутной грузовой машине. Другого транспорта не будет, и мне показали площадку, где машина останавливается.

Водитель меня предупредил, что в кузове придётся сидеть или стоять – в зависимости от груза, которым машина будет заполняться. Между мешками и бочками человек 5 пассажиров разместились на своих вещевых упаковках. Молча, непрерывно подпрыгивая на буграх каменистой дороги, направляюсь к родному моему истоку. Проезжаем убогие деревушки, мне знакомые и очень постаревшие Хмора, Киселевичи, Зимницы. Еще весна в разгаре, а людей на полях не видать, не видно их и в хатёнках, и возле них. Подъезжаем к деревне Черепово, 8-9 километров до Хиславичей.

В Черепове была церковь, шпиль купола которой виднелся сразу, как выезжали из Хиславичи в сторону Смоленска. Теперь от этой церкви остался четырехугольный кирпичный остов, кое-как неряшливо покрытый досками. Была здесь и небольшая мельница на запруде ручейка. Теперь здесь мосточек, дрожащий под колёсами машины.

Фролово – последняя по пути деревня на склоне правого берега реки Сож, протекающей вблизи. Натужно подтягиваюсь с намерением опираясь на заднюю стенку кабины, встать на ноги и смотреть на дорогу, подымающуюся в плоскость, где расположено местечко. Вот и мост через реку Сож. По длине и высоте он раньше соответствовал полноводию и ширине реки. Теперь гляжу с высоты машины на протекающую внизу ре-

чушку и думаю, почему и Днепр в Смоленске будто захирел, и Сож на подступах к Хиславичи позеленел и обезвожен.

Все течет, все меняется. А Хиславичи как изменились? Машина тянет в гору, и я сейчас предвкушаю появление крыш домов, деревьев, избышек с черными крышами и домовыми трубами.

Подымаемся к высоте, на которой расположен посёлок, и глазам не верю. Весь он просматривается насквозь. Ни деревьев, ни хат больших. Шпили двух церквей над кучей почерневших хатенок, будто туманные призраки над поглощенными в огне грешниками. Я попросил водителя остановиться около квартиры Черняка, полагая, что его все знают. Он до войны был председателем поселкового совета, и после, как с войны вернулся, снова им стал.

Моя сестра Лиза – жена Черняка Г. С. – встретила меня непрекращающимся потоком слез и причитания. Из эвакуации в Хиславичи вернулись 14 семей (45 человек) и два отдельных лица. Всего 47 человек. Лейтес А. Х. (3 человека), Черняк Г. С. (5 человек), Липкин Л. (4), Сонин (4), Гуревич Бенче (3), Тиохин Борис (5), Черняк Шэме, Черняк Гиле, Атласнер (1), Евзинов (2), Росин (3), Сорина (4), Торбочкин (2), Хатуль (2 сестры), Горелов (3), Коган Ида с двумя мальчиками.

Через час в доме сестры собрались А. Х. Лейтес, Сорина Б. М., Бенче Гуревич и другие. Разговоры, суждения, судьбы и всё вокруг неясных обстоятельств гибели людей местечка. Было загадкой как, где и когда это было совершено.

Всё русское население посёлка, включая мужчин призывного возраста, оставалось на месте, и никто не видел, не слышал и даже не предполагал, что такое было.

Верно, что с 8 по 10 января 1946 года в Хиславичах слушалось дело группы изменников родины, творивших чудовищные злодеяния на территории Хиславичского района.

К ответственности были привлечены И. Шивандин – бывший нач. района, И. Мельянцева – заместитель нач. района и переводчик, А. Хлиманков – бывший следователь полиции. Дело рассматривал военный трибунал Смоленского округа. Шивандин и Мельянцева были приговорены к расстрелу, Хлиманков – к 20 годам каторжных работ. Осуждённые не были коренными

жителями Хиславичи, а приезжими работниками довоенных советских учреждений.

Однако кем бы ни было выполнено такое массовое кровавое злодеяние над мирным невинным населением, живые, оставшиеся в местечке, не могли не знать, не видеть, не слышать о произошедшем.

Вернувшиеся из эвакуации еврей-хиславичане натолкнулись на непроницаемую стену молчания, при попытке что-либо узнать никто ничего не видел, не слышал. Не слышали, как расстреливали, не видели, как закапывали 783 человеческих тела.

Зарок молчания детей, стариков и взрослого русского населения, – как такое объяснить? Большинство населения Хиславичи призывного возраста не было мобилизовано, потому что оккупанты вошли в Хиславичи почти через три недели после начала войны.

Всё, чем жило местечко, оставалось на месте. Больница, аптека, мельница. Много промышленных артелей. В чулочной артели «Стандарт» работали 300 человек. Колхоз «Большевик», две церкви, 9 синагог.

Колхоз успешно продолжал свою деятельность. Немцы его налогом не облагали, и колхозники тем предовольны были. Коней своих держали в теле, присвоили им клички убиенных евреев: «Талалэм», «Хатуль», «Ладный» и другие. Все общественные уборные ямы посёлка были внутри обложены мраморными плитам памятников еврейского кладбища, золотыми надписями к видимой стороне. Подходы к хатёнкам, примыкающим к еврейскому кладбищу, тоже были выложены такими же мраморными плитами.

Стало известно, что многие из мещан посёлка выполняли обязанности полицаев и старосты. Так, например, сыны нашего соседа по Заводской улице Подмастерьева Григория – Саша и два младших, Игнат и Иван, мои ровесники – были полицаями, а Саша старостой во время оккупации. Их видеть и слышать не приходилось. При освобождении Хиславичей в сентябре 1944 года все по возрасту военнообязанные были мобилизованы и отправлены на передовые линии боев с отступающими немцами. В боях под Кричевом все они погибли.

Да, они погибли. Но их семьи, родители, жёны, дети жили и живут, и не было случая, чтоб кто-нибудь вразумительно ответил на вопрос. Настойчивые вопросы наталкивались на стереотипные краткие возражения: «Не видели, не слышали, мы сами боялись». Что сами боялись, это понятно, но некоторые из отобюролизированных, которые уцелели и продолжали воевать до окончания войны, называли себя участниками и в разговор на эту тему не вступали.

Между тем, ребяташки при нашем появлении на улицах кричали «недобитки понаехали». Я спросил председателя Черняка: «Долго ли так будет?». – «Наше государство, наладим, – говорил он, – не всё сразу».

До самой его смерти в больнице от аппендицита в 1960 году было и оставалось так в Хиславичах.

К приезжим относились спокойно, никто из эвакуированных не намекал на ограбленные квартиры убиенных евреев. Весна стояла теплая, солнечная, мы часто собирались на берегу реки Сож и предавались горестным раздумьям уж не только о пережитом, но и о будущем нашем устройстве. На берегу реки собирались большей частью подростки семей эвакуированных и те, которые по возрасту уже не работали. К работе никого не принуждали. Среди тех, кто прибыл с войны по первой демобилизации, были и те, которые потрясенные гибелью семей, безмолвно шатались по местечку и втихаря уходили неведомо куда. Черняка Гилю часто видели около руин дома, где до войны проживала его семья, утешения до него не доходили, и однажды утром его нашли повешенным на чердаке какого-то дома. Такой же демобилизованный Хаим Алтерович Липкин самовольно утонул, когда до него дошли слухи о гибели Ханэ-Леи, его жены и двух детей.

По вечерам мы собирались у крыльца дома председателя поселкового совета Черняка Г. С. или у крыльца Сориной Беллы Марковны. Теперь она уже Вера Марковна, приехала в Хиславичи после окончания смоленского еврейского Педтехникума в качестве учительницы хиславичской еврейской школы. 18-летняя Белка – яркая, сверкающая блондинка – завоевала всеобщее внимание. Поклонников у неё было предостаточно. Самым успешным оказался секретарь Хиславичского райкома партии

Сорин Ар. Дов. К началу войны 1941 года семья Сориных состояла из пяти человек: счастливые молодожёны и трое ребят.

С первого же дня войны Сорин был мобилизован. С тремя малыши детьми она не успела, а может быть не решилась на рискованный путь эвакуации. С детьми переехала в недалекую деревню Пыковку к женщине, которая трудилась у неё дома в качестве домработницы. Уже в первые месяцы войны женщина, приютившая ее, говорила, что по деревне ходят слухи о том, что в нашем доме поселилась еврейская семья. Уложив спать детей, она вечером пошла к старосте села. Она ему сказала, что она учительница, русская, но была замужем за евреем и у нее трое детей. Теперь вы все знаете и в ваших руках жизнь моя, моих детей. Вы можете спасти меня должным советом или передать во вражьи руки.

Выслушав ее легенду, старик молча долго на нее смотрел и сказал: «Скоро придет мой сын-комсомолец, посоветуемся, как делать». Окрыленная надеждой, она присела.

Пришел сын, поздоровался, и отец, не тая, подробно изложил ему причину посещения женщины.

Так же решительно сын посоветовал отцу выдать ей справку, что она русская беженка и поселена в школу, пустующую на отшибе по причине ухода учителя на войну.

«Тогда придется Вам идти в Хиславичи, в немецкую управу за назначением на должность учителя и получением зарплаты», – сказал староста. Эти слова повергли ее в опасение. Она знала, что школьным отделом в управе ведает учитель хиславичской семилетней школы Ржецкий Евгений Владимирович, с которым она не раз встречалась на учительских конференциях. Поблагодарив старосту и сына за совет и справку, она с тяжелой тревогой нахлобучила на себя старый полушубок и, обвязав голову серым поношенным платком, в стоптанных валенках поплелась в Хиславичи.

Школьный отдел немецкой хиславичской управы был в отдельной небольшой хатёнке, и это успокоило Сорину. Была она к нему недоверчива потому, что Ржецкий выделялся среди всех учителей особым видом и поведением. Высокий, дородный, его часто видели на лыжах с ружьем за спиной и в сопровождении крупного пса, мчащегося на охоту. Охотников часто

видели в Хиславичах, но лыжи были новым удивительным средством передвижения. Еще он преподавал немецкий язык, рисование, пение, естествознание. Как учителя, его любили и уважали. Единственное, чем он не был оделен, это предвзятым отношением к нему, как к представителю религиозного культа, а выразалось это в том, что жил он на дворе Борисоглебской церкви, где жили преподаватели школы Елена и Ольга Евстафьевны – дочери священника этой церкви.

Единственная надежда Беллы Марковны была в том, что Ржецкий её – жену секретаря райкома и учительницу спецшколы, молодую и интересную женщину – не узнает. Стоя перед ним бессловесная и растерянная, она показала ему справку старосты района и попросила его назначить на работу в указанную школу. Ржецкий и вида не подавал, что он её без труда узнал, и выдал ей документальное назначение управления на должность учителя школы.

О том, что он её узнал, свидетельствует последующий факт, описанный Эллой Максимовой в журнале Смена 1972 №02 (1072) в статье «Честь имени»: «Потом специально приезжал к старосте предупредить, чтобы берег семью». Сказал: «Отвечать будете головой». Своей Ржецкий рисковал не в будущем, а в настоящем, поскольку приказ гласил: «За сокрытие коммунистов и евреев – расстрел».

Однако в то время Сориная и сама этого не знала и полагала, что Ржецкий её не узнал. Так, все годы оккупации она тревожно, но благополучно провела в деревне и сохранила детей. Затем ей удалось узнать адрес мужа в армии. Она описала все перипетии своей тревожной жизни в районе оккупации. Как-то состоялась встреча Сориной с Эренбургом (автором труда «Люди, годы, жизнь»), который обратился к ней с письмом с просьбой изложить подробнее, как она с детьми уцелела.

В таких рассказах и переживаниях проходило лето 1946 года. Кроме возвратившихся из эвакуации, неведомо откуда приехали Евзиковы – два брата, Росин (3 человека), Торбочкин, Коган Ида с двумя мальчиками. Однажды я увидел этих мальчиков в лодочке-душегубке. Они детскими самодельными лопатками лениво гребли тихие воды и голосисто верно пели: «Что ты поздно бредешь по деревне, что ты девочкам спать не

даешь». Вот так мы начинали снова объединяться и что-то затевать по обновлению нашего высохшего истока.

Гиршл Черняк, председатель поселкового совета, и А. Х. Лейтес, старый неизменный корреспондент еврейской газеты «Дэр Эмес», участвовали в составлении списков расстрелянных и убиенных.

Мы узнавали о многих уцелевших, которые проживали в разных недалеких местах от Хиславичей, – в Смоленске, Москве и Ленинграде. И стали налаживать связь с ними. Моё там отпускное краткое пребывание и общение с обездоленными, потерявшими основу жизни в родном своём истоке и лишёнными возможности находить её где-нибудь в другом месте, породили во мне неизбывную, обессиливающую тоску по моему местечку.

Я вернулся домой в Воркуту в надежде что-нибудь сделать, но не тревожить память жены, которая вернулась в семью. Дети вокруг щебечут. Мысли о нашей старшей дочери Инне, погибшей вместе с Сашинными родителями неизвестно где и когда, не должны её тревожить и обуревать. Я в ответе за семью и должен заботиться о ней так, как это делали мои родители.

Прошёл ещё год, и родилась моя младшая дочь по имени моей умершей сестры Гали (Голдэ). В жаркий июньский день я пошёл в роддом, и мне вынесли на показ запелёнутого ребенка с открытыми большими чёрными глазами. Так осмысленно, спокойно смотрело на меня дитя, что мне хотелось взять его из рук чужой женщины и унести домой. Сестра, поднося ребенка, будто опередила моё намерение и, властно овладев ребенком, ушла в палату.

Галинька росла в окружении Аллы, Марины и Любы. Не болела, не капризничала, и наш врач Душман, осматривая и прослушивая, говорила: «Шимшен гагибер» (Самсон). И снова мы поехали в отпуск всей семьёй в Хиславичи в 1948 году. Галочка была в пелёнках, а мы были молоды, окрылены счастьем выросшей семьи. Не страшен нам был путь с Заполярья в глубину России с малыми детьми. Пеленки Гали сушились в открытом окне купе мчащегося поезда. Уже после Печоры мне это запретили делать, чтоб движенцы не приняли за предупредительный сигнал.

Дорога эта запомнилась постоянными заботами по обходу мытарств, связанных с прохождением санитарной обработки на узловых станциях. Одну такую обработку мы прошли в Кожье. Мы все должны были в вокзальной бане (приспособленном помещении) мыться в едва тёпленькой водичке и получить справку, что прошли санобработку. Последующие обработки я по-воркутински нахально обходил блатными приёмами. За вознаграждение получал справку, что семья (имярек) прошла санобработку в таком-то пункте.

Этот приезд в Хиславичи запомнился мне неожиданными встречами. Утром второго дня приезда, едва открыв глаза, увидел добрые глаза сестры Лизы. «Гриша, – сказала она, – на крыльце сидит старая наша учительница и хочет тебя видеть».

«Учительница? – спросил я. – И почему на крыльце?». Будто не ведал, что вся малая хата сестры и жены председателя Хиславичского совета Черняка была заселена их семьёй из пяти человек и нашей семьёй из шести так, что мы все едва спать привольно укладывались.

Я вспорхнул, умылся, вышел на крыльцо. «Здравствуйте, дорогая Елена», – громко сказал я. – «Узнал меня, дорогой наш ученик!». – «Как же не узнать? Помню Вас, Вашу сестру, Вячеслава Евстафьевича и всех вас никогда не забуду». – «Мы знали, – сказала она, – что вы тоже были в заключении, и очень сожалели. Теперь, после войны, когда подуло каким-то новым ветром я, мы – оторванные и отжатые в сторону этим новым – хотела бы поговорить с Вами, человеком бывалым, о следующем. У нас есть племянник – юноша, сын сестры. В связи с новыми веяниями и под влиянием своего дедушки, которого он очень любит, заявил нам, что хочет поступать в духовную семинарию. Все наши доводы и уговоры опровергаются настойчиво силой его юношеской убеждённости. Мы бы хотели услышать что-нибудь касающееся этого ныне послабления в отношении атеизма, временное ли это просветление или уступка пострадавшему народу».

И потом вдохновенно рассказала мне, что в единую нынче Борисоглебскую церковь прибыл в служение молодой, совсем молодой священник с молодой женой. Живут они, кажется, близко около вас. Я благодушно подтвердил, что этот молодой

священник живет недалеко от нашего дома, симпатичный и приветливый человек. Однако судить по этому обстоятельству намерения правительства конечно трудно. Тем более, что режимное состояние общественной жизни людей к лучшему не меняется. Однако если юноша убедительно настроен, пусть идет по избранному пути. Молодежь – наше будущее, и им определять свою жизнь и счастье. Не сооружайте ему препятствий и скажите мне, пожалуйста, знаете ли Вы что-нибудь о Ржецком.

Всё, что я узнал в то время, касалось того, что Ржецкий после изгнания немцев был арестован за сотрудничество с немецкой управой во время оккупации. Подвергся тяжёлому давлению и вряд ли одолеет невзгоды, а вины его нет никакой. Он кроме пользы никому вреда не причинил. Были у меня и другие встречи.

В предыдущих главах я писал о ленинской коммуне в Городище Хиславичского района. Там была организована коммуна, парт- и комсомольская ячейки. Это было одно из первых доколхозной волны и единственное в районе сельхозтоварищество. Поскольку подростки этой коммуны, комсомольцы, учились в хиславичской школе, мы дружно общались с этими ребятами-представителями деревни, до сих пор еще не втянутой революционной волной. Помню ребят Савченко, братьев Гершанков, Шабловского и других. Будучи секретарём комсомольской ячейки в школе, я старался вовлекать их в нашу комсомольскую ячейку с тем, чтоб общаться и увеличить сторонников новой жизни. Удалось ли нам это, или нет, судить сейчас не могу, но тогда нам казалось, что ребята свои, активно-революционные, вдохновляющие.

В первый мой приезд в Хиславичи я был окружён людьми, измученными годами эвакуации, неустройства, голода и лишений. Каждый рассказывал, изливая душевную боль. С подросшими детьми мы привольно плескались в тихо текущей реке Сож, превозмогая неуёмную печаль по нашему уже не существующему местечку.

В следующий приезд я имел удовольствие встретиться с упомянутым мной комсомольцем городищенской коммуны Савченко. Подойдя к крыльцу почтового отделения связи, я

увидел знакомого человека, и пока медленно к нему приближался, вспомнил. «Не Савченко ли?» – «Точно, я».

Про меня он уже слышал. Мы крепко обнялись. Десять лет он отбыл в заключении по формулировке. Спрашивать за что – уже не надо было. Теперь работает там же, в посёлке. Выручает нашего брата Петя Ловрененко.

– Помнишь его? – спросил меня Савченко.

– Как не помнить.

– Так вот. Теперь он зав. Смол. облоно.

– Вот как, – сказал я.

А старший Ловрененко Федя? А Шабловский? Оказалось, что все, кого знал, не привлекались, благополучно устроились.

В какой-то школе района работает один бывший заключённый, студент второго Московского университета Зуев М. Еф.

– Зуев? – спросил я. – Ведь он учился во втором МГУ на общем экономическом отделении, жил со мной в одной комнате на Усачёвке, был одним из ярких центристов. Не мог он быть даже подозреваемым в каком-нибудь антипоступке!

– Всё верно, – сказал Савченко, – но по окончании университета за верность партии и прочие дела был послан на парторботу в Краснодарский обком партии. Когда был арестован секретарь Краснодарского обкома, все инструкторы, начальники отделов были тоже арестованы, в том числе и Зуев. Он отбыл десять лет на Колыме. Он смоленский, приехал в Смоленск, пришёл в облоно голодный и полураздетый. Петя его одел, обул и направил на работу в Хиславичский район.

Состоялось и моё с ним короткое свидание. Было совещание учителей Хиславчского района, о котором я был своевременно оповещён. Школа находится на опушке парка в бывшем графском доме, и знаю я, что до начала совещания учителя с удовольствием прохаживаются по аллеям парка. Я пошёл в парк, встретил товарища по местечку, с которым встречался при первом моём приезде. После обмена приветствиями я его спросил, не знает ли он учителя Зуева.

– Да вот он, на той аллее ходит!

Я мигом извинился и направился туда. Подошёл к нему и говорю: «Здравствуй, Зося». И по-библейски он мне ответил: «Голос – голос Якова, а руки – руки Исава. Гриша, ты бородатый?».

Объятья, разговоры, разговоры.

Так, после долгих и многих встреч, отдохнувшие мы поехали в Воркуту. А Савченко говорил: «Поедем в Смоленск, Петя определит тебя в хорошее место».

Это лето прозвенело, будто откликом чудесного сна ожившего местечка. Мы встречались на травянистом берегу с пожилыми, уже не работавшими, и молодёжью, которая еще не успела окунуться в трудовую жизнь. И те, и другие испытали ужасы пережитого военного времени и рады были каждому солнечному дню удачливого года. Я впитывал в себя рассказы, встречи и думал о том, знают ли выжившие и живущие ныне в других городах о том, что местечко наше ожило, и пульс жизни с каждым днём бьётся сильнее.

Мы стали готовиться к отъезду. Всё больше и теснее общались оставшиеся. На посадке и пересадках, своевременно нами оповещённые, нас встречали родные и знакомые. И добрались мы благополучно к нашему домику в Воркуте. Уютному и тёпловому. Я снова приступил к работе, и не было дня, чтобы не писал землякам и с упоением читал ответы друзей.

В Москве по провидению судьбы я случайно зашёл в московский универмаг, что против Большого театра. Как всегда и привычно, ко всем прилавкам большие очереди, сбивающиеся в кучу. В одной из куч я увидел знакомое лицо. Я примкнул к очереди и пристально смотрел на него. Он засёк мой взгляд. И заинтриговал меня недоумённым волнением. «Значит, – подумал я, – он взволнован моим вниманием к нему».

Улучив момент, я смело подошёл к нему и, протянув руку, сказал: «Здравствуй, Мейше Гон!». Это был Моисей Лейтес. Он просветлел, улыбнулся и спросил: «Фун Хиславич?» (Из Хиславичей?). – «Неужели не узнаёшь?» – спросил я.

– По голосу, габейн, бейн Яков. Голос сына Якова – Гиршл?

– Да, я!

Он вышел из толпы, охватил меня, прижавшись ко мне.

«Ты когда освободился?» – спросил он. – «Уже четыре года». – «А я только недавно». – «Ты тоже сидел!? – спросил я, – За что тебя посадили и где отбывал?» – «Посадили по 58-й и отбывал в Абези, около Воркуты». – «А я в Воркуте был».

Затем последовал его рассказ, как он попал, как он страдал от голода, холода и тяжёлых работ. «Но Бог меня пощадил и прислал избавление в лице нашего земляка Арона Стиллера». – «Он тоже сидел!?» – спросил я. – «Нет, не дай Бог! Он меня спас. Он ведь работает каким-то начальником в ГУЛАГе. И однажды он приехал с каким-то обследованием в наш лагпункт. Я попался ему на глаза. Он подошёл ко мне и сказал: «Ты повремени, я поговорю с вашим начальством, и оно тебя устроит на лёгкую работу». После его отъезда нарядчик меня вызывает, приводит в отдельную каюту барака и назначает парикмахером. С тех пор я стриг и брил зеков, начальников. Работаю в тепле, перепадает хлеб, сахар и даже иногда масло. Короче, я был спасён». – «А связь ты с ним имеешь?». – «Нет, нельзя. Но я никогда его не забуду за его такое отношение ко мне. Когда я увидел тебя в магазине, я подумал, что меня опять заметили агенты, и забеспокоился, что снова на крючок попал. Твоё «Здравствуй, Мойше Гон» меня озарило».

Узнал я, что братья Мойше Гона живут в Москве и стараются его устроить и прописать.

Арэ Стиллер. Мой земляк и сосед по Хиславичам. В своё время приезжал в Москву, где бы устроиться. Заходил ко мне в общежитие и спал со мной на койке, пока не определился на фабрику «Красная Роза» в Хамовниках, там же его определили в общежитие. Поступил в партию. А через некоторое время Хамовнический райком партии набирал партийцев на работу в Туркменскую республику, где секретарём ЦК был наш хиславичанин Яков Попок. Вместе с ним – Попок и еще один мой друг и ополченец Михаил Галковский. Михаил там определился от Аркадия Стиллера на партийную работу в органах. Так я узнал, что в Москве обитает Яков Стиллер, и вскоре я с ним встретился.

На этом воспоминания Григория (Гирша) Ривкина обрываются. Прилагаемое письмо к младшей сестре Маше дополняет и завершает рассказ автора.

Приложение №1.

Письмо Гирша Ривкина младшей сестре Маше, воспоминания о праздновании Пурима в местечке Хиславичи и о семье.

Здравствуй, дорогая Маша!

Мне говорила Александра Павловна, что ты время от времени перечитываешь мои письма. Не знаю, какой интерес могут представлять мои письма ныне, когда пишу или в порядке праздничной переключки, или когда поздравляю вас – тебя, членов твоей семьи с днем рождения. Но поскольку они, мои письма, всё же интересуют тебя, пусть бы они стоили внимания не только твоего, но и детей твоих до правнучки.

Начать бы с того, что через несколько дней будет праздник Пурим, когда евреям предписано радоваться и веселиться в память счастливого стечения обстоятельств, в силу которых отвергнуто было поголовное истребление их в Персии, которое готовил первый министр персидского царя Артаксеркса-Ахашвероша – Аман (Гомен).

Как мы праздновали Пурим ты, конечно, помнишь: сахарные разноцветные игрушки, фигурки героев сказания об Эсфири, повествующего о событиях того времени, домики, пирамидки, фантастические птицы и животные. Все эти лакомства были в каждом доме – богатом и бедном. И где только их готовили и делали один раз в году для праздника Пурим? Попробовать их на вкус еще нельзя было. Сперва надо послать набор сахарных игрушек, уложенных на тортик в тарелочке и покрытых салфеткой, подружке или приятелю. Это называется Шалах-Монэс. Получающий выбирает облюбленные им фигурки и взамен их ставит свои. Каждый раз, когда разносчик приносит ответные послания, ребята с волнением поднимают салфетки и смотрят, выражая неподдельную радость или разочарование, когда им кажется, что посланные сладости были несравненно лучше. Мать и старшие успокаивают детей. Нельзя сердчать. Это праздник, и надо стараться отдавать друзьям лучшее, как Бог делает, дающий нам избавление.

Лично меня Шалах-Монэс меньше интересовал. Я старался приобрести Колотушку. Её можно было и самому смастерить.

Колотушки были разной длины и размеров. При размахивании колотушкой, молоток, сверху перекидываясь с одной стороны дощечки на другую, неистово стучит. Вооружённые колотушками, мы, мальчики из хедэра, приходили в синагогу и ждали начала чтения Агады (сказания об Эсфири). Ребята постарше, вооружённые палками, выбирали место, чтоб им легко было орудовать ими.

Наступает время, и чтец начинает на бойкий, веселый распев зачитывать сказание. Затаив дыхание, все слышат знакомые, уж не раз повторяемые слова Агады. Как только чтец намеренно с растяжкой приближается к тексту, где упоминается имя Аман, и, наконец, произносит его, начинается: старики топают ногами, отцы средних лет бьют кулаками по пюпитрам, по чему попало, мальчики стучат колотушками, а хлопчики-ребята начинают лупить палками до неистовства. Потом раздаётся голос: «Хватит! Читать дальше!», но не так-то просто успокаивать ребят. Барабаня колотушкой, я не давал себя успокаивать, памятуя, что каждый мой удар бьёт ненавистного мне Амана. Такое продолжается столько, сколько раз имя Амана вспоминается в сказании.

Аман со своими сыновьями были повешены. Были повешены и гитлеровские гады, но поросли их глубоко вдали и вблизи напоминают о празднике Пурим, что нас нигде никогда не забывают, как бы мы не меняли имена и фамилии.

Это о наступающем празднике – веселом, весеннем, вселяющем в нас надежду на лучшее будущее.

Праздник Пурим – не единственный светлячок примитивного местечкового быта.

Овеянные сказаниями, легендами и ритуалами не менее увлекательными, чем Пурим, были праздники Песах, Лаг-боймэр, Швуэс, Тышебеов, Рош-Гашоно, Ейм-Кипур, Сукот, Шимхас-Тора, Ханука и Хамисосер, – 30 праздничных дней, 12 нерабочих дней и 18 с позволением работать. Но не о праздниках было моё намерение тебе написать, а вот о чём:

Сын Гали – внук Саша Непомнящий – обратился ко мне с просьбой описать, что мне известно о нашем роде, родословии. Кстати, сколько нас, нашего рода, – до сих пор этим никто не интересовался. Внук Саша хочет знать про свой исток, и я ему

об этом расскажу. Я уже несколько лет шагаю в девятый десяток, и кроме меня никто уже больше ему не расскажет.

Итак, наш дед Гершн Ривкин жил в местечке Чирикове, ныне в Белоруссии, Могилевская обл. Был он учителем не русских школ и не еврейских. Еврейских школ в то время, как и теперь, не было.

Учителем называли почтительного пожилого человека, которому удавалось набирать 10-15 малышей для обучения их азбуке древнееврейского языка, умению читать молитвы, Библию. В обиходе их называли Рэбэ, а хижина рэбе, в которой дети постигали молитвенные науки, называлась хедэром. Заработок деда не обеспечивал содержание семьи, и жена его, наша бабушка Хае-Малке, помогала мужу в поисках заработка: собирала гусиные перья на зелёных лужайках около водоёмов, перебирала крупу, которую лавочники продавали в перебранном виде, катала фарфл для зажиточных (манная крупа в корытце поливалась желтком, слегка обсыпалась пшеничной мукой и подвергалась легкой обкатке прикосновением ладонями). Манная крупа обростала до кругляшек.

Семья деда Гершена и бабушки Хаи-Малкэ состояла из трех сынов – Моисея, Якова и Эли – и дочери Леи. По мере взросления их отправляли в более развитое местечко Хиславичи тоже Могилевской губ. И определяли в обучение к ремесленникам, портным или сапожникам. Три года – таков был срок обучения. Чем раньше мальчуган осваивал работу, тем больше выгоды имел хозяин. Так в Хиславичах обосновались три брата. Моисей и Яков в портные, Эли – в сапожники. Их сестра Лея вышла замуж в местечке Кричев. Имя мужа Леи – Евсей Хесин. Упомянутые братья и сестра рано осиротели, не обрадовав родителей успехами.

Старший Моисей женился, стал хозяином своей мастерской в Хиславичах, и народились у него сын Гершн, в память отца, дочь Хае-Малкэ, в память матери, и дочь Эстэр.

За Моисеем последовал его брат, наш отец Яков. Овладев портняжьим мастерством, отец женился, но был призван на военную службу. Служил он в Ростове Ярославском в артиллерийском полку, которым командовал полковник Самсонов. После года службы его определили в швальню – мастерскую, где

чилось или готовилось обмундирование. За усердную и хорошую работу ему, по его согласию, продлили срок службы и разрешили привезти жену – нашу мать Липу и старшую нашу сестру – Рбне-Риву, тогда еще совсем малую. Обосноваться в Ростове он не намерен был, поскольку еврейской общины там не было. Закончив службу, он с женой и дочуркой вернулся в Хиславичи. Семья каждые два года увеличивалась. Родилась Хае-Малкэ – по имени бабушки, Гершн – по имени деда, Брбха, Сбня, Лйя, Эля-Бэр – по имени второго деда, Гблдэ, Гиршл-Нохем и Маша. Всех детей Якова было 10. Такую семью прокормить при одном работнике в местечке, где почти на каждой улице живет портной, невозможно было, и он подался в Смоленск. В Смоленске предприимчивый хозяин большой швейной мастерской Воложинский принял его на работу и через некоторое время определил в качестве закройщика мастерской, в которой работало 44 человека. Воложинский кроме мастерской имел магазин готовой верхней одежды. Заработок отца обеспечил содержание семьи, но жить вдаль от семьи без надзора за поведением детей отец не мог. После трехлетней работы у Воложинского он вернулся в Хиславичи, приступил к работе в качестве уже проверенного мастера губернского масштаба. Так началась жизнь семьи в Хиславичах.

Третий сын деда Гэршена, Эля, тоже приехал в Хиславичи, женился, и родился у него сын, который тоже прозван в память отца – Гэршеном. Эле не долго прожил. Старшие его братья Моисей и Яков считали, что жена Эли Дыше, или как они её называли Дышке, по своей злобе и сумасбродству была причиной смерти его, – человека доброго и тихого. Эти подробности нашей родни по отцовской линии имеют отношение к развязке, которая прояснится позже в настоящем повествовании.

Проходило время, овдовел дядя Моисей, и после второго брака с тетей Ханэ-Рохэ появились на свет Иосиф, Абрам и дочери Бася и Фейга. Повзрослели его старшие дети от первого брака, также и наши старшие сестры, и сын их брата Эли – Гершн. И случилось, что сын дяди Эли – Гершн женился на старшей дочери дяди Моисея Хае-Малкэ. Такое по еврейскому закону, скрупулёзному во всех отношениях, допустимо. Первый брачный союз старших детей двух братьев совершился, и

молодые выехали в гор. Ельню. С тех пор мы назвали Гершена – сына Эли – Ельнинским, в отличие от старшего сына Моисея, Гершена-ешиботника, потому что он обучался в специальном религиозном Ешиботе (семинаре) и работал там в качестве наставника богословия детей богатых деревенских поселенцев. Гершн Ельнинский был сапожником, в работе преуспевал. В его семье появились старшая Ида, сын Симон и младшая Лиза. В осенние большие праздники они иногда приезжали в Хиславичи повстречаться с родичами.

Подросла наша старшая сестра Рóне-Рíва – веселая, красивая, кровь с молоком. Женихов хиславичских отвергала. Жила она в Смоленске в качестве прислуги в богатой еврейской семье. Была она грамотна, красива и обладала городскими повадками. Денег она немного скопила и решила на дальнюю поездку в гор. Керчь, где проживали две семьи сестры и брата нашей матери Лíпы. Мы их никогда не видели, редко обменивались письмами. Только к Новому еврейскому Году Рош-Гашонá присылали поздравления и благословения. Мать их часто вспоминала и говорила, что в семьях керченских родственников есть дети с такими же именами, как в нашей семье: Рóне-Рíве, Бóрис – по имени родителей нашей матери, и еще много других детей в семьях керченских родственников.

Тогда в каждой семье хватало детей, чтоб увековечивать память не только родителей, но и тетюшек и дядюшек. У сестры нашей матери – Рахили, которая жила тоже в Хиславичах, были дети Борис, Рóне-Рíве, Двёйра, Голдэ, Соня, а когда родился еще мальчик, и не было более близкого родственника, в память которого надо бы было назвать ребенка, назвали его Гилéл в память известного в Талмуде раввина Рэб Гилел. В отрочестве Гилел своим озорством и выдумкой, безусловно, превзошёл Раби Гилéла.

И так уехала Рóне-Рíве в Керчь, и когда через месяц вернулась, привезла фотографии наших родственников, напевы наших керченских родичей, долгие разговоры про всех вместе и каждого в отдельности. Как диковинную новинку она привезла 5 штук красных помидоров, мать их нарезала ломтиками. Каждый, кто брал ломтик в рот, морщился и выплёвывал. Ко всему надо привыкать. Главным сюрпризом её приезда бы-

ло сообщение, что сын тети Хаé-Сóры Моисей сделал ей предложение, и она его приняла, и через месяц он должен приехать, чтоб справить здесь свадьбу. Так и было. Через некоторое время приехал Моисей, красивый темноволосый молодой человек, и когда он с Ривой выходили на улицу, со всех окон на них смотрели. Вскоре они поженились и поехали в Ельню, где жил Гершн Ельнинский, который их поздравил со вступлением в брак и пригласил их переселиться в Ельню, где работы много и можно жить без нужды. Так в Ельне оказались наши две семьи от четырех родственных семей дяди Моисея, дяди Эли, нашего отца Якова и тети Хаé-Сóры из Керчи по фамилии Маневич. Через некоторое время в Ельню к Риве поехала наша сестра Соня. Писали ей, что работы для портных много и незачем сидеть в Хиславичах и ждать прихода заказчика.

Поскольку Гершн Ельнинский был сыном Дыше, или как мы её называли, подражая родителям, Дышке, приходится и о ней рассказать, потому что в дальнейшем роль её в ситуации нашей семейной имела значение.

После смерти Эли Дышкэ недолго вдовела. Вышла она замуж за вдовца – человека тихого, покорного, невзыскательно-го. В маленькой синагоге нашей улицы сорванцы ему усердно докучали, но отступили под влиянием его невозмутимости, беззлобия, снисходительности. Пине – так звали этого человека. Была у него лачуга-лавочка, продавал махорку, нюхательный табак, табакерки, папиросную бумагу, и в порядке приработка участвовал в местной музыкальной капелле, сгибаясь под тяжестью огромного контрабаса со струнами толщиной с верёвки, а в пожарной дружине был барабанщиком. С Дышкой Пине прижил три сына и одну дочь. Старший их сын Лева был неполноценным, и говорили, что Дышкэ его нагуляла и поэтому вынуждена была выходить замуж за Пине. Семья Пине и Дышке жила в переулке за углом дома, в котором мы жили. Мимо их дома мы ходили в криницу по воду, купаться или гулять в гористые холмы правого берега реки Сож. Дети Дыше и Пине – Веле, Исаак и Стэра, ровесники нашим сёстрам и брату – подружились и общались. Общение закончилось сближением нашей сестры Хае-Малке с Велей. Вскоре они стали мужем и женой.

Наш отец Яков, как я уже поведал, ненавидел Дышке и не уважал её детей, особенно Велю, который курил в субботу. Курение в субботу было признаком богохульства и презрения ко всему нашему обиходу.

Нам (Голдэ, Маше и мне), тогда еще детям, он, наоборот, был приятен своей внешностью, ловкостью, силой, умением красиво писать, устраивать с нами игры, а Хае-Малкэ, конечно, была в него влюблена. Отец понимал, что дети самобытны, и наделить их своим мнением и пониманием ему не под силу. Еще одно обстоятельство для оценки исхода повествования о нашем родословии. Дочь дяди Моисея от первого брака Эстэр, как говорят, засиделась, и вся наша родня довольна была, когда узнала, что она выходит замуж за Афроима Погоста. Афроим хотя и не устраивал нашу родню, поскольку он был грубоватый, т.е. был конюхом, что в местечке считалось ниже звания сапожника, но ждать лучшего уже нельзя было, и свадьба состоялась.

Помнишь ли ты свадьбу Эстэр? Тебе тогда было 3-4 года, и ты, конечно, не придавала значения сбору всей родне Ривкиных. И особенно момент, когда всех нас сфотографировали. Вряд ли ты помнишь момент сбора и съёмки, но ты не можешь не помнить фотографию размером 30 x 20 на твердой спрессованной основе. В то время фотографов в Хиславичах не было. Для важного события приглашался фотограф из уездного города Мстиславля. Поэтому состав приглашенных к съёмке обсуждался, и не все удостоены были этакой чести: одни по причине неуважения к ним, другие, чтоб количеством не снизилось качество снимка. По неуважению отвергнута была Дышкэ – мать Гершена и жена умершего Эли, брата Моисея и Якова. Дядя Моисей – глубоко верующий и одержимый религиозным фанатизмом вроде старика-героя произведения Фейхтвангера «Еврей Зюсс» – говорил: «Дышкэ еще немало беды принесёт нашей семье». Что он будто в воду смотрел, покажут последующие события в жизни наших родных. По неуважению никто от семей Погоста не был приглашен. Таким образом, если ты, Маша, не помнишь момент фотографирования, то фотографию, безусловно, помнишь. В центре, в первом ряду, сверху стоят невеста Эстэр и её жених Афроим. Рядом с

одной стороны наша Хае-Малкэ с мужем Вэлей, а с другой Гершн и Хае-Малке тети Лизы, которые приехали на свадьбу из Кричева. Во втором ряду сидели: наш отец Яков и мать Липа, около отца с подстриженными на лбу волосами чем-то недовольная стояла ты, Машенька, я стоял у колен матери, в центре этого ряда сидели дядя Моисей, тётя Хане-Рохи и их дети – Бася и Фаня, тетя Лиза из Кричева и её муж Евсей Хесин. Еще в ряду сидели наша Соня, Лиза, Голдэ и Стэра – сестра Вели. Наш брат Эле-Бэр и брат Вэли Исаак лежали на траве голова к голове с вытянутыми в противоположные стороны ногами. Из Ельни наши родные – Гершн-сапожник с женой и Рива с мужем – не приезжали. Обремененным детьми не просто было совершать путешествия.

Вот на след этой фотографии я охочусь, памятуя, что ни в нашей семье, ни в семье дяди Моисея после нашествия немцев ничего не осталось. Бесследно исчезли Кричевские наши родственники. Однако, хорошо помню, что такую фотографию почтой отправили Гершену Ельнинскому. Всё же Гершн Ельнинский был не только двоюродным братом невесты Эстэр, но и мужем сестры Эстэр, которую звали Хае-Малкэ.

Прибыв в Хиславичи после войны, я видел разорение и безнадёжную, беспросветную бедность вернувшихся из эвакуации нескольких десятков семей. Вернулась наша Лиза с детьми. В её пожитках, конечно, фотографий не было. Эвакуация совершалась в спешке. Всё оставалось дома под замком, а дома не стало, и даже места не видно, где он стоял. Соня и ты жили в Москве, кое-какие фотографии я у вас приобрёл.

Ты мне рассказала, что однажды была в Ленинграде и совсем случайно узнала о Гершене Ельнинском, который обосновался с семьёй в Ленинграде. Состоялась ваша встреча дружная, родственная. Я надеялся на встречу с ним. Когда настало время ехать в Ленинград, Гершена не стало. Встретился с младшей дочерью Гершена, Соней, и её мужем Брайниним. Старших детей Гершена – Иду, Симона и Лизу – я помнил. Соню я не знал. Она родилась в Ельне в годы гражданской войны. На третьем месяце после её рождения умерла от сыпного тифа жена Гершена, мать ребенка – Хае-Малкэ. Когда весть дошла к нам в Хиславичи, мы все были потрясены горем. Что будет де-

лать Гершн, и как спасти ребенка. Бог, как говорится, подвергает испытанию и готовит спасение. Нашлась засидевшаяся старая дева – «ни лица, ни кожи» – и согласилась на видного мужа и четверых детей.

Маленькая сухонькая Соня оказалась стойкой, умной и властной. Она выходила маленькую Софью, и если раньше старшие дети называли её тетей Соней, то вскоре они стали её называть мамой.

«Мама» Соня была тоже хиславичская, из семьи Душкиных. В их семье были три дочери и сын Исэр. Спасаясь от военной службы еще до Первой мировой войны, Исэр уехал в Америку. В годы войны он служил в армии США и погиб. В порядке компенсации за гибель Исэра, семья Душкиных получила 30 тысяч долларов. Поскольку родителей уже не стало, три сестры Исэра получили по 10000 долларов. «Мама» Соня закрепила своё положение в семье и дала Гершену добро на переезд в Москву.

В 1928 году недалеко от Смоленского рынка на Арбате я однажды зашёл в маленькую сапожную мастерскую, хозяином которой был Гершн. Мы крепко обнялись. Квартиру в Москве он приобрёл где-то в районе Ленинского шоссе. Был этот период между заходом НЭПа и восходом Нового Курса. Не знаю, по какой причине он после недолгого времени перебазировался с семьёй в Ленинград. Меня уже тогда в окружении семьи и родственников не было. И так все девочки Гершена были рады встрече со мною в Ленинграде, охотно показывали их семейные фотографии, альбомы. О том, что разыскиваемая мною наша семейная фотография канула в небытие, стало понятно при просмотре тщательно собранных фотографий Душкиных: стариков – деда и бабы, сестёр молодых с мужьями и без мужей. При этом, в альбомах у младшей Сони и Лизы не было ни одной фотографии деда Моисея, их матери Хае-Малки, ни родной их тётки Эстэр, ни родного дяди Гершена, не говоря уже о фотографиях наших родителей, наших братьев и сестёр.

Кроме того, как тебе известно, Вэля по фамилии Мусящиков, муж нашей сестры Хае-Малки, после её безвременной смерти поехал к неродному брату Гершену в Ельню, а поворотливая «мама» Соня скоро его обвенчала со своей сестрой Женей. Правда, Женя, не похожая на свою сестру Соню, была

внешне видной, привлекательной. Очень скоро Володя забыл, что у нас дома остался его сын от нашей сестры – четырехмесячный Гершинке. Мы, наши родители ничего от него не требовали, не просили. Гершинке вырос у нас дома и до школы не знал, что его фамилия Мусящиков, а не Ривкин.

Женя, жена Володи, тоже получила 10 тысяч долларов за брата Исэра, и вскоре она с семьёй перебралась в Смоленск. Жили они на Резницкой улице, и были у них двое детей – Муля и дочь Матля.

В альбомах Сони и Лизы целая галерея фотографий детей Мусящиковых. Допустим, «мама» заслужила, а семья Жени? Пусть Веля-брат хоть и не родной Гершена, тоже допустимо, но где же фото Лазаря и Моти Погостов, ведь их родные матери были сёстрами? Их нет, этих близких родственников они не знают. А почему они знают старшего сына Пине Мусящикова?

Шимэн Мусящиков жил в Ярцеве, сапожничал. Он первенец Пине от первой жены. Я его однажды видел. Человек крепкий, добродушный, имел большую семью. Наша родня его вообще не знала. Мне довелось быть в Ярцеве и познакомиться с ним. Вся его большая семья тоже оказалась в Ленинграде и стала самой родственной детям Гершена. Конечно, бывает, что чужие люди становятся друзьями, близкими, но это не значит, что они родственники. Когда я стал об этом говорить Соне, она мне сказала: «Дядя Гриша, не ошибаетесь ли Вы?»

Как так? В чём я могу ошибаться, своих родственников считал чужими, и наоборот? Допекаю их вопросами, почему вы отвергли семью вашего старшего единственного брата Симона, погибшего на войне 1941 года. «Жена его была русская!» – сказала Соня. – «С каких пор Гершн-сапожник стал набожным до такой степени, что отверг семью своего единственного сына!?» – возмутился я. – «Не папа, – сказала Лиза, – а «мама» Соня».

«Мама» Соня довела до того, что все сёстры не имеют никакой связи с женой Симона. Две девочки у нее уже взрослые, а сын Валерий учился в Ленинграде и был редко вхож к деду Гершену (как так?), а ныне он где-то на Командорских островах, что он там делает, почему он туда поехал? Почему они не связаны с ним?

Помнишь, я тебе говорил о том, что дядя Моисей предвидел роковые последствия, связанные с родством Дышке.

Гершн Ельнинский хоть и сын Эли – брата Моисея, наделен был генами матери Дышке. Не мог он противостоять навязчивости жены настойчиво отторгнуть самого Гершена и его детей от родных истоков.

Так отдалены мы были от близких и родных нам людей.

Не знаю, как случилось, что дочь нашей сестры Сони, Фаня, родившаяся в Москве, вдруг оказалась в знакомстве с сыном Щерки – дочери Дышке, проживавшем в Смоленске. Звали его Павел, по документам – Пине. Аня, сестра Фани, писала мне в Воркуту: «Приехал к нам из Смоленска маленький, кругленький, с животиком человечек с лысой головой и тонкой шеей, зовётся это существо Пиней». Состоялось знакомство, сватовство, и Фаня после регистрации поехала в Смоленск. Через несколько месяцев Соня, наша сестра, поехала в Смоленск посмотреть, как живёт дочь Фаня. Хамское отношение дочери Дышке – Щерки к своей невестке Фане вызвало в душе Сони неотвратимое решение. Фаня вернулась в Москву к родителям. Пине через некоторое время погиб в дорожной катастрофе. «Тебе отмщение и аз воздам». Что дядя Моисей предвидел напасть необъяснимой злобы Дышкэ – сбылось.

Наши потери в годы века революции и войны с фашизмом:

Дядя Моисей с женой, детьми Басей и Фаней и внуком, нашей сестрой Роне-Ривой погибли в Хиславичах.

Хесин Евсей и тетя Лиза, его жена, их дети Гершн и Хае-Малкэ погибли в Кричеве.

Погибла жена брата Бориса – Соня в Смоленске.

На войне и в тюрьме погибли Яша, Борис и Гершн (наш внук от сестры Хае-Малкэ).

Моя старшая дочь Инна двенадцати лет осталась в Смоленске с дедом Иосифом Евсеевичем Гинопманом и бабушкой Фримой.

В последние дни до вступления немцев в Смоленск их видели на подводе, и когда спросили, куда бы решили ехать, Иосиф Евсеевич сказал: «В направление Балтутина, к гор. Ельне». Дальше их след затерялся.

Погиб на войне муж сестры Маши – Гуглин Абрам Аронович.

Кто же остался продолжать нашу фамилию по отцовской линии Ривкин?

У дяди Моисея от сына Иосифа в гор. Минске живет сын Симон Иосифович Ривкин. У него два сына Витя и Женя.

У дяди Эли от сына Гершена Ельнинского есть внук от сына Симона, погибшего на войне, – Валерий. Он где-то на Командорских островах.

От других братьев детей мужского пола не осталось или не было.

Таким образом, фиксируя начало нашего родословия именем нашего деда Ривкина Гершена, жившего в местечке Чирикове Могилевской губернии в начале или середине 19 столетия, полагаю, что до меня некому было и не о чем примечательно писать. Как знать?

Жили люди, влачили жалкое существование, и бытом тяжелым dokonали жизнь свою. Я, внук его, Гирш Яковлевич рассказал немного о них, бабушке и дедушке, о потомках. Их уже к концу 20 столетия насчитывается 75 человек, – живых, не считая мучеников, погибших на войне и в сталинских застенках.

Дорогая сестра Маша, после, как устанешь читать и всё же считаешь это, а может быть и дети твои почитают, обязательно перешли это внуку моему Саше Непомнящему. Кроме того, в этом моём обзоре я писал только о происхождении нашем по линии отцовской, но ничего не писал о родстве нашем по линии матери. Это последует через некоторое время.

Приложение №2.

Акт, составленный через 5 дней после освобождения Хиславичей частями Красной Армии.

АКТ 2.10.1943 г.

О зверствах немецко-фашистских властей в местечке
Хисловичи Смоленской области.

Комиссия в составе майора Ерофеева, подполковника мед. службы Новикова, майора мед. сл. Лейкина, майора мед. службы Челножина, майора юстиции Хмалина, лейтенанта мед. службы Поповой, секретаря РК ВКП(б) Гайжа, ст. лейтенанта госбезопасности Вачкина и местных жителей составили настоящий акт в нижеследующем:

В июле 1941 г. при занятии немецкими войсками м. Хисловичи в нём был организован лагерь для всего еврейского населения, занимавший три улицы. Все евреи от мала до велика носили жёлтую повязку с чёрной серединой. Из лагеря еврейскому населению выходить запрещалось. Сразу начались издевательства над евреями, избиения, грабежи, насилия. В октябре 1941 г. было отобрано 150 мужчин, якобы на работу. Их посадили на автомашины, отвезли в район МТС и там расстреляли во рву. Трупы были оставлены не зарытыми.

В январе 1942 г. часть еврейского населения – девушек и ребят тоже посадили на автомашины и куда-то увезли.

В марте 1942 г. было устроено поголовное уничтожение всех оставшихся евреев – женщин, стариков, детей. Утром их согнали к оврагу северо-западнее местечка 150 метров. Там была учинена кровавая расправа. Всем приказали раздеваться догола, а потом зверски расстреляли из автоматов и винтовок. Некоторые бежали, их расстреливали на бегу. Трупы лежали в овраге не похороненными более двух недель, растаскивались собаками.

В этот день, по рассказам местных жителей, было уничтожено не менее 800 человек-евреев. Расстреливали всех жителей, похожих на евреев.

До Великой Отечественной войны в м. Хиславичи было около 40% еврейского населения. Не осталось ни одного, за ис-

ключением 12-летней девочки, спрятанной гражданином Денисовичем. А жену его, еврейку, и грудного младенца фашисты расстреляли.

Всеми расстрелами руководил комендант Долерман и его заместитель Майс.

Подписи

Из реферата «Смоленские евреи в период Великой Отечественной войны»

К 1993 году в Хиславичах оставался один еврейский дом, где жила женщина 1910 года рождения. Немногие уцелевшие покинули эти места. На месте еврейского кладбища идет интенсивная застройка. Надгробные плиты с древними надписями идут на строительство фундамента домов.

Клавдия Фроловна Свиридова, жительница Хиславичей, рассказала: «Гетто для евреев начали создавать еще в 1941 году, появились желтые нашивки. Недалеко от кладбища и синагоги досками огородили территорию для гетто... В первую очередь стали расстреливать мужчин. Над молодыми женщинами, девушками и девочками полицаи издевались как могли... Это было в марте. По дороге и на месте расстрела отбирали последнюю одежду... обреченные люди сами копали себе большие ямы-могилы...»

Жительница Хиславичей Богачева рассказала, что днем, перед обедом, 20 марта 1942 года на горе немцы установили пулеметы. Когда евреев погнали для расстрела, полицаи были в их толпе пешими и на лошадях. Они заставляли евреев лечь в ямы. Кто был постарше шел без сопротивления, молодые и дети убегали, и их пристреливали. Были случаи, когда полицаи малых детей бросали живыми в ямы... Спасся мальчик лет шести. Он лежал под раненой молодой матерью. Ночью вылез. Перед смертью мать сказала мальчику в Хиславичи не возвращаться, а идти в другую сторону... Русский муж привел жену-еврейку и трех детей к месту расстрела, а сам сбежал... Раненый 12-летний мальчик возвратился в Хиславичи. Назавтра его привели назад и расстреляли. Сумевших убежать евреев ловили в соседних деревнях, иногда их выдавали местные жители...

Родители Гирша Яковлевича Ривкина:



Яков-Исаак Гершевич
Ривкин
Умер 8-го октября
в возрасте 74 лет.
Похоронен в Хиславичах.



Липа Борисовна
Ривкина
(урож. Ханина)
Умерла 8-го апреля 1934-го года
Похоронена в Хиславичах

Родители Александры Иосифовны, жены Гирша:



Иосиф Евсеевич
Гинодман
Погиб в годы
войны 1941-1945



Фрима Ароновна
Гинодман
(Урождённая Адаскина)
Погибла в годы войны
1941-1945

Дед Александры Иосифовны, жены Гирша:

Евсей Гинопдман



Жена Гирша:
Гинодман-Ривкина Александра Иосифовна
(15.12.1908–14.10.1957)



Гирш (Григорий) Яковлевич Ривкин
(1904-1992)



Гинодман Александра Иосифовна и Ривкин Гирш Яковлевич с детьми Инной и Аллой



Кисловодск 1935

Изя и Инна (племянник и старшая дочь Гирша)



Изя –
единственный сын Софии
Иосифовны Гинодман (сестра
Александры Иосифовны) и
Нахмана Исааковича Ривкина.

Инна –
старшая дочь Ривкина Г. Я. и
Александровны Иосифовны
Гинодман. Погибла в годы войны
1941–1945.

Алла Григорьевна Ривкина (вторая дочь Гирша)



1933 года рождения

Сёстры Александры Иосифовны:

Анна Иосифовна Гинодман 1904 года рождения
и София Иосифовна Гинодман 1902 года рождения



Кисловодск июнь 1927



София Иосифовна
Ривкина
урожд. Гинодман

Сёстры, брат и племянники Гирша:

Борис, Лия и Маша Ривкины по отцу Яковлевичи и внук Якова от старшей дочери Хаи-Малки – Гершн Владимирович Мусящиков. Хае-Малке умерла в 1917 году.



Всеволод
Абрамович Гуглин,
младший сын
сестры Гирша –
Маши



Мусящиков Гершн
Владимирович
1916 года рождения
Погиб в неволе

Сестра и двоюродный брат Гирша, и их дети:



Софья Яковлевна Ривкина
1892 – 8.1.1985



Абрам Моисеевич Ривкин
Двоюродный брат и муж
Софьи Яковлевны
1892 – 16.3.1976



Анна Абрамовна и
Фаина Абрамовна
Ривкины
Москва 1946 год



Римма Исааковна Новикова,
дочь погибшего в ГУЛАГЕ
брата Гирша – Бориса Ривкина,
удочерённая после смерти
родителей братом её мамы –
Исааком.

Слева направо –
Абрам Моисеевич
Софья Яковлевна
Борис Яковлевич
Ривкины



Сестра Гирша Лия, её муж и дети:



Лия (Лиза) Яковлевна
Черняк
урождённая Ривкина
1884 – 1.8.1965



Гирш Самойлович
Черняк
1893 – 27.2.1960



Любовь Григорьевна
Черняк



Владимир Григорьевич
Черняк

Сестра Гирша Голдэ, её сын и муж:



Галя (Голдэ) Яковлевна Ривкина (1903 года рож.)
с сыном Владиком и мужем Витей.

Голдэ умерла от туберкулеза в 1938 в Смоленске.
Вскоре после этого её маленький сын тоже умер.

Младшая дочь Гирша, названная в честь Голды

Галина Григорьевна
Ривкина
Родилась 9 июня 1948
года в Воркуте



Двоюродные брат и сестра Гирша:

Дети Рохили, родной сестры Липке – мамы Гирша



Анна Романовна Фрагина
Гилел (Гиля) Романович Фрагин
После войны жили в Починке.
Позже жили в Москве,

Семья Гирша:



Галя, Алла, Марина и Люба стоят вокруг сидящих родителей – мамы Александры и папы Гриши



1953 год

Дочери Гирша:
Любовь (1946 года рож.)
и Галина (1948 года рож.)



Пермь 1954 год

Алла Григорьевна Ривкина
(19.10.1933 – 7.9.2013)

Дочери Гирша:



Галя и Алла Ривкины
Станица Абинская Краснодарского края. 1957 год.

Приложение №3. Имена упомянутых в тексте людей в алфавитном порядке, соответствующие главы и контекст.

Фамилия	Имя	Гл.	Информация
Абкин		15	Из первых арестованных, о которых слышал автор.
Абрам		11	Из известных деятелей евсекции, лектор курсов политического просвещения в Витебске для подготовки пропагандистов коммунистических идей.
Агранат	Иосиф	8 9	Молодой рыжий сапожник по прозвищу "Царь" был забракован от призыва в армию, захандрил и сошел с ума.
Агранат	Шифра	10	Сестра Аграната Эле, помогала ему после спектаклей.
Агранат	Эле	10	Сын парикмахера, организатор и руководитель художественных мероприятий в комсомольском кружке в Хиславичах. Стал командиром группы ЧОНовцев.
Азагаров		15	В отличие от большинства заключенных, которые замыкались и избегали споров, его ничем нельзя было запугать. Вступал в спор, называл вещи своими именами.
Азимов	Файвель	8 9	Отец Груни Азимовой (Дыскиной после замужества), богатый хиславичанин, хозяин квартиры, которую арендовала семья автора.
Азимова (Дыськина)	Груня	8 9	Красавица, дочь богатого Файвеля и Ханы, вышла замуж за Дыськина, мать Хони и Володи. По просьбе мужа, плеснула Аснину Мееру в лицо кислотой.

Азимова	Хана	8	Покойная мать Груни Азимовой и жена Файвеля.
Аксельрод	Сарра	15	Комсомолка двадцатых годов, вскоре после прибытия в Адзвув стала лагерной женой коменданта, блатного парня.
Аронович	Хаим	8	Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Аронович	Гейша	13	Самый маленький ученик автора, удивлял серьёзностью и хозяйским отношением ко всему порученному.
Аснин	Айзик	8	Сын Даши Асниной, хозяйки кожевенных мастерских.
Аснин	Меер	5 9	Пожарник-лазальщик, младший сын Айзика и внук Даши, помогал отцу в его тяжёлой работе на кожевнях. Проявлял интерес к младшей сестре автора - Маше. Высок, широк в плечах, грамотен хорошо пел. Был вовлечён в драмкружок, стал лучшим исполнителем ведущих ролей. Поехал в Биробиджан, и через год вернулся. Груня Дыська в угоду мужу плеснула Мееру в лицо кислотой. Очки спасли зрение, но лицо осталось обезображено. В 1931 навещал автора в городе Невель, по пути в Ленинград на косметическую операцию.
Аснин	Муне-Хаим	14	Ремесленник в Хиславичах.
Аснин		5	Его дом в кругу школьной площади использовался для пожарных учений.
Аснин		9	Аснины открыли кожевни и посадочные мастерские в Хиславичах.
Аснина	Даша	8	Мать Айзика Аснина, правила домом и кожевенными мастерскими.

Астахов	15		Плотник из Вологды. Рыжий человек средних лет. Из состава поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом.
Атласнер	15		Из вернувшихся в Хиславици из эвакуации хиславичан-евреев.
Барцевич	10 12 13	Анна Соломо- новна (Алточка)	В девичестве Алточка Черняк, первая еврейская девушка в Хиславицах, посмевшая выйти замуж за русского (Вячеслава Евстафьевича). Была назначена учительницей в еврейскую школу, на упрек инспектора, что в классе плохо поставлено коммунистическое воспитание, ответила: "Не беспокойтесь, монархистами мои ученики не будут" и после паузы добавила: - "Коммунистами тоже не будут". Была уволена после назначения двух новых учительниц, а автора заведующим.
Барцевич	10	Вячеслав Евстафье- вич	Учитель литературы, сын священника Борисоглебской церкви, был женат на еврейской девушке Алточке Черняк.
Барцевич	15	Елена Евстафье- вна	Учительница, пришла посоветоваться насчет племянника, который захотел стал священником в конце сороковых годов. Сестра Вячеслава и Ольги.
Барцевич	4		Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Басин	14	Мотэ	Председатель Хиславичского поселкового совета, хвастался, что до обеда он лежит на председателском столе и плуёт в потолок, после обеда делает то же самое его секретарь Черняк Мендл, а он, Басин, уходит купаться.
Басс	14	Мейше	Ремесленник в Хиславицах.

Бахрех	Герце	14	Из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Бейлин		9	Знакомый из Мартиновки, навещал автора в общезнании в Москве, был зрителем на спектакле в первом ряду, когда Тимашков при исполнении роли выстрелил боевым патроном и ранил его в ногу.
Белкин	Яков	10	Из хиславичской группы "Гехолуд", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Белусов		15	Юркий и подвижный, из этапа автора.
Бердников	Михаил	14	Бывший рабочий парень, сапожник, гармонист, ныне работник райпотребсоюза и какой-то "деятель" в религиозной общине – угрожал, что если Черняка похоронят на русском кладбище, его ночью выкопают и бросят собакам на съеденье.
Березин		3	Из неопределенных молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отделиться. Хиславичи.
Берман	Маша	4	Из помощников в библиотеке Мити Рабиновича в Хиславичах.
Бозес	Меер	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.
Бозес	Мейше	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.
Болотин		14	Из Мартиновки, был среди посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Болотников	Абрам	8	Из артели заготовщиков, организованной Дыськиным.

Болотников	Зелик	8	Из артели заготовщиков, организованной Дыськиным.
Борг	Борис Маркович	15	Один из начальников сети общего снабжения под начальством Шнипко.
Борисенко		15	Воркутянин, рабочий базы 2-го района, полутчик автора в Смоленск в 1947.
Борисов		15	Начальник спецотдела облпромсовета.
Боровинский		15	Из Ленинграда, один из поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом.
Боровко	Сергей Иустинovich	15	Товарищ автора.
Бородин	Александр	15	Заключенный в Воркуте студент литературного факультета Саратовского университета, читал наизусть целые главы из произведений классиков русской литературы, часами декламировал поэзию Бунина, Гейне, Лермонтова, Саши Черного.
Бочин		15	Один из начальников сети общего снабжения под начальством Шнипко.
Бриськины		8	Братья из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Бритч		12	Бывший ешиботник, преподавал в еврейской школе, созданной на базе образцового хедера, был уволен по мотивам религиозного порядка.
Брич		3	Из поющих "гатыкво". Огненно-рыжий учитель древнееврейского языка в Хиславичах.

Бродский	Володя	11 12	Был направлен в Хиславичи от Мстиславского уездного комитета партии в качестве секретаря волостного комитета РПК, женился на комсомолке Соне Новиковой, описан подробно в главах 11 и 12. в 1937 был арестован и убит.
Бунэс	Лея	7	Ее мужа убили в деревне.
Вайнштейн		9	Вайнштейны торговали галантереей.
Вайнштейн	Мейшке	5	Общался со Славиним Мотиком в будке Новикова Итче.
Вайнштэйн	Саул	10	Из хиславичской группы "Техолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Василенков	Степан	12	Из новых людей в хиславичской комсомольской ячейке, из бедных мещан.
Вирав		15	Заключенный, из тех, кого ничем нельзя запугать. Вступал в спор, называл вещи своими именами, в отличие от большинства заключенных, которые замыкались и избегали споров.
Виткин	Гершен	7	Был убит на Монастырцесской дороге.
Воложинский		15	Хозяин большой пошивной мастерской и магазина готовой одежды в Смоленске.
Ворона	Николай Николаевич	15	Один из начальников сети общего снабжения под начальством Шнипко.

Галковский	Михаил	4 9 15	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича. Друг юности, земляк, когда окончил срок военной службы, находился в общезнати у автора на улице Усачева, 64, в Москве. Позже устроился на партийную работу в органах вместе со Стиллером Аркадием.
Галутин	Афроим	9 14	Рабочий по найму в Хиславицах по прозвищу Горб, его фотография "верхом на велосипеде" в витрине фотографа изумила хиславичскую публику. Пригласил Дыськина поведать в Ленинград в 1962, когда безнадежно заболел. Неприятный человек. Был женат на Златэ, потом на Роше Левитиной. Был судим за воровство.
Галутин	Могэ	14	Муж Галутиной Ханэ, из богатых хиславичан, живой и здоровый встретился Соне, сестре автора, в Москве, после того как его жена сообщила о якобы кончине мужа.
Галутин		9	Галутины открыли кожевни и посадочные мастерские в Хиславицах.
Галутина	Златэ	9	Первая жена Галутина Афроима, тихая, маленькая, погибла от фашистов в Хиславицах вместе с двумя сыновьями и дочкой.
Галутина	Ханэ	14	Хиславичанка в Москве, считалась в Хиславицах из богатых. Наврала сестре автора, что ее муж умер, опасаясь ее из-за родства с Черняком Гиришлом.
Галутина (урож. Левитина)	Роше Файвелевна, Рошке	9	Жена Афроима, внучка Баше-Гени, сестра Хаима, урожденная Левитина.
Гальмуев	Дмитрий	14	Секретарь хиславичского райкома 30-х годов. Жестокий человек, давал приказы "пустить кровинки", когда люди не хотели идти в колхозы. Считал Черняка как одного из лучших членов хиславичской парторганизации.

Гендлин	Борех	3	Один из солдат (дореволюционные годы) вернувшихся домой, в Хиславичи.
Гендлин	Борех	8	Один из руководителей местечкового совета, привлекавших людей к трудовой повинности.
Гершанок	Самуил Шепя	11 12	Братья из сельскохозяйственной коммуны имени Ленина. Самуил учился в Смоленске в кооперативном техникуме.
Гинодман	Александра	15	Жена автора.
Гинодман	Инна	15	Погибшая дочь автора.
Гинодман	Иосиф Евсеевич	15	Отец Александры, жены автора, владел в Мстиславле большим домом и двумя мельницами. Был главным поставщиком муки для населения Белоруссии.
Гинодман	Шая	3	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи.
Глазунов		11	Принимал активное участие в работе школьной ячейки, учащийся из деревни.
Глезер	Яша	3	Сын аптекаря, из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи.
Гоголев		10	Учитель истории, человек старого режима.
Голобурдик	Костя	10	Босьяк из безземельной мешанской бедноты, однажды в саду спел ходовую в то время антиреволюционную песенку, за что был избит комсомольцем Зайдманом Мотэ.

Гоникман		15	Профессор из Москвы, КРГД, один из поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом. Остальные его недолюбливали за ортодоксальность. Был старше и физически слабее остальных. С первых же дней он пристроился к конторе в качестве экономиста-нормировщика.
Гордин	Яков	3 10	Упоминается как автор драмы "Бог, человек и дьявол" поставленной в Хиславичах. Любимый драматург Аграната Эле, автор драмы "Ды нэвей-ле" ("Падаль").
Горелов		15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Горчаников	Залмен	5	Музыкант из команды пожарников.
Горчаников	Моше	14	Хозяева, у которых были работники по найму.
Гофштейн		12	Поэт, строчки из его стихотворения автор вспоминает по дороге в Смоленск.
Гринёва	Марина	15	Дочь Александры Гинопдман-Ривкиной.
Гуглин	Абрам	9	Избранник младшей сестры автора Маши. Впоследствии муж. Воевал, не вернулся.
Гутлина (Ривкина)	Мария Маша	15	Младшая сестра автора, проживала в Москве, растила троих детей – Алик, Сева и Лиля, муж воевал и не вернулся. Смотрите также Ривкина Маше.
Гутлина	Хава	12	Хиславичанка, вышла замуж за Иццоки, члена бюро укома комсомола.
Гуревич	Бенче	15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Гуревич	Майя	15	Одноклассница и подруга Аллы Ривкиной в Воркуте, 1933 г.р.

Гуревич	Моисей	8	Из артели заготовщиков, организованной Дыськиным.
Гуревич		9	Заготовщик, к которому местные сапожники предпочитали относить заказы.
Гуткин	Давид	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г.
Драгилев	Авром	14	Один из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Драгилев	Исаак	14	Один из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Драгилев	Итче Бэр	8	Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Драгилев	Лейб	5	Музыкант из команды пожарников.
Драгилев		9	Драгилевы открыли кожевни и посадочные мастерские, Хиславичи.
Драгилевский		9	Обладатель волночески, Хиславичи.
Драновский	Лев	15	Журналист из Киева, автор песен "За полярным кругом", "Дневальный", "Паутинкою время плетется". Одним из первых был этапирован на кирпичный завод в Воркуте, там расстрелян.
Дубровкин	Авром	3	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отделиться. Хиславичи.
Дунец		11	Из известных деятелей евсекции, лектор курсов политпросвещения в Ви-тебске для подготовки пропагандистов коммунистических идей.

Дымент	Хаче	5 13	Музыкант из команды пожарников и мельник, отец Сонечки первоклассницы, ученицы автора.
Дымент	Сонечка	13	Дочь мельника Хаче – привлекала обаянием неопикуемой детской красоты.
Дымов	Иван Иванович	15	В канун войны, 20 июня 1941 г., был вызван на освобождение, но был задержан и из-за начавшейся войны не освобожден. С зимы 1941 был перемещен вместе с автором на Воркуту – зав. продуктовым складом. В 1943 году был освобожден по директиве вместе с автором.
Дыськин	Володя	9	Младший сын Моисея Дыськина, брат Хони, черноглазый, очень милый, позже – жил в Москве, приехал навестить отца в Воркуту.
Дыськин	Моисей	8 9 14	Главный герой глав 8-9, начал как рабочий в кожевенной мастерской Асиной Даши, дальний ее родственник, малограмотный заготовщик, позже собирал контрибуцию. Позже селькор и распространитель сельской печати. Был арестован в 1937 г., обвинен в шпионаже, сидел в Воркутинской тюрьме, был направлен на шахту Капитальную.
Дыськин	Самуил	8	Отец Дыськина Моисея, бедняк без профессии.
Дыськин	Хоня	9	Старший сын Дыськина Моисея, брат Володи. Воевал в Великой Отечественной, от него не было писем.
Дыськина	Груня	9	В девичестве Азимова. Далее смотрите “Азимова Груня”.
Евзеров		3	Читал проповеди в синагоге по субботам, сионист.
Евзиковы		15	Два брата из вернувшихся евреев в Хиславици из эвакуации.

Елисеев	15		Один из первых арестованных. Муж Люся, приятельницы Александры, жены автора. Умный, острый на язык человек. Позднее, автор нашел Елисеева в списках в Нарьян-Маре и так узнал, что Елисеев последовал в этом же направлении. Позже познакомился с ним лично.
Елисеева	15	Люся	Жена арестованного Елисеева, приятельница жены автора, Саши, с которой Люся работала в библиотеке на Рачевке.
Жак	8 10	Зелик	Молодой рабочий-заготовщик, из артели заготовщиков, организованной Дыськиным. Рассказывал про Дыськина необыкновенные истории. Комсомолец из группы ЧОНовцев, получил японскую винтовку.
Жак	8	Муне	Заготовщик, из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза, и там погиб.
Жук	15		Одноклассница и подруга Аллы Ривкиной в Воркуте, 1933 г.р.
Жуковская	15	Ирина	Учительница из Киева, стала предметом обольщения Черняка Мишки-блатного, потерявшего облик человека.
Зайдман	8 10 11	Мотэ (Мотке)	Из артели заготовщиков, организованной Дыськиным. Комсомолец, из группы ЧОНовцев, получил американскую винтовку. Выстрелил в воздух, разгоняя драчунов, поссорился с начальником полиции, и был арестован. Побил Костю Голобурдика за антиреволюционную песенку. Организовал кражу махровых маков из огорода Моты Энтина, чтоб раздать девушкам-комсомолкам.
Залесский	4		Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Зельдин	7		Смолокур, убили его и всю его семью в деревне Карки либо Лыськи.

Зильберман		9	Обладатель красильни.
Зимницкий		4	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Зуев	М. Еф.	15	Учился с автором во 2-м МГУ на общем экономическом отделении, жил с автором в одной комнате в общежитии на Усачёвке, был послан на парт-работу в Краснодарский обком, там был арестован и заключён на 10 лет на Колыме. Вернулся в Смоленск, и его устроил на работу школьным учителем общий знакомый земляк Ловрененко Петья, работающий в облоно.
Иванова		15	Одноклассница и подруга Аллы Ривкиной в Воркуте, 1933 г.р.
Игудин	Гирш	1 14	Извозчик (балэголә) в Хиславичах, его сын Муля, ровесник автора (1904 г.р), учился русскому языку у того же учителя – Якова Попка. Один из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых погибли.
Игудин	Муля	1	Сын извозчика (балэголә) Гирша, ровесник автора (1904 г.р.), учился русскому языку у того же учителя – Якова Попка, Хиславичи.
Игудин		9	Знакомый из Мартиновки, навещал автора в общежитии в Москве.
Израитель	Борэх	2	Сын Михэла, умелец делать раны призывникам для непригодности к службе, Хиславичи.
Израитель	Веле-Яков (Вэле-Янкев)	2 12	Парикмахер в Хиславичах, его младший сын – Иоэл, из хиславичан, переселившийся с семьями в Смоленск.
Израитель	Идл	3	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи.

Израитель	Иосиф	2 12	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах. Позже учился в Смоленске в кооперативном техникуме.
Израитель	Иоше (Иошке)	2 7	Чуть младше автора, младший из ребят, играющих в синагоге с афיקей-ментами, Хиславичи. Мальчик с улицы автора, главный актер ханукальной постановки.
Израитель	Иоэл	3	Парень несколько старше автора, младший сын Веле Янкева парикмахера, произносил длинные речи о свободе, братстве и царе перед другими мальчишками.
Израитель	Лев	8 14	Из руководителей местечкового совета, привлекавших людей к трудовой повинности. Первый председатель Хиславичского поселкового совета, при нем местечко бурлило переименованием улиц и осушением болот.
Израитель	Лев	8 10	Парикмахер, у которого было специальное помещение со стеклянными дверьми. Один из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза.
Израитель	Лёва	3	Один из ораторов, Хиславичи.
Израитель	Михэл	2	Бедный сапожник, отец Борэха, Хиславичи.
Израитель	Шлейма-Дон	3	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи.
Индин		7	Мельник, был убит на опушке леса около дер. Воробьевки.
Иосиф	Печерский	9	Навещал автора в Москве, в общезнании на Мало-Пироговской улице.
Иоффе	Мордхе-Иоше	9	Хозяин тесного жилища, из которого семья автора была рада переехать.

Иоффе	Симен	2 10 14	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах, из хиславичской группы "Техолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину. Один из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарыгтыми с биркой на пальце ноги.
Ицхоки		12	Член бюро укома комсомола, муж Хавы Гуглиной.
Казарновский	Яков	9	Московский студент, работающий в редакции крестьянских издательств, помогал Дыськину.
Канторович	Валя	15	Одноклассница и подруга Аллы Ривкиной в Воркуте, 1933 г.р.
Каховский		10	Мещанин, возчик по наряду, возмущался тем, что его заставляют выполнять наряд, мешают хлеб расти.
Качер	Иван	4 7 14	Богатый хиславичанин, один из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича. Был послан Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы. Многие из них остались в неведомых местах зарыгтыми с биркой на пальце ноги.
Кашиц		4	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Керлер		15	Киевлянин, заключенный из того же этапа, что и автор. Помог автору, дав ему тряпки замотать ноги, а после того, как автор помог ему тащить рюкзаки, угостил сахаром. Позднее, один из состава поселенцев в общей землянке в Адзъве-Вом. В своё время видный профсоюзный деятель в Киеве, потом разоружившийся оппозиционер в опале. Умный, толковый и сдержанный.
Кивес	Алтэр	5	Пожарник-качальщик в Хиславичах.

Кириллова	Клавдия	9	Член семьи "врага народа", работала в воркутинском стационаре сестрой, спасала Дыськина от последствий переадресации.
Клинц	Мендл	6	Сын балэгола (возчика) Нохема Клинца, был ранен в ногу в перестрелке, когда красные хотели отбить обоз у поляков.
Клинц	Нохем	6	Балэголэ (возчик), отец раненного красными Мендла.
Клинцовские		14	Служили полицией при оккупации фашистами.
Князев	Григорий	9	Учитель из Одессы, заключенный, назвавший Мартыненко "лагерным волком".
Ковалева	Мария	9	Одна из первых деревенских комсомолок, из редколлегии стенгазеты, Хиславичи.
Коган	Ида	15	Одна из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Коган	Эле	11	Член партии и активный участник всех комсомольских дел в Хиславичах, поклонник Сони Новиковой, ездил к Соне в Витебск.
Коган	Яков	9	Один из тех, кто за год в Биробиджане наголодался, наморозились, навоевались с мошкаррой и гнусом и вернулись домой.
Козлов	Мейше	2	Молодой человек из Шумячи, прятался в Хиславичской синагоге, развлекал местных мальчишек песнями и рассказами.
Кокотов	Исаак	9	Сапожник и демократ, а после женитьбы – кустарь-ремесленник, купил просторный дом, который арендовала семья автора.

Кокотова	Соня	9 10	Комсомолка в Хиславичах. Рабочая, участница дореволюционного демократического кружка – говорила про судью: “Этого Малаховского надо было самого судить за издевательство над женщинами”.
Коровин		15	Одноклассник и друг Аллы Ривкиной в Воркуте, 1933 г.р.
Корхин		15	Из первых арестованных.
Костэнко		15	Пожилый типографский рабочий из Киева, будучи заключенным в Адъеве, узнал, что его жену отправили в ссылку.
Красовский		3 4	Учитель городского училища, из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Красухина	Лия	12 13	Одна из двух новых учительниц еврейской школы, считала, что программа программой, а учить писать и считать – первостепенная обязанность.
Кривой	Хаим	7	Был убит на Монастырщенской дороге.
Кругляков	Авром	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.
Кругляков	Иоше-Калмен	6	Купил дом, который арендовала семья автора.
Кругляков	Мейше-Мэндл	3	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи.
Кругляков	Яков	2 9 15	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах. Янкеля, добрый и веселый парень из Хиславичи, в 1928 году уехал в Биробиджан, но сбежал оттуда через год. Служил в армии, а после пошел работать в НКВД. Летом 1936 заходил навестить автора в Смоленске.

Круглякова	Генся	13	Миловидная с тёмными весёлыми глазами многодетная мать, четверо ее детей были возраста начальной школы.
Кругиков	Сэндэр	12	Из хиславичан, переселившихся с семьями в Смоленск.
Кузнецов		15	Из Ленинграда, из состава поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом. Тосковал по жене, винил себя в неумении держаться на следствии.
Кунцман	Алтэр	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.
Кунцман	Симха	7	Хиславичанин, видимо, бедняк.
Куцман	Алтэр	10	Не закончив срок обучения сапожному делу, подался в группу "Техолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Кушельман		12 13	Секретарь евсекции губкома партии, Смоленск, направил автора работать заведующим в хиславичскую еврейскую школу. Позже инспектировал хиславичскую школу, остался доволен.
Лавроненко/ Ловрененко	Феодор и Пётр	11	Возможно Ловроненко, братья из сельско-хозяйственной коммуны имени Ленина. Смотрите также по фамилии Ловроненко Федя и Петр.
Ланин	Лозер	14	Бывший хиславичанин, просил Черняка подтвердить справку о его положении кустаря-ремесленника на родине. Черняк написал, что Ланин имел кустарную мастерскую по выделке пергамента для религиозного культа, хотя пергамент приобретался и для барабанов и бубнов.
Лапин		15	Из Ленинграда, из состава поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом. Тосковал по жене, винил себя в неумении держаться на следствии.
Лаповок	Веля	7	Его дочери приехали из Смоленска в Хиславичи - Женя с дочками Гиндой и Розой и молодая девушка Лиза.

Лаповок	Гирш	8	Из артели изготовщиков, организованной Дыськиным.
Лаповок	Исроэл	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславицах.
Лаповок	Мойсей	15	Хиславичанин, встретился автору в камере осужденных в Смоленске, вместе с автором был в пересылке. Позднее в Адзье, вместе с автором и другими, восстановили и жили в одной землянке.
Лаповок	Лиза	7	Дочь Лаповка Вели, приехала в Хиславичи из Смоленска.
Ластовский		4	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.
Левин	Борис Савельевич	5	Старший лейтенант, в годы отечественной войны заслужил звание героя Советского Союза, сын Савелия, внук Итче Веле.
Левин	Итче-Веле	5 15	Пожилый пожарник, начальник колонны охранников в Хиславичи, торговец, отец Савелия, в его дом автор с товарищем зашли попить воды после тушения пожара и в этом доме Гирш познакомился с Сашей, будущей своей женой.
Левин	Савелий	5	Известный в местечке озорник, сын пожарника Левина Итче-Веле, поселился в Москве, его сын – Борис Савельевич.
Левина	Цейта	12	Окончила Хиславичскую гимназию, преподавала в еврейской школе, созданной на базе образцового хэдера, но не умела бегло читать и писать по-еврейски.
Левитин	Файвель	8	Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Левитин	Хаим	2 9	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславицах, учился с автором в хэдере, брат Роше Галутиной.

Левитин		9	Братья заготовщики-хозяева, к которым местные сапожники предпочитали относить заказы.
Левитин		9	Обладатель круподерки, Хиславичи.
Левитин		9	Обладатель красильни.
Левитина	Алтэчка	4	Дочь Шай-кацева, одна из помощников в библиотеке.
Левитина	Рошке	9	См. Галутина, жена Афроима Галутина.
Лейкин	Исаак	10 12	Из хиславичской группы "Техолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину. Учился в Смоленске в строительном техникуме курсом старше автора.
Лейкин	Итче	3	Из поющих "Гатыкво", серьезный, со стальным блеском серых глаз, Хиславичи.
Лейкина	Фаня	12	Окончила Хиславичскую гимназию, преподавала в еврейской школе, созданной на базе образцового хэдера, но не умела бегло читать и писать по-еврейски.
Лейтес	Авром-Хайм	2 4 13 14 15	Хиславичский афикеймен, прятался в Шумячи, один из помощников в библиотеке Мити Рабиновича в Хиславичах, корреспондент газеты "Дэр Эмес", знаток еврейской литературы, с ним автор разработал терминологию команд на еврейском языке. Например, «смирно» - «штгьллштэйн». Вел обширную переписку с земляками, через него Ланин Лозер просил подтвердить справку кустаря у Гиршела Черняка. Один из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев, вместе с Гиршлом Черняком составлял списки расстрелянных и убиенных.

Лейтес	Арэ	8	Тихий парень, уходивший на заработки, не знавший о мобилизации, был задержан и расстрелян.
Лейтес	Герц	2 3 8	Галантерейщик, отец Итче Лейтеса, который участвовал в демонстрациях в Хиславичах, а потом воевал с белыми.
Лейтес	Гесл	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г., сын Мотэ Лейтиса.
Лейтес	Итче	3 8	Сын Герца-галантерейщика, был выслан из Киева, где учился в гимназии. Красивый и подвижный юноша, говорил хорошо и вдохновенно, часто посещал клуб в доме Итче-жестянщика в Хиславичах. Вездесущий гимназист и пламенный оратор, уже давно (относительно первого призыва) воевал с белыми, был комиссаром, умер от испанки.
Лейтес	Моисей	15	Встретился автору случайно в московском универмаге, оказалось, что он сидел по 58-й в Абези около Воркуты, недавно освобожден. Рассказал, что в лагере его, умирающего от голода, холода и невыносимой работы спас земляк Стиллер Арон, тогда какой-то начальник в ГУЛАГе, устроив его на более легкую работу лагерным парикмахером.
Лейтес	Мотэ	3	Отец погибшего на войне 1914 г. Гесла Лейтеса. Хиславичи.
Лейтес		9	Братья Лейтес, открыли кожевни и посадочные мастерские, Хиславичи.
Лейтис	Хавэ	14	Хозяева, у которых были работники по найму.
Лекней	Виктор Августович	15	Начальник части общего снабжения под начальством Шнипко – заключённый, давал автору и Бородину Александру иногда выпisku на 200 граммов масла или 300 граммов сахара. Это считалось подвигом с его стороны.

Леоненков		8	Братья Леоненковы из деревни Гололобовка, убийцы Яхны Полок, ее сына Гирша и племянницы, были задержаны.
Лившиц	Моисей Наумович	9 15	Приятель по Воркуте, работал в весовой мастерской, потом его снова забрали. Ездил из Воркуты в Минск.
Лившиц		9	Обладатель круподерки, Хиславичи.
Лиличкин		15	Из первых арестованных.
Липкин	Алтэр- Кивес	8	Отец Липкина Симена, на которого напали в 15 км от Хиславичей.
Липкин	Гершн	9 10	Постоянный суфлёр хиславицкого драмкружка, один из хиславицкой группы "Гехолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Липкин	Израиль	13	Школьник, сын Енты Липкиной, старший брат Рувима, самый рослый, будто серьезный, но на самом деле – инициатор всех шалостей, выходящих из рамок порядка.
Липкин	Июда	10	Коровник, мелкий перекупщик домашних животных, отец комсомолки Сони Липкиной, Хиславичи.
Липкин	Л	15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Липкин	Рувим	13	Школьник, сын Енты Липкиной, младший брат Израиля – светлый паренёк с весёлыми озорными глазами и быстрыми, слегка согнутыми в скобку ножками. "Малую кучу" он всегда старался оседлать и криком "Ура!" завершить её распад.

Липкин	Симен	8	Сын Алтэра Кивеса, был задержан, обыскан, ограблен и чуть не убит парнями с обрезамми.
Липкин	Хаим Алтерович	1 15	Сын рославльского кантора, организатор кружка демократов в Хиславичи, куда приехал с сестрой Ханэ-Лее. После организации стачки мастеровых был выслан в Красноярский край, в Елавинку. Демобилизованный с войны вернулся в Хиславичи. Вскоре самовольно утонул, узнав о гибели сестры Ханэ-Лей, его жены и двух детей.
Липкин	Хоне	13	Ученик автора, маленький, круглоголовый, молчаливый, но всегда улыбающийся. Его поступки неожиданные, сногшибательные поражали ловкостью и решительностью.
Липкин	Шай-Довид	13	Муж Енты Липкиной, отец школьников Рувима и Израиля.
Липкин	Шмерл-Михел	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г.
Липкин	Шой-Довид (Шай)	13 15	Столяр хиславичанин. Муж Енты Липкиной, отец школьников Рувима и Израиля, учеников автора. В 1947 году его сыновья проживали в Смоленске.
Липкин	Симен	11 12 14	Рабочий по найму в Хиславичах, член бюро и зав. экономсектором комсомольской организации, один из тех, кто голосовал за исключение автора из комсомола по явно ложному обвинению. Вскоре был торжественно передан из комсомола в партию.
Липкина	Ента	13	Мать двух школьников Израиля и Рувима, жена Шай-Довида.
Липкина	Мера	9	Комсомолка, Хиславичи

Липкина	Соңя	10	Дочь Иуды-коровника, гимназистка, читала в клубе "Азбуку коммунизма" Бухарина, Хиславичи.
Липкина	Ханэ-Лее	1	Сестра высланного из Рославля демократа Хаима Липкина, погибла в Хиславичах.
Листвин		15	Сокамерник автора в смоленском полит-изоляторе. Тихий и спокойный, он пытался утешить и помочь автору в первые дни после ареста. Лет 12 до ареста был в числе 12-ти проверенных коммунистов из поселка Людиново для сопровождения Троцкого на охоте в людиновских лесах, теперь обвинялся в троцкизме, как и все остальные 12 человек, выделенные для этой затеи.
Литвин	Фейге-Матле	4	Ее сын учил девочек писать и читать.
Ловрененко	Петр	15	Комсомолец городищенской коммуны, после войны стал зав. смол. Облоно, помогал землякам.
Ловрененко	Федя	15	Комсомолец городищенской коммуны благополучно устроился.
Локшин	Идл	3 15	Хиславичанин, сосед, один из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи, сын Ребэ по имени Хаче, встретился автору в Смоленске в 1947 году. Воевал, выжил. Был освобожден по первой демобилизации по возрасту.
Лопатников		15	Заведующий складом в Воркуте.
Лукин		12	Учащийся в техникуме в Смоленске, родом из города Белого, посоветовал ночами очисткой улиц от снега.

Магидов	Исроэл	3	Большой сердитый сторож сарая, в котором показывали театр.
Магидов	Юдке	3	Сын сторожа Магидова Исроэла.
Мазурков	Лазарь	9 12	Знакомый из деревни Мартиновки, полукрестьянин, полубатрак, один из новых людей в хиславичской комсомольской ячейке. Позже наведал автора в общезитии в Москве.
Максимова	Элла	15	Журналистка, автор статьи про Ржецкого статье “Честь имени” в журнале Смена 1972 №02 (1072).
Малахов-ский		10 12	Народный судья, присланный из уезда, молодой человек, отрастивший большую русую бороду для солидности, устраивал унижительные допросы. Позже был отозван в уезд и заменён более положительным и степенным судьёй Масловским.
Мальцев	Михаил Митрофанович	15	Начальник Воркутлага НКВД, полковник. Его дочь училась в одном классе с Аллой Ривкиной.
Мальцева	Майя	15	Дочь начальника Воркутлага НКВД, одноклассница Аллы Ривкиной, девочка прилежная и дружелюбная.
Маркелов		15	Начальник строительства, говорил заключенным, что они враги народа, что им гуманное правительство делает снисхождение и позволяет жить, дышать и строить. Кто не хочет строить, тот жить и дышать не будет.
Мартыненко		9	Председатель Хиславичского волисполкома, махинатор, по следам расследования газеты Дыськина был привлечен к уголовной ответственности и осужден на 10 лет в 1927 г., стал лагерным волком.

Масловский		12	Судья, более положительный и степенный, заменил отозванного судью Малаховского.
Машин	Давид	9	По прозвищу Малхамвес, бедняк и неудачник, умер и был похоронен с музыкой, которая сменилась в процессе на веселую.
Машин	Довид	14	По прозвищу Дрибнер, кустарил в Хиславичах.
Мейлахс		15	Профессор, бригадир лесовиков - бригад по заготовке леса под рудстройку.
Мельянецв	И	15	Заместитель нач. района, приговорен к расстрелу за чудовищные злодеяния в Хиславичах.
Мертенс (Мертэнс)	Станислав Адамович	8	Председатель ЧК Мстиславского уезда, лапыш, наводил ужас на местных богачей, имитировал расстрелы неплательщиков контрибуции, позже для острастки расстрелял 14 якобы дезертиров гражданской войны.
Минкин	Хаче	10	Из хиславичской группы "Гехолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Мирунский		2	Полицейский в Хиславичах, предупреждал дезертиров об облаве, брал с них взятки.
Миркин	Лэйзер	3 4	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи. Один из мощников в библиотеке Мити Рабиновича, Хиславичи.
Миркин		13	Старый, опытный учитель, лояльно относившийся к новым порядкам.
Михалевич	Иван Иванович	4	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича.

Михалевич	Павел Иванович	3 4 7 10	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича, инспектор городского училища, организатор митинга, В революцию стал избегать появляться на людях, ученики перестали его приветствовать. После революции стал учителем школы второй ступени, был как прежде серьёзен и строг. На его уроках географии царила тягостная тишина.
Михлин		9	Михлины торговали галантереей.
Морозов	Феодор Антонович	15	Один из начальников сети общего снабжения под начальством Шнипко, заключенный по статье КРТД, председатель комиссии по приемке грузов на перевалочной базе Воркута-Вом в 1940. Рассказал, что в конце апреля 1937 года ему, главному бухгалтеру лагпункта, было дано секретное указание о списании 1050 телогреек, такого же количества пар валенок, бушлатов, ватных брюк и другого лагерного барахла. «Несомненно, - говорил он, - это обмундирование расстрелянных».
Мурашев		15	Друг автора. Вместе с Дымовым и автором был освобожден по директиве 7.11.1943.
Мусящиков	Итче	3 8	Посадчик, из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза, был заснят на общей фотографии с Перлиным Абе и погибшим (на войне 1914г.) Киве Новиковым фотографии.
Мусящиков	Пине	5	Барабанщик из команды пожарников в Хиславичи.
Новиков	Иосиф	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.

Новиков	Исаак	15	Старший сын Фалы Новикова, был на войне и уцелел, вся его большая семья погибла. Поехал в Смоленск искать свою сестру Сою, обнаружил, что Соня не эвакуировалась и погибла, ее муж Борис Ривкин погиб в 1937 году, но их дочь была эвакуирована вместе с другими детьми. Исаак поехал по пути движения детского лагеря, который менял своё пребывание в зависимости от обстоятельств. Следуя из города в город, он нашел её в Томском детском доме. Он привёз её в Москву, удочерил, устроился и последние годы жизни всецело посвятил Римме.
Новиков	Игче	3 5	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи. Хозяин будки-ларька с водкой.
Новиков	Киве	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г. Высокий сильный парень, на присланной фотографии с Мусящиковым Игче и Перлиным Абэ выглядел бодрым.
Новиков	Рувим	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г., оставил жену Хаю и сына Янкеле.
Новиков	Фалэ	3 12 15	Отец погибшего на войне 1914 г. Киве. Хиславичанин. Один из хиславичан, переселившихся с семьями в Смоленск. В годы ликвидации кулачества и частных предпринимателей семья Фалы Новикова подалась в Крым и там вступила в еврейский колхоз. В годы войны евреев Крыма постигла участь своих собратьев по оккупации. Все погибли, кроме старшего сына Исаака, который воевал на войне и уцелел.
Новиков	Янкелэ	3	Хиславичанин, сын Хаи и погибшего на войне 1914 г. Рувима.
Новиков	Лев	9	Один из тех, кто за год в Биробиджане наголодались, наморозились, навоевались с мошкаррой и гнусом и вернулись домой.

Новикова	Римма Исаковна	15	Дочь погибшего Бориса Ривкина, после смерти родителей была удочерена дядей Исааком Новиковым.
Новикова	Соня	11 12	Активная комсомолка со стриженными волосами, старшая из 7 недавно осиротевших детей, более воспитанная и сдержанная, чем ее рабочие подруги, уезжала в Витебск на шестимесячные курсы политпросвещения. Была торжественно передана из комсомола в партию, одна из тех, кто голосовал за исключение автора из комсомола по ложному обвинению. После ареста мужа Бродского Володи, овдовевшая и беспартийная, вернулась к матери в Хиславичи с сыном Новомиром. При оккупации местечка фашистами, Соне удалось эвакуировать сына. Сама же погибла.
Новикова	Хая	3	Вдова Рувима, первая, кто получила повестку о смерти.
Оперлутупелинц		7	Графский управляющий, сбежал из Хиславичей.
Падкин	Хаим	8	Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Перлин	Абэ	3 5	Заснят на общей фотографии с Мусяциковым Итче и погибшим (на войне 1914 г.) Киве Новиковым фотографии. Буян и драчун, но утихает при Эрмане Хаиме.
Перлин	Мойсей	8	Ему одному удалось пронести немного муки по документу анализа мочи.
Песин	Эле	4	Учитель рангом выше, чем сын Фейге Матле.
Пескин	Гершн	3 8	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи. Один из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюзов.

Пескина	Хайкеле (Хаелэ)	7	Главная участница ханукальной постановки.
Пестун	Илья	14	Бывший хиславичанин, проживающий в Челябинске, отрицает свое участие в поджоге местечка.
Петкун	Аркадий Борисович	7	Заведующий новой школой, образцового хедэра, отец Софьи Аркадьевны, учительницы. Его жена преподавала русский язык. Он устроил первый в местечке детский ханукальный праздник.
Петкун	Софья Аркадьевна	7	Учительница, дочь Петкуна Аркадия Борисовича.
Петровский	Степан Антонович	15	Один из начальников сети общего снабжения Воркутинского лагеря под начальством Шнипко по дороге в Минск, заезжал в Смоленск и передал письмо и деньги Саше, жене автора.
Печерский	Иосиф	2 5	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах. Ровесник и товарищ автора, внук Меры Высокой, Хиславичи.
Пинэс		11	Из известных деятелей евсекции, лектор курсов политического просвещения в Витебске для подготовки пропагандистов коммунистических идей.
Пиранэр	Бине	8	Дед Груни Азимовой, уважаемый в Хиславичах торговец.
Писман	Борис	14	Из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Писман	Иосиф	8	Из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза.

Писман		9	Обладатель волночески, Хиславичи.
Погост	Эстэр	14	Торговала в Хиславичах, из бедняков.
Погост	Эфроим	2	Погиб в Хиславичах.
Подмастерьев	Григорий Тимофеевич (Гришечка)	6 9	По прозвищу Курочкин, хозяин самой тощей лошади и немазаной телеги, сдавал часть своего дома в аренду семье автора, из которого семья автора была рада переехать.
Подмастерьев	Иван	14 15	Сын Григория Подмастерьева, ровесник автора, сосед по Заводской улице в Хиславичах, был полицаем при фашистах. После освобождения Хиславичи в 1944 был мобилизован и погиб в боях с отступающими немцами.
Подмастерьев	Игнат	14 15	Сын Григория Подмастерьева, ровесник автора, сосед по Заводской улице в Хиславичах, был полицаем при фашистах. После освобождения Хиславичи в 1944 был мобилизован и погиб в боях с отступающими немцами.
Подмастерьев	Саша	14 15	Сын Григория Подмастерьева, сосед по Заводской улице в Хиславичах, был старостой при фашистах. После освобождения Хиславичи в 1944 был мобилизован и погиб в боях с отступающими немцами.
Покровский		15	Председатель антирелигиозного общества СССР и редактор журнала «Безбожник». Добродушный, разговорчивый, не заносчивый. Сосед автора по наре.
Поляк	Эле	10	Из хиславичской группы "Гехолуд", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.

Попков	Сергей	11	Принимал активное участие в работе школьной ячейки, учащийся из деревни.
Попок	Гирш	7	Сын убитой старухи Яхнэ, через короткое время также был убит ночью дома, грабителями в Хиславичах, его сын 12 лет был тяжело ранен.
Попок	Лейб-Айзе	14	В его доме автор и Черняк обогрелись и отдыхали по очереди, когда их вместе назначили на ночной караул.
Попок	Лэбэ-Итче	7	Торговец, брат убитого Гирша.
Попок	Моисей Абрамович	1	Брат Якова Попка, Москва
Попок	Нысн	3 7	Из поущих "Гатыкво", один из братьев Якова Попка, Хиславичи. Торговец, брат убитого Гирша.
Попок	Пейсах	7	Торговец, брат убитого Гирша.
Попок	Ханэ	7	Из семьи убитых Попков.
Попок	Шахне	7	Торговец, брат убитого Гирша.
Попок	Яков Абрамович	1 3	Сын мясника Аврэм-Сймхе, обучал русскому языку детей в Хиславичах, коммунист, часто посещал клуб в доме Итче-жестящика в Хиславичах. Позже сделал политическую карьеру, был репрессирован и погиб.
Попок	Яхнэ	7	Старую Яхне и ее племянницу убили в их доме ночью, в Хиславичи.
Прудкин	Мендель	1	Упоминаются его похороны, Хиславичи.
Пшёнв		15	Учитель из Бежицы, Смоленского этапа, умер на руднике в начале 1939.

Рабинович	Григорий Львович	7 8	Врач, из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза. Сын доктора Рабиновича, красивый молодой мужчина в форме офицера, редко показывался в местечке, женат на Фаине Сидоровне.
Рабинович	Дыше	7	Ограбленная Сандлером и Соринным вдова, жила рядом у своей дочери Цыве.
Рабинович	Лев	6	Врач, вызывался в исключительных случаях.
Рабинович	Марк Матвеевич	4	Сын Мити (Матвея Марковича) Рабиновича, основателя Хиславичской библиотеки, живет в Москве, занимается наукой.
Рабинович	Моисей Маркович (Митя, Матвей Маркович)	4 9	Основатель хиславичской библиотеки, сын вдовы Цыге Дышес, хозяйки мануфактурной лавки. Позже стал заведующим бывшей собственной библиотекой, которая сейчас переехала в дом, где раньше размещалась артель заготовщиков, а до нее – аптека. Последние годы работал в Москве, в книжном магазине, отец Марка Матвеевича.
Рабинович		9	Рабиновичи бойко торговали мануфактурой, Хиславичи.
Рабинович	Фаина Сидоровна	7	Невестка доктора Рабиновича, жена Григория Львовича, сестра Евсея Сидоровича Шварца, короткостриженная, с золотистыми волосами, резко отличалась от местечковых женщин.
Равич		12	Секретарь укома, рыжий, вихрастый и добродушный парень.
Ральцевич		15	Один из ведущих советских философов, сосед по верхней наре автора. Боялся слово проронить. "Любой может каждое слово по-своему истолковать, - говорил он, - а это небезопасно". В свободное время он писал Сталину заявления.

Ратнер	Начуб	15	Профессор Днепропетровского университета, друг из палатки "безнадежных".
Ренейский		15	Врач из медпункта (зек из КРТД).
Ржецкий	Евгений Владимирович	15	Русский, хиславичский учитель, спасший Сорину и ее детей, после войны был несправедливо осужден за сотрудничество с немецкой управой, подвергся тяжёлому давлению и погиб. В книге описывается подробно ситуация и описание Ржецкого. Так же упоминается большая статья "Честь имени" Эллы Максимовой в журнале «Смена» 1972 №02 (1072) про этого учителя.
Ривин	Борис	9	Художник-самоучка, из редколлегии стенгазеты Дыськина, Хиславичи.
Ривкин	Абрам Моисеевич	5	Двоюродный брат и муж сестры автора, портной, телло отзывался о пожарниках.
Ривкин	Борис	9 15	Брат автора, портной в Смоленске в мастерской Воложинского. Один из тех, кто навещал автора в Москве, в общезимити на Мало-Пироговской улице. Был арестован и расстрелян в 1937 году, как брат врага народа.
Ривкин	Иосиф-Эле	3 14	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи. Позднее – четвертый председатель Хиславичского поселкового совета в период, когда разруха стала немного отступать и вернулись к работе мешочники и перекупщики. Выдача справок и удостоверений личности рвущимся в большой мир заполняла рабочий день Иосифа.
Ривкин	Янкевич-Итче Яков	1 14	Отец автора, портной в Хиславичах. Сказал, что доброе имя семья потускнело с тех пор, как Гиришл Черняк стал мужем Лей (Лизы) – его дочери.

Ривкин	Гершн	13	Старший брат автора, умер в возрасте 17 лет, в Смоленске.
Ривкина	Алла	15	Дочь автора и Александры, 1933 г.р.
Ривкина	Галя	15	Младшая дочь автора и Александры, 1948 г.р., родилась в Воркуте.
Ривкина	Голдэ (Галя)	3 12	Старшая сестра автора, училась в губпартшколе в Смоленске, делилась с ним своим обедом. В 1938 году умерла от туберкулеза, оставив мужа и маленького сына, который вскоре тоже умер. В честь нее автор назвал младшую свою дочь 1948 г. р., Галю Ривкину.
Ривкина	Инна	15	Старшая дочь автора и Александры, погибшая в годы войны 1941-1945 вместе с родителями Саши.
Ривкина	Лия (Лиза)	3 6 14	Сестра автора, вышла за муж за Гиршела Черняка, далее смотрите: Чер- няк Лиза.
Ривкина	Липке	3	Мать автора.
Ривкина	Люба	15	Дочь автора и Александры, 1946 г.р., родилась в Воркуте.
Ривкина	Маше	3	Младшая сестра автора, после замужества – Гуглина.
Ривкина	Рива	3	Самая старшая сестра автора, приезжала домой в Хиславичи раз в год на осенние праздники. Работала и жила в Смоленске в богатом доме.
Ривкина	Соня	3 14	Сестра автора, встретила в Москве хиславичанку Хану Галутину, кото- рая солгала Соне, что ее муж умер, опасаясь Сони как родственницы Гиршела Черняка.

Ривкина	Хае-Малке Хая	3 6	Старшая сестра автора, умерла в 1917 году молодой, оставила сына, Мусящикова Гершена Владимировича.
Рисин		7 8	Казённый раввин, записывал браки, рождения, смерти. Брат Хае-Этл из аптеки, к этому времени раввин уже давно сдал журналы регистрации в волостной исполком, в его доме Дыськин разместил аптеку.
Рисина	Нехама	12	Одна из тех, кто голосовал за исключение автора из комсомола по явно ложному обвинению.
Рисина	Хае-Этл	8	Сестра казённого раввина, тихая и сердечная девушка, работница аптеки.
Риськина	Нихама	9	Комсомолка, Хиславичи.
Романов-ский	Хаим	14	Один из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Росин		15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Рошин	Ульян	4 14	Из немногих русских семей, посещающих библиотеку Мити Рабиновича. Третий председатель Хиславичского поселкового совета, выполнял инструкции входящих бумаг, подшивал их и регистрировал бумагу исходящие. Был послан Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, потому что не хотел идти в колхоз.
Рысин	Моше-Итче	3	Из поющих "Гатыкво", Хиславичи.
Рябинков	Вася	2	Сапожник, Хиславичи.
Савельев	Хонэ	8	Из артели заготовщиков, организованной Дыськиным.

Савченко	Н.Е.	11 15	Возможно, Савченко. Комсомолец городищенской сельскохозяйственной коммуны имени Ленина. После войны работал там же, в поселке.
Салтыков		8	В его графском доме в Хиславичах разместился совет.
Самолобов	Лэйзер	3	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи.
Самолобов	Менаше	4	Из помощников в библиотеке Мити Рабиновича, Хиславичи.
Самолобов	Могэ	5	Музыкант из команды пожарников.
Самолобовы		14	Два брата и сестра, посланные Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Сандлер	Лейб	15	Хиславичанин, проживавший в Смоленске в 1947 году.
Сандлер	Симен Эле	5 7 8 9 15	Руководитель музыкальной команды пожарников в Хиславичи, трубач. Верхом на лошади оглашал улицы боевыми тревожными сигналами. Ограбил вдову Рабинович, был приговорен к каторжным работам. Вернулся из каторги благодаря революции, как невинно пострадавший за экспроприацию капитала у буржуйки Рабинович. На похоронах Машина Давида заиграл на трубе веселую мелодию на мотив "Червонцы".
Сандлер	Шмуэл-Йоше	7	Сапожник, Хиславичи, отец музыканта и грабителя Симен Эле, спас сына и его напарника от полевого суда.
Семинас		9	Однокашник по Воркуте, к нему на чердак индивидуального домика принесли чемодан Дыськина, после разорения вещей у вновь арестованного Лившица.

Силькин	Файвель	14	Из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Синичкин		9	Хозяин старой бакалейной лавки, на стене которой висели объявления и стенгазеты.
Синичкина	Бейле	4	Из помощников в библиотеке Мити Рабиновича, Хиславичи.
Скугарев	Иван	11	Принимал активное участие в работе школьной ячейки, учащийся из деревни. Несколько лет спустя стал секретарём Хиславичского волостного комитета комсомола, а затем и уездного комитета комсомола в городе Рославле.
Славин	Мотэ (Мотик)	5	Пожарник в Хиславичи, начальник колонны качальщиков, гроза хулиганов, торговец, есть намек что был репрессирован еще до Второй мировой.
Славин	Шепа	5	Начальник команды пожарников в Хиславичи, торговец, есть намек, что был репрессирован еще до Второй мировой.
Славин		9	Славини торговали скобяными товарами.
Слуцкая	Броня	12	Была назначена заведующей еврейской школой, не умела ни читать, ни писать, ни говорить по-еврейски. Была уволена после назначения автогра заведующим и двух новых учительниц. Дочь крупного смоленского купца.
Соколов		15	Один из начальников сети общего снабжения под начальством Шнипко.
Солоненко		3	Крестьянин из Буды-Печерска.

Сонин	Итче	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г.
Сонин		15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Сорин	Зелик	5 7 8	Музыкант из команды пожарников, ограбивший вместе с Сандлером Симен Эле вдову Рабинович, приговорен к каторжным работам. Вернулся из каторги благодаря революции, как невинно пострадавший за экспроприацию капитала у буржуйки Рабинович.
Сорина	Бейле	7	Сестра грабителя Сорина Зелика, работала в магазине вдовы Рабинович, от нее грабители и узнали о деньгах.
Сорина	Белла (Вера) Марковна	15	Из вернувшихся в Хиславичи евреев после войны. Была спасена учителем Ржецким, который позаботился о документах, что она русская учительница, и спас ее и троих ее детей.
Соркин	Юда	9	Участник постановки "Туда и обратно", был душой группы студентов еврейского педагогического техникума города Гомеля.
Сорочинский		15	Освобожденный по директиве, не угодил начальству и был загнан обратно в зону.
Сосин	Лёва	3	Из неопределившихся молодых людей, окончивших выше-начальное или городское училище. Собирались отдельно. Хиславичи.
Стесин	Велвел	5	Пожарник-качальщик в Хиславичах.
Стесин		9	Стесины открыли кожевни и посадочные мастерские, Хиславичи.

Стиллер	Арон-Арэ Аркадий	9 14 15	Земляк автора и сосед по Хиславичам. Жил в Москве в общежитии у автора, устроился на фабрике “Красная Роза” в Хамовниках, позже работал партийцем в Туркменской ССР под начальством земляка Якова Попка, был начальником в ГУЛАГе, случайно встретил заключённого Лейтеса Моисея, устроил его на более легкую работу, парикмахером, и тем спас.
Стиллер	Пейше	8	Из Дорогобужа, сын Рохе, писал о тяжелом положении мобилизованных на гражданскую войну.
Стиллер	Пейше	9 12	Сын Рахмиэла, брат Якова, добродушный сосед семьи автора в Хиславичах. Из приезжающих по делам из Хиславичей в Смоленск.
Стиллер	Пейше	14	Торговал в Хиславичах, сорил небрежно деньгами.
Стиллер	Рахмиэл	9	Отец Пейше и Якова, соседи по новому просторному жилищу семьи автора.
Стиллер	Рива	15	Жена Стиллера Якова, хиславичская комсомолка, сын – Май.
Стиллер	Рохе	8	Мать Пейше, мобилизованного на гражданскую войну.
Стиллер	Эстэр	9	Из тех, кто навещал автора в Москве, в общежитии на Мало-Пироговской улице.
Стиллер	Яков Романо- вич	2 9 15	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах. Сын Рахмиэла, брат Пейши, сдержанный и степенный, сосед семьи автора в Хиславичах. Инициативный комсомолец, которого Дыськин вовлек в редколлегия стеногазеты. Близкий друг автора по Заводской улице в Хиславичах. Помог автору с трудоустройством и жильем в Смоленске. Муж хиславичанки Ривы и отец Мая. Отношение автора к нему интересно. Автор отрицал дружбу, Стиллер не был арестован. Обитал в Москве после войны, встретился с автором.

Тимашков		9	Учитель школы-семилетки, при исполнении роли какого-то вояки в спектакле местного драмкружка выстрелил боевым патроном и ранил зрителя в первом ряду – Бейлина из Мартиновки.
Тиохин	Борис Самойлович	14 15	Сосед семьи Черняка Гиришела, эвакуировал жену и детей Черняка, этим их спас. Один из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Тиохин	Моисей	9	Скрипач, участник буфонады "Туда и обратно" в Хиславицах.
Тиохин	Шмуэл-Итче	5	Музыкант из команды пожарников.
Титов		15	Из первых арестованных. Румяный, средних лет прокурор из Смоленска, встретился автору на пересылке.
Товбин	Лейб	3	Отец погибшего на войне 1914 г. Нохема. Другой его сын пел на панихи-де "Гатыкво" Хиславичи.
Товбин	Нохем	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г., сын Лейба Товбина.
Торбочкин		15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Тылькин	Авромэлэ	13	Первоклассник, ученик автора, худенький, остроносый, с чуть раскосыми глазёнками и крупными оттопыренными ушами. Он с удивительной точностью мог повторить рассказанное, и если он что-либо сам начнёт придумывать или повторять слышанное про зверей, животных, все дети поворачивали к нему головки и слушали его звонкое и чёткое произношение слов.
Ульяновский		15	Профессор из КРТД бригадир заготовщиков леса под рудостройку.

Файнгольд	15		Экономист из Смоленска, Бригадир изготовления корзин.
Фарберов	5		Его дом в кругу школьной площади использовался для пожарных учений.
Фельдман	12	Абрам	Сапожник, хотел найти работу и квартиру, вместе с автором ходил в горсовет.
Фельдман	9	Хая	Комсомолка, Хиславичи.
Фельдман	10	Цива	Кудлатая комсомолка, чулочница, приняла заявление автора в комсомол, Хиславичи.
Фигловская	12	Шура	Из новых людей в хиславичской комсомольской ячейке, из бедных мест.
Фиш	8		Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово.
Фомин	15		Один из небольшой группы людей, которых ничем нельзя было запугать. Они вступали в спор, называли вещи своими именами, в отличие от большинства замкнутых, которые замыкались и избегали споров.
Фрагин	15	Борис	Старший сын семьи тети автора – Рахили из Починка, младший его брат – Гиле
Фрагин	15	Рахмиэль	В начале войны, сидя на крыльце их большого нового дома в Починке, был смертельно сражен осколком разорвавшейся бомбы. Возили его хоронить в Хиславичи его сыновья старший Борис и Гиле.
Фрагина	6 15	Рахиль (Рохл)	Тетя Рохл, сестра матери автора, сама лечила своих родных, мать семейства, умерла в эвакуации где-то в Сибири.

Фрадкова	Фрида	12	Одна из двух новых учительниц еврейской школы.
Фрейдина (Фрейдлина?)	Фрида	9 12	Комсомолка, приняла автора до сдачи экзаменов в строительных техникум, в общезнаний рабфака в Смоленске. Одна из тех, кто навещал автора в Москве, в общезнаний на Мало-Пироговской улице.
Фрид		15	Бывш. командир военно-морского флота, друг из палатки "безнадежных".
Фридман		3	Жил на выезде на смоленскую дорогу в Хиславичах, у него покупали муку или рожь, если не было муки.
Фрумкин	Веле	3 8	Из вернувшихся солдат (дореволюционные годы) домой, в Хиславичи. Один из руководителей местечкового совета, привлекавших людей к трудовой повинности.
Фрумкин	Лэйзер	8	Посадчик, из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза.
Фрумсон	Мера	9	Комсомолка, Хиславичи.
Фрунким	Владимир Самойлов ич	14	Второй председатель Хиславичского поселкового совета, при нем составлялись списки и взимание яиц и других продуктов в порядке продразвёрстки.
Фурман		15	Земляк и созатник Елисеева, портной по специальности, работал в Воркута-Вом, когда-то работал в портняжной Смоленской артели, знал брата автора, Бориса, тоже портного из той артели.
Хазанов	Генрих	15	Директор смоленской швейной фабрики им. Румянцева, встретился автору на пересылке. Молодой человек в драповом пальто, кепке, с детско-круглым и очень мрачным и унылым лицом.

Хатуль	Брайнэ	14	Торговала в Хиславицах, из бедняков.
Хатуль		15	Две сестры, из вернувшихся в Хиславици из эвакуации евреев.
Хенох		12 13	Лектор партийной школы губкома, направил автора работать заведующим в хиславицкую еврейскую школу. Позже инспектировал хиславицкую школу, остался доволен.
Хесин	Давид	8	Студент, брат Евсея, из первых хиславицких добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза.
Хесин	Евсей	3 8	Часто посещал клуб в доме Итче-жестящика в Хиславицах. Студент, брат Давида, из первых хиславицких добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза, и там погиб.
Хесин		9	Обладатель круподерки, Хиславици.
Хилькевич	Антонина	12	Из новых людей в хиславицкой комсомольской ячейке, из бедных местян.
Хлиманков		15	Бывший следователь полиции, приговорен к 20 годам каторжных работ за чудовищные зверства в Хиславицах
Цейтлин	Борис	11 12	Секретарь комсомольской ячейки, своим докладом открыл торжественный вечер. Был тощ, бледен, одержим коммунистическим идеалом. На комсомольском собрании придрался к тому, что автор говорил не по-русски, а на идиш, этот спор имел серьезные и неприятные последствия для автора.
Цейтлин	Грейнам	3 10	Из поющих "Гатыкво", один из хиславицкой группы "Гехолуц", где кормили, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.

Ципин	Лейб	9	По прозвищу Лядыр, купил дом, где раньше была библиотека Мити Рабиновича, в бывший его просторный дом переселилась семья автора.
Цужерман	Меер	8	Из первых хиславичских добровольцев на гражданскую войну по призыву профсоюза.
Цыпкин	Лев	14	Из посланных Черняком на стройки в качестве бесплатной рабочей силы, многие из которых остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги.
Цырлин		15	Бывший работник облпромсовета, арестованный чуть позже автора. Его, как и автора, допрашивали о дружбе между Стиллером и автором. Цырлин отрицал дружбу и тем, как и автор, спас Стиллера Якова от ареста. Позднее, в Адзье, вместе с автором и другими, восстановили и жили в одной землянке. Каждый день писал домой, просил выслать бритвенный прибор, машинку для стрижки и концертину на случай, если повезёт и он станет дневальным у какого-либо начальника, умер на руднике в начале 1939.
Черняк	Гиле	15	Демобилизованный с войны вернулся в Хиславичи. Его часто видели около руин дома, где до войны проживала его семья, утешения до него не доходили, и однажды утром его нашли повесившимся на чердаке какого-то дома.
Черняк	Айзик	14	Брат Гиршела, с отцом Самуилом Айзик разъезжал по деревням как скупщик, торговал в Хиславичах, скромно сводил концы с концами.
Черняк	Алтэр Гедалес	4	Во дворе его дома стояла избушка Фейге Матле Литвин, где ее сын учил девочек писать и читать.

Черняк	Володя	14	Сын Черняка Гиршела, стал подполковником ВВС, хороший добрый человек. Жил в Перми.
Черняк	Геннадий	14	Сын Черняка Гиршел, стал директором школы, справедливый и достойный человек.
Черняк	Гирш	14	Брат Гиршела, пекарь.
Черняк	Гиршл Самойлович	14 15	Главный герой главы, председатель Хиславичского поселкового совета долгий период времени до и после войны 1941-1945 годов, член правления колхоза. По специальности пекарь. Давал списки людей политически неблагонадёжных, он возглавлял комиссии по раскулачиванию, с его благословления на стройки в качестве бесплатной рабочей силы уходили горе мыкать много хиславичан. Многие из них остались в неведомых местах зарытыми с биркой на пальце ноги. Он был, несомненно, внештатным агентом. Его боялись, его не любили. Воевал, из вернувшихся в Хиславичи после войны евреев.
Черняк	Лиза	14	Сестра автора, в девичестве Лея Ривкина, умерла в городе Перми.
Черняк	Люба	14	Дочь Черняка Гиршела, получила высшее педагогическое образование.
Черняк	Мендл	14	Секретарь председателя Хиславичского поселкового совета Басина Мотэ.
Черняк	Пеша	14	Мать Гиршела Черняка.
Черняк	Самуил	14	Отец Гиршела Черняка. У Самуила была лошадь, некованая телега, пять сыновой и две дочери.

Черняк	Тайбл	14	Сестра Гиршела, имела чулочную машину.
Черняк	Фише	14	Фишке-злобный, брат Гиршела, посадчик, бессовестный озорник.
Черняк	Хаим	14	Старший сын Самуила Черняка, брат Гиршела. Столяр.
Черняк	Хаим	14	Двоюродный брат Гиршела Черняка из Смоленска.
Черняк	Шэме	15	Из вернувшихся в Хиславичи из эвакуации евреев.
Черняк	Эле	10	Родственник Алточки Черняк, торговал в Хиславичах не очень прибыльным делом – мороженым.
Черняк	Мишка	15	Мишка-блатной, уркач 19-20 лет, не знал и не помнил, где и за что его в последний раз судили. Вся его жизнь – это лагерный барак, баланда и волчий оскал при виде того, что ему хочется. Тормозных центров в его мозгу не было, нормально, по-человечески говорить не умел.
Черняк (в замужестве Барцевич)	Алточка	10	См. Барцевич Анна Соломоновна, еврейская девушка, которая посмела выйти замуж за русского, сына священника Вячеслава Барцевича.
Чижевский	Егор	10	Председатель волисполкома, сын хиславичского мещанина, работал на Путиловском заводе в Питере, когда там стало тяжело с продуктами, по слабости здоровья приехал домой, где как рабочий и коммунист был назначен председателем волисполкома, пил, злоупотреблял половением.
Чижевский		12	Председатель волисполкома, был вынужден Бродским покинуть волисполком.

Шабловский	Евмений/ Игнат Яковлевич	11 15	Комсомолец городищенской сельскохозяйственной коммуны имени Ленина, не привлекался, благополучно устроился.
Шапиро	Борех	3	Его два сына были среди поющих на панихиде "Гатыкво".
Шапиро	Яков	3 10	Из поющих "Гатыкво", из хиславичской группы "Гехолуц", где кормили, одевали, учили ремеслу и готовили в эмиграцию в Палестину.
Шацкий		13	Его школа была известна учительской общественности.
Швальбе	Михаил Петрович	9 15	Москвич. Будучи заключенным в Адльве, по намекам понял, что и его жену отправили в ссылку. Начальник сапожной мастерской в лагере (сидел за КРТД), заведовал швейно-сапожными мастерскими комбината Воркутауголь.
Шварц	Евсей Сидоро- вич	7	Муж Берты Альбертовны, брат Файны Сидоровны, невестки доктора Рабиновича.
Шварц	Берта Аль- бер-товна	7	Жена Евсея Сидоровича, зятя доктора Рабиновича.
Шивалдин	И	15	Бывший нач. района, приговорен к расстрелу за чудовищные злодеяния в Хиславичах.
Шифрин	Итче- Янкель	3	Хиславичанин, погиб на войне 1914 г.
Шкляр	Шимен Маркович	15	Начальник продовольственной базы отдела общего снабжения лагеря под начальством Шнипко (отбыл 10 лет по 58/10).
Шнипко	Сергей	15	Начальник общего снабжения лагеря Шнипко Сергей Николаевич был

	Николаевич		начальником одного районного отделения милиции города Ленинграда. После убийства Кирова за непредвидение был перемещён на работу в лагерь.
Шофман	Алтэр	8	Из первой хиславичской коммуны, на графской земле, дер. Фролово. Сложный и сильный за плугом напоминал предков, возделывающих святую землю. К нему домой приходил Дыськин за контрибуцией.
Шофман	Лейб	2	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах.
Шофман	Рохе	8	Жена Шофмана Алтэра, под прицелом винтовки отдала Дыськину контрибуцию.
Шофман	Хаим	12	Из приезжающих по делам из Хиславичей в Смоленск.
Шлеер		8	Мстиславский парень, заштатный оратор мстиславского укома, про него сложили шуточную песню.
Шухотян		15	Заведующий каптеркой ОЛПа ВЖДукрал 1 тонну сельдей под видом соли, за махинации был осужден 10 лет.
Щадрин		15	Следователь 3-го отдела Воркутинского НКВД – старший лейтенант.
Щеглов		15	Саратовец, из состава поселенцев в общей землянке в Адзье-Вом. не-большого роста юркий человек в шинели, уж приблизился к рядчикам и вечером в землянке рассказывал о намечаемых работах и прочих лагерных новостях.
Эльман		15	Следователь в Смоленском политизоляторе, пытался выявить симпатии и дружбу автора к Стиллеру. Также допрашивал Цырлина.

Энтин	Мотэ	11	Из огорода Зайдмана нарвал махровые маки для раздачи девушкам на комсомольском празднике.
Эрман	Хаим	5	Смелый пожарник, начальник колонны топорников в Хиславичи, есть намек что был репрессирован еще до Второй мировой.
Эрман	Яков	2 12	Из ребят-одногодок автора (1904 г.р.), с Заводской улицы в Хиславичах, один из приезжающих по делам из Хиславичей в Смоленск.
Эфроимов	Рувим	13	Мальчишка из деревни Мартиновки, плотно сбитый, веснушчатый. Когда мартиновская группа ребят шагала домой, он первый, как вожак, прокладывал путь ребятам, поминутно оглядываясь, не отстал ли кто.
Юдзен	Иосиф	9 12	Грамотный и начитанный, из редколлегии стенгазеты в Хиславичах. Учился в Смоленске, в лесном техникуме.
Юдзен	Фише	12	Из хиславичан, переселившихся с семьями в Смоленск.
Яновский		2	Пристав в Хиславичах, брал взятки с лавок
	Илюха	9	Хиславичский трубочист.
Иоше	по жене Дышес	7	Ребэ в хедэре в Хиславичах.
Иоше	по жене Хае Ришес	7	Ребэ в хедэре в Хиславичах.
	Итче-жестящик	3	Жестящик в Хиславичи. Имел трех дочерей, старшие – Сорке и Бейле. Проверяя пастушьи рожки, играл лучше всякого пастуха, в его доме на углу Смоленской и Заводской улиц был один из клубов, где выступали ораторы.

	Монэс	1 3	Монэс горбатенький, Монэс-Горб, демократ, портной, частый гость дома, говорил он резким, звенящим голосом. Высмеивал богачей, ругал пристава Яновского, пел песни, Хиславичи. Монэс горб, часто посещал клуб в доме Итче-жестянщика, Хиславичи
	Рива	11	Комсомолка, подруга Сони Новиковой, жила на Третьей пролетарской улице в маленькой избушке.
	Хаим-Довид	3	Сын Нохема курореза, погиб на войне 1914 г., хиславичанин.

Ривкин Г. Я. Так было. Мемуары

Составитель: Ольга Шомрон, внучка автора

© Права принадлежат составителю книги и ее детям, Ури и Шели Шомрон. Публикация любого отрывка – с согласия правообладателей.

Благодарю за терпение, поддержку и неоценимую помощь, без которых эта книга еще на неопределенное время осталась бы в виде разрозненных тетрадей и отдельных страниц:

*моего любимого мужа – Александра Шомрона,
наших детей – Шели и Ури,
маму – Галю Непомнящую (Ривкину),
брата – Александра Непомнящего.*

*За советы и помощь с подготовкой материала благодарю
моих замечательных родных и друзей: Александру и Василия
Березовских, Анну Данилову, Илью А. Грузберга, Ольгу,
Александра и Эли Шерманов.*

Редакторы: Анна Данилова (русский),
Франсуа Шабо (идиш).

Корректор: Елена Косоновская

Typography Zur-Ott, 2014

Printed in Israel